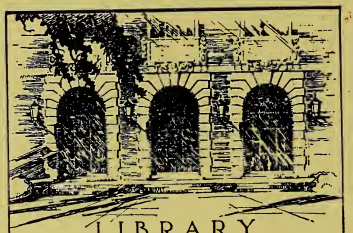
OAK ST. HDSF



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

891.73
M5892
Ob

Вл. МИХНЕВИЧЪ.

Барыни

# БАРЫШНИ и БАРЫНИ

РАЗСКАЗЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
*КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ В. И. ГУБИНСКАГО.*
1889.

Типографія и Литографія В. А. Тиханова, Садовая, д. № 27.

891.73
M5892
Ob

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

| | Стр. |
|---|---|
| Конченная | 1 |
| «Всѣ мы жаждемъ любви» | 12 |
| Съ институтской скамьи на скамью подсудимыхъ | 89 |
| Юристенвальсъ | 102 |
| «Бѣдная дамочка» | 117 |
| Актриса | 133 |
| Напраслина | 155 |
| Такъ что-жь намъ дѣлать? | 167 |
| Вѣрная жена | 180 |
| Счастливое семейство | 194 |
| Петербургская Тамара | 210 |
| Красавица | 226 |
| Угомонилась | 249 |
| Заморенная жизнь | 267 |
| Розы и Тернія | 288 |
| Дамы-театралки | 309 |
| Музыкальныя дѣвицы | 320 |
| Воровка | 327 |

11 May 1956 Simon Litman

# КОНЧЕННАЯ.

## I.

Ни съ чѣмъ несравнимо то застѣнчиво-гордое, счастливое самодовольствіе, съ какимъ Катя говоритъ роднымъ и знакомымъ:

— Я *кончила*!

То есть кончила, какъ говорится, «образованіе» въ одномъ изъ женскихъ учебныхъ заведеній. Въ такомъ тонѣ говорятъ люди, свершившіе что-нибудь очень важное, трудное и великое. Такъ говорили, вѣроятно, Ной, когда окончилъ сооруженіе своего ковчега, Гомеръ, когда записалъ послѣдній стихъ Илліады, Колумбъ, когда открылъ Америку, и т. п.

Гордость и удовольствіе Кати вполнѣ естественны и понятны. Во-первыхъ, она кончила «курсъ наукъ» и не просто курсъ, а «полный курсъ наукъ»,—всѣ, всѣ, сколько ихъ тамъ ни положено по программѣ для всесовершеннѣйшаго образованія благородныхъ дѣвицъ! Во-

вторыхъ, она кончила прекрасно, одной изъ первыхъ въ выпускѣ, «съ книгой», и чуточку только не дотянула до медали. По всѣмъ «наукамъ» у нея вышли круглые двѣнадцать балловъ и только изъ одной «противной» математики оказалось одиннадцать, благодаря «интригѣ» одного изъ экзаменаторовъ.

— Представьте! — съ волненіемъ и огорченіемъ передавала Катя этотъ единственный непріятный и несчастливый эпизодъ въ ея торжествѣ: — экзаменуюсь я изъ математики... Самый трудный и скучный предметъ, и я его терпѣть не могу; въ особенности противно, что тутъ все нужно доказывать и доказывать... Я всегда боялась математики, но, конечно, къ экзамену всю выучила. Беру вопросъ, отвѣчаю. Все идетъ очень хорошо. Вдругъ, представьте, одинъ изъ ассистентовъ... какой-то не нашъ, а сторонній учитель, молчалъ, молчалъ, да и спрашиваетъ: — «А скажите, говоритъ, mademoiselle, что такое прямая линія?» — Совсѣмъ пустой, кажется, вопросъ — не правда-ли? Я отвѣчаю безъ запинки: — «Прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками».—А онъ: «Почему?..» Какъ вамъ это нравится? Почему?—Не глупо-ли?—«Потому, отвѣчаю, что это аксіома». — «Э!—говоритъ,—сударыня, это не отвѣтъ. Потрудитесь доказать, что кратчайшее разстояніе между двумя точками есть прямая линія... Я, вотъ, не вѣрю!..» Ну, не интрига-ли? Что я могла отвѣтить, когда насъ этому не учили? Я такъ и сказала, и за это на меня разсердился уже нашъ учитель, что я его, какъ будто, выдаю. — «Васъ,—говоритъ,—учили, но вы забыли...» Лжетъ, лжетъ, никогда не училъ!.. Такимъ-то родомъ я

и срѣзалась!.. Изъ всѣхъ предметовъ двѣнадцать сплошь, а по математикѣ вышло только одиннадцать... Мерзкая наука, а тутъ еще и интрига вдобавокъ!

Эту непріятную исторійку Катя разсказываетъ безсчетное число разъ и всегда съ волненіемъ и чуть не сквозь слезы. Въ первый разъ, сообщая ее матери, она въ самомъ дѣлѣ всплакнула, да такъ горько, что мать едва ее утѣшила. За весь курсъ ученія у Кати это была первая серьезная, тяжелая драма, и, безъ сомнѣнія, она на всю жизнь неизгладимо запечатлѣется въ ея памяти. Это, тѣмъ не менѣе, нисколько не мѣшаетъ Катѣ говорить о себѣ съ чувствомъ достоинства и полнаго удовлетворенія:

— Я кончила!

Дѣйствительно, если она, положимъ, не получила медали, которой заслуживала и ждала, то сущность дѣла отъ этого ни мало не измѣняется: за Катей остается неоспоримое право считать себя дѣвицей, получившей «полное» образованіе, «выучившей» всѣ науки, не исключая даже математики, и достойной теперь пожать сладкіе плоды отъ горькаго корня ученія. Чего-же больше?

---

## II.

Если-бы, паче чаянія, въ комъ-нибудь возникло на этотъ счетъ малѣйшее сомнѣніе, Катя во всякую минуту можетъ до тла разсѣять его, сославшись на документальное, торжественное засвидѣтельствованіе ея правъ, со множествомъ подписей и приложеніемъ печатей.

Вотъ онъ, этотъ драгоцѣнный документъ, заключенный въ бархатную, съ золотымъ тисненіемъ, папку, подаренную Катѣ мамой въ ту минуту, когда она, гордая и счастливая, возвратилась домой съ публичнаго акта!

Ахъ, какія это были радостныя, незабвенныя минуты!

Сначала актовое торжество... Парадные костюмы, праздничныя лица; всѣ такіе добрые, веселые, привѣтливые. Даже дувшійся было учитель «противной» математики здѣсь, встрѣтясь съ Катей, разсыпался передъ ней въ любезностяхъ и комплиментахъ и выразилъ искреннее сожалѣніе, что ей не дадутъ медали... Потомъ всѣ пошли въ актовую залу... Ай, сколько начальства, сколько публики, и всѣ такъ торжественно настроены! Началась раздача аттестатовъ и наградъ... Громогласный, во всю залу, вызовъ по именамъ лучшихъ воспитанницъ, конечно, въ томъ числѣ и Кати... Какъ ужасно билось въ ту минуту сердце и отъ страха, и отъ радости и отъ польщеннаго честолюбія! Потомъ пошло чтеніе, пѣніе, музыка, поздравленія и прощанье съ начальствомъ, учителями и товарками... Сколько сердечныхъ пожеланій, сколько нѣжныхъ, ласковыхъ словъ!

И что-то совсѣмъ новое, особенное, чрезвычайно пріятное для самолюбія слышалось въ рѣчи и тонѣ начальницы, классныхъ дамъ и учителей. Всѣ они заговорили вдругъ безъ всякой педагогической докторальности и начальственной важности—просто, непринужденно, дружелюбно, точно равные съ равными... Что-жь, и въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, мы теперь почти, почти равные. Мы уже не маленькія, мы «кончили», насъ ужь

больше не будутъ «учить», — напротивъ, мы сами теперь можемъ учить другихъ, если захотимъ...

Неужели все это правда?—Конечно, правда, совершенная правда! Ахъ, какъ хорошо!

Дома Катю ждали новыя радости и утѣхи самолюбія. Всѣ свои были въ сборѣ и встрѣтили ее шумными привѣтствіями и поздравленіями. Папа взялъ ея аттестатъ и торжественно прочиталъ его отъ первой до послѣдней строчки, при пожирающемъ вниманіи всѣхъ чадъ и домочадцевъ.

— Какое множество наукъ!—сказалъ папа, прочитавъ аттестатъ и бережно его складывая.—И неужели Катенька,—спросилъ онъ,—ты всѣ ихъ выучила?

— Да, папа, всѣ,—скромно потупившись, отвѣтила Катя.—Вы видите, въ аттестатѣ это обозначено...

— Экая ты у насъ умница! Дай-же я тебя расцѣлую!—сказалъ папа, растроганный успѣхами дочки.

Тутъ мама принесла прелестную, бархатную папку съ золотой, жирной надписью: «Аттестатъ Кати Черемхиной». Аттестатъ былъ торжественно заключенъ, какъ священная хартія, въ папку, запертъ на замокъ хорошенькимъ ключикомъ и ключикъ былъ врученъ Катѣ.

— Береги его, Катя,—съ чувствомъ сказала мама:—это наша семейная гордость! Я счастлива, что моя дочь съ такимъ успѣхомъ окончила полный курсъ наукъ...

Говоря это, мама нѣжно обняла Катю и даже прослезилась. Потомъ она увела ее въ ея комнату, гдѣ... ахъ, что за милка, что за душка эта мама!—гдѣ былъ изящно разложенъ новый полный гардеробъ для Кати, по послѣдней картинкѣ для «взрослой дѣвицы»: длин-

ныя платья со шлейфомъ и турнюромъ, шляпка съ цвѣтами и перьями, прелестный зонтикъ, обшитый кружевами, чудесныя туфельки изъ бронзированной кожи, и все въ такомъ-же родѣ...

Спустя нѣсколько минутъ, Катя, имѣвшая дотолѣ видъ несовершеннолѣтней отроковицы, въ своей школьной скромной униформѣ, съ коротенькимъ подоломъ и бѣлымъ передникомъ, вышла въ гостинную пышной, настоящей взрослой дѣвицей, готовой для самостоятельной, блестящей салонной карьеры.

Всѣ родные, начиная съ папы, встрѣтили ее громкими, горячими апплодисментами, и она сама чувствовала, что ихъ заслуживаетъ, что она вдругъ сдѣлалась вполнѣ законченнымъ, во всѣхъ отношеніяхъ прекраснымъ «вѣнцомъ творенія».

Да, это были невыразимо-блаженныя, но, увы, невозвратимыя минуты! Разъ въ жизни онѣ только бываютъ и ужъ никогда больше не повторяются.

---

## III.

— Что-же дальше вы намѣрены дѣлать, Катерина Ивановна? — стали спрашивать Катю кое-кто изъ знакомыхъ, сдѣлавшихъ скверную привычку надокучать неумѣстными вопросами.

Нужно замѣтить, что съ той минуты, какъ она сдѣлалась «большая», кончила курсъ и надѣла длинное платье, а къ нему турнюръ, ее вдругъ всѣ, даже близ-

кіе знакомые, перестали звать Катей и начали величать Катериной Ивановной.

Катя терпѣть не можетъ такихъ вопросовъ и расположена считать ихъ почти неприличными.

— Вы меня спрашиваете,—рѣзко и язвительно возражаетъ она, — что я намѣрена дальше дѣлать? Я не знаю! Покорно прошу васъ сказать мнѣ, что именно я должна начать, по вашему?

— Можетъ быть, учиться...

— Учиться?!

— Да, довершить образованіе...

— Но развѣ вамъ неизвѣстно, что я кончила полный курсъ наукъ? Чему-же, прикажете вы, мнѣ еще учиться?

— Курсы, вотъ, высшіе, либо медицина... Только жаль,—кажется, нынче все это закрыто...

— Д-да-съ!

— Очень жаль!

— Но если-бы и не были закрыты, то, все-таки, я не знаю, — зачѣмъ-бы я пошла на нихъ, если у меня нѣтъ желанія ни синимъ чулкомъ сдѣлаться, ни въ акушерки идти?

— Конечно, конечно, — спѣшитъ согласиться скептикъ, почувствовавъ укоры совѣсти за свои ненужные и надоѣдливые разспросы.

Въ самой Катѣ нѣтъ ни тѣни сомнѣнія на этотъ счетъ, да и откуда-бы ему взяться послѣ того, какъ и начальство, и учителя и всѣ присные торжественно признали, что она кончила образованіе и «выучила» на двѣнадцать всевозможныя науки? О чемъ-бы ее ни

спросили, она все «знаетъ», обо всемъ «учила». Всеобщую географію и географію русскую, всеобщую исторію и русскую исторію, всеобщую словесность и русскую словесность, языки, математику, физику, космографію, естественную исторію, Законъ Божій... Все, все она «учила», все «знаетъ», и—трудно придумать такую науку, которой-бы она не «проходила».

Это вовсе не фанфаронское самомнѣніе въ ней, а твердое, искреннее убѣжденіе.

— Я кончила!

Когда она это говоритъ, всѣ, не условливаясь, внутренно и наружно склоняются передъ нею, какъ передъ переполненнымъ доверха сосудомъ знанія и мудрости. Это ничего, что Катя, по ближайшей справкѣ, не умѣетъ грамотно написать записки къ пріятельницѣ, ничего, что она не въ состояніи разобраться въ грошевыхъ счетахъ съ лавочникомъ, по порученію мамаши, и сбивается въ простомъ сложеніи, ничего, что черезъ мѣсяцъ послѣ окончанія «полнаго курса наукъ» она забываетъ различать Дарія Гистаспа отъ Дарія Кодомана и смѣшиваетъ Аппенинскій полуостровъ съ Пиринейскимъ, ничего, что она, при раскатахъ грозы, не умѣетъ объяснить это явленіе физически и склонна вѣрить, что это Илья-пророкъ катается на дрожкахъ по небу...

— Да какъ-же это ты, Катюшенька?—озадачивается время отъ времени родитель, пораженный младенческимъ невѣжествомъ дочки.

Она сердится и съ неудовольствіемъ надуваетъ хорошенькія губки.

— Ахъ, папаша! — возражаетъ она. — Что вы пристаете? Насъ этому не учили.

Такой разговоръ вышелъ, между прочимъ, по поводу папашиной серебряной рюмки—«катокъ, повалися мнѣ въ ротокъ». Общеупотребительная потѣшная рюмка, становящаяся стоймя, какъ-бы ее ни бросали. Катю она чрезвычайно заняла и позабавила, а, главное, она никакъ не могла постичь, въ чемъ тутъ секретъ.

— Да, вѣдь, ты физику знаешь?—спросилъ родитель.

— Да, знаю,—отвѣтила Катя.

— Ну, такъ должна знать законъ о центрѣ тяжести.

— Нѣтъ,—отрѣзала Катя,—о центрѣ тяжести насъ не учили!

— Дитя ты, дитя! Зачѣмъ только цѣлыхъ семь лѣтъ ты убила на прохожденіе, якобы, полнаго курса наукъ?—часто говариваетъ Катенькѣ ея папа по мѣрѣ того, какъ она все болѣе и болѣе, и все изумительнѣе являетъ примѣры своей теоретической и практической ребяческой несвѣдущести въ самыхъ азбучныхъ знаніяхъ.

---

## IV.

Недавно одинъ педагогъ, говоря о школьныхъ экзаменахъ, заявилъ, что эта формальная церемонія давно уже признается лишней, безцѣльной и нелѣпой. Онъ доказывалъ это на основаніи точныхъ фактовъ и наблюденій.

Я не педагогъ и ничего не смыслю въ педагогіи, но безцѣльность экзаменовъ очевидна для всякаго. Я

сужу эмпирически по наблюдаемымъ фактамъ и, въ данномъ случаѣ, по примѣру моей героини.

Очень неглупой, способной и милой дѣвушкѣ эти экзамены, эти торжественные выпуски, эти аттестаты и награды внушили нелѣпую и несчастную мысль, что она, въ самомъ дѣлѣ, что-то такое кончила, что она «выучила» всѣ науки и получила «полное» образованіе. Мысль эту всѣ окружающіе, руководители и опекуны. торжественно въ ней поддерживаютъ своей санкціей, своимъ авторитетомъ. По ихъ предумышленному сговору, она—вчерашній несмысленный, неопытный, малосвѣдущій ребенокъ — сегодня вдругъ признается самостоятельной, взрослой женщиной, равноправной съ ними, «большими», во всѣхъ отношеніяхъ *законченной*!

Неественность такой внезапной волшебной метаморфозы слишкомъ явна, чтобы нужно было ее доказывать, Въ дѣйствительности, ничего тутъ не кончается, въ смыслѣ завершенія развитія и образованія, потому что, по самой натурѣ вещей, переходъ отъ младенчества къ зрѣлости никогда не происходитъ вдругъ, словно на театральной сценѣ, по мановенію чародѣйскаго жезла.

Во всей этой церемонной процедурѣ неискоренимо присутствуетъ ветхая учебная рутина съ тѣхъ патріархальныхъ временъ, когда обученіе было для дѣтей пыткой, труднымъ мучительнымъ искусомъ, за терпѣливое и успѣшное прохожденіе котораго надо было ихъ поощрять и награждать, а, съ другой стороны, когда, самая наука была ничто иное, какъ схоластическое буквоѣдство, подѣленное на задачки и предметы «отсюда досюда». Тогда еще могъ имѣть какой-нибудь смыслъ

терминъ — «окончаніе курса наукъ»; но смѣшно говорить объ окончаніи этого курса теперь, когда научная область сдѣлалась безпредѣльной. А между тѣмъ,—послушайте, напримѣръ, мою юную героиню, обнадеженную на этотъ счетъ удачнымъ экзаменомъ, наградой и аттестатомъ объ «окончаніи полнаго курса наукъ».

— Катерина Ивановна,—спросишь ее, — географію вы знаете?

— Конечно, знаю! — отвѣтитъ она такимъ тономъ, что можетъ-ли быть-де какое-нибудь въ этомъ сомнѣніе?

— И исторію знаете?

— И исторію знаю, учила...

— Русскую и всеобщую?

— И русскую, и всеобщую.

— Ну, а какъ насчетъ логариѳмовъ?

— Это еще что такое?

— Вычисленія есть такія...

— Нѣтъ, логариѳмамъ насъ не учили.

— А то всѣмъ наукамъ, какія только есть, васъ учили?

— Всѣмъ, какъ есть!

— И вы всѣ ихъ знаете?

— Всѣ знаю.

И — страшно подумать — сколько она, бѣдная, должна испытать жесточайшихъ конфузовъ, разочарованій и ударовъ самолюбію, пока убѣдится, что она, въ сущности, ничего не кончила и ровно ничего или почти ничего не знаетъ.

# „ВСѢ МЫ ЖАЖДЕМЪ ЛЮБВИ“...

## Присказка.

### I.

Хорошъ петербургскій дачный сезонъ, если къ нему не очень придираться; хороши и красны петербургскія дачи, своей кудреватой, бонбоньерочной архитектурой, своимъ, точно изъ аптеки по рецепту отпущеннымъ, цѣлебнымъ благорастворенiемъ воздуха и своими увеселительными, виньеточными садиками и рощицами, съ изумрудными газончиками и цвѣточными клумбами; но, безъ сомнѣнія, самымъ изящнымъ и самымъ плѣнительнымъ украшенiемъ дачнаго сезона и дачныхъ колоній служитъ «кисейная барышня».

Что такое «кисейная барышня» («неземное созданіе», тожъ), въ этнографическомъ, антропологическомъ, салонномъ, танцовальномъ и иныхъ отношеніяхъ,—доста-

точно, кажется, извѣстно. Напомню, впрочемъ, ея основныя черты. Это—барышня-бѣлоручка, изъ достаточной интеллигентной среды, образованная, сколько это требуется для благородной дѣвицы, необремененной никакими занятіями и обязанностями, милая и «пріятная во всѣхъ отношеніяхъ», всегда со вкусомъ и кокетливо наряженная, если не непремѣнно въ классическую кисею, то въ какой-нибудь, по лѣтней модѣ, «простенькій», но удивительно идущій ей къ лицу ситчикъ, превращенный, при посредствѣ разныхъ, въ хитрѣйшемъ сочетаніи, прошивокъ, рюшиковъ, кружевцовъ, ленточекъ и бантиковъ, въ художественное произведеніе, стоющее совсѣмъ, совсѣмъ дешево, хотя жестокій папаша рѣдко съ этимъ соглашается.

Конечно, «кисейная барышня» присуща одинаково всѣмъ сезонамъ, но, тогда какъ въ городѣ она разсѣяна спорадически и рѣдко сосредоточивается en masse, на вольномъ лѣтнемъ воздухѣ, въ дачныхъ колоніяхъ, она красуется цѣлыми прелестными, движущимися цвѣтниками и букетами повсемѣстно, въ своемъ полномъ, такъ сказать, боевомъ составѣ.

Чуть вы выѣхали за-городъ и вступили въ районъ дачныхъ поселеній, граціозный образъ «кисейной барышни», какимъ-то неотступнымъ, сладкимъ, мечтательнымъ соблазномъ, начинаетъ преслѣдовать васъ, искушать «безъ нужды» на каждомъ шагу. Мчитесь вы на поѣздѣ мимо рощъ, и глазъ вашъ поминутно ласкается мелькающими, радужными тѣнями очаровательныхъ сильфидъ, скользящихъ подъ ихъ зеленокудрой сѣнью... Какъ на пейзажахъ XVIII-го столѣтія неизбѣжны фарфоровые

пастухи и пастушки, также нельзя представить себѣ ни одинъ петербургскій дачный «видъ» безъ живописнаго присутствія на немъ «кисейной барышни». Но, вотъ, поѣздъ остановился у станціи; выглядываете вы чрезъ окно вагона на длинную, просторную платформу, и — опять замелькали передъ вами, какимъ-то чуднымъ калейдоскопомъ, голубые, сѣрые, каріе, черные глазки, бѣленькія и смуглыя, розовыя и матовыя личики, стройныя талійки, совершенно противуестественно, повидимому, не сламывающіяся отъ дуновенія вѣтерка, и все это въ какомъ-то очаровательномъ, пестромъ облакѣ изъ кружевъ, лентъ, рюшей, блондъ и ситцу. Васъ невольно, хотя съ пріятностью поражаетъ это чрезвычайное скопленіе «кисейныхъ барышень» на желѣзнодорожныхъ станціяхъ дачныхъ колоній, если, конечно, вы не знакомы еще съ нравами сихъ послѣднихъ. У петербургскихъ дачницъ вошло въ обычай ходить на станціи, ждать и встрѣчать возвращающихся изъ города со службы мужей, отцовъ и братьевъ... Очень трогательный обычай, свидѣтельствующій о пылкости родственныхъ чувствъ нашихъ дамъ; но, немножко приглядѣвшись къ нему, не трудно замѣтить, что большинство посѣтительницъ станціонныхъ платформъ, преимущественно-же «кисейныхъ барышень», обыкновенно, фланируютъ здѣсь, какъ будто-бы совершенно безнадежно, вотще поджидая гдѣ-то замѣшкавшихся папашъ и братцевъ. Впрочемъ, съ безпредметностью этихъ встрѣчъ поѣздовъ наши героини даже и не скрываются. Только, совсѣмъ безпредметнымъ это фланированіе нельзя назвать.

— Скажи пожалуйста, отчего на вашихъ дачныхъ

станціяхъ къ приходу поѣздовъ всегда такое множество барышень собирается? — спросилъ, какъ-то, одинъ мой сосѣдъ по вагону, очевидно, провинціалъ, своего пріятеля—травленнаго петербуржца.

— Ждутъ изъ города пріѣзжихъ,—отвѣтилъ тотъ.

— Кого-же?

— Жениховъ, разумѣется, у кого ихъ еще нѣтъ... Есть и такія, что ждутъ родственниковъ, но такихъ немного, да и у такихъ родственники — ширма и благовидный предлогъ себя показать, людей посмотрѣть.

На дачныхъ гульбищахъ, гдѣ фланировать и показывать свои прелести и костюмы можно уже für und an sich, не прибѣгая ни къ какимъ благовиднымъ предлогамъ и маскамъ, «кисейная барышня» фигурируетъ цѣлыми полчищами, полновластно царитъ и, можно сказать, свирѣпствуетъ, производя вокругъ себя ужасающія опустошенія въ сердцахъ представителей грубаго пола, не настолько, однако-же, побѣдоносныя, чтобы эти «противные» эгоисты такъ сейчасъ, по востребованію, и подставляли свои выи подъ бархатное ярмо законнаго супружества. Въ этомъ-то и корень злополучій «кисейной барышни»!

---

## II.

Замѣчаемое на дачахъ необыкновенное обиліе дѣвицъ-невѣстъ и, вообще, женской холостежи — не есть какой-нибудь оптическій обманъ или случайное явленіе, годное лишь для фельетонныхъ поверхностныхъ обобще-

ній и выводовъ. Нѣтъ! въ самомъ дѣлѣ, какъ свидѣтельствуютъ точныя статистическія данныя, въ петербургскомъ населеніи число женской холостежи, сравнительно, необычайно велико. Вообще, со стороны семейнаго состоянія наша сѣверная Пальмира представляетъ совершенно почти исключительное и отчасти соблазнительное явленіе. Въ ней, во-первыхъ, чрезвычайно мало заключается законныхъ браковъ, сравнительно съ средней нормой ихъ въ остальномъ населеніи страны, и, во-вторыхъ, на милліонъ почти ея населенія — людей семейныхъ, живущихъ въ брачныхъ парахъ, въ ней менѣе ста тысячъ, т. е., относительно, цифра ничтожная до стыда, до гамлетовскаго «страха за человѣка».

Словомъ, Петербургъ какой-то чудовищный, антисемейный городъ холостяковъ; причемъ, петербургскій холостякъ—неисправимый бобыль, закоренѣлый врагъ узъ Гименея и законнаго семейнаго гнѣзда, со всей его поэзіей. Брака онъ боится, какъ... тюремнаго заключенія,—сказалъ-бы я, если-бы современный интеллигентный петербуржецъ, въ значительной долѣ, не освоился въ послѣднее время такъ хорошо съ гостепріимными стѣнами Литовскаго замка.

Изъ сопоставленія этихъ данныхъ, прекрасная читательница легко можетъ, не прибѣгая къ сухимъ и скучнымъ статистическимъ выкладкамъ, уразумѣть, почему въ Петербургѣ, несмотря на чрезмѣрное преобладаніе въ немъ мужскаго пола надъ женскимъ, такое великое, бросающееся въ глаза, множество женской холостежи, вообще, дѣвицъ, въ частности, и «кисейныхъ барышень», въ особенности. Легко пойметъ также прекрасная чита-

тельница и то деликатное, щекотливое, нерѣдко трагическое положеніе милой «кисейной барышни», въ которое она попадаетъ, истощаясь въ напрасныхъ усиліяхъ уловить въ свои сѣти желаннаго жениха и мужа...

Когда примешь во вниманіе, что здѣсь, во всей этой, такой, съ виду, суетной, легкомысленной игрѣ въ кокетство — въ этихъ трудолюбиво скомбинированныхъ кружевцахъ, рюшикахъ и турнюрахъ, въ этихъ водевильныхъ ожиданіяхъ «родныхъ» на станціяхъ, въ живописныхъ позированіяхъ на дачныхъ балкончикахъ, въ разсчитанномъ фланированіи «на музыкѣ» и по разнымъ гульбищамъ, въ этомъ вѣчномъ ревнивомъ парадѣ, на чеку,—выражается незримая, но ожесточенная, въ потѣ лица борьба за существованіе, за будущность и за всю карьеру женщины въ предѣлахъ земнаго,—бѣдная «кисейная барышня» вызоветъ въ васъ уже не улыбку, не фривольную остроту, а глубокое состраданіе... Сколько ума, сколько таланта и красоты растрачиваетъ она и растрачиваетъ часто попусту, чтобы избѣжать, поистинѣ ужасной, ненавистной судьбы «старой дѣвы», такъ жестоко уподобленной сухому, жесткому, лишенному благовонія иммортелю!

Позволю себѣ безстрашно сказать, что въ этихъ, именно, условіяхъ женскаго существованія въ интеллигентной средѣ заключается, главнымъ образомъ, источникъ возникновенія у насъ, такъ называемаго, «женскаго вопроса», съ вытекающими изъ него требованіями женскаго самостоятельнаго труда, женской учености и женской правовой независимости. Замѣтьте, что вопросъ этотъ возникъ первоначально въ Петербургѣ, гдѣ, по

показаніямъ статистики, такое множество дѣвицъ обречено на безбрачіе и безсемейность.

«Женскій вопросъ» до сихъ поръ трактовался у насъ очень книжно—теоретично и тенденціозно.

На самомъ дѣлѣ, «женскій вопросъ» возникъ самымъ простымъ и естественнымъ порядкомъ, въ силу требованій неумолимой статистики, — возникъ потому, что множеству женскихъ, въ разцвѣтѣ силъ, существованій отказано было судьбой въ благѣ стать героинями счастливыхъ романовъ. Дѣвушкѣ, которой отказано въ счастьѣ стать женой и матерью, предстоитъ безотраднѣйшая участь: или броситься въ омутъ распутства, чтобы взять свою долю любви, хотя-бы въ грубомъ, пятнающемъ чистое сердце суррогатѣ, или—застыть и окаменѣть въ безпорочный иммортель, безполезно бременящій землю, никому ненужный, скучный, окисленный завистью и злостью.

Тутъ выбирать, понятно, не изъ чего, и—вотъ, русская смѣлая, предпріимчивая дѣвушка озаботилась найти новый счастливый исходъ изъ того незавиднаго положенія, на которое могла-бы обречь ее статистика въ тиражѣ супружеской лоттереи. Занявшись практическимъ, самостоятельнымъ трудомъ, посвятивъ себя наукѣ, она уже не боится остаться за штатомъ на жизненномъ пиру и не имѣетъ нужды прибѣгать къ суетному, галантерейному оружію «кисейной барышни» для того, чтобы завоевать себѣ мужа, властелина и «кормильца», покореннаго лишь однимъ обаяніемъ «кисейной» красоты. Независимая, правоспособная, она уже ищетъ въ мужѣ не покровителя и не «содержателя», а равноправнаго то-

варища, сотрудника. Супружеская комбинація получаетъ тутъ совершенно иной, дѣльный характеръ, и для ея скрѣпленія уже не требуется тотъ арсеналъ болѣе или менѣе призрачныхъ соблазновъ и невинныхъ обмановъ, на которомъ зиждется романъ «кисейной барышни».

---

## III.

Несмотря на то, что типъ «кисейной барышни» — типъ, осмѣянный и дискредитированный литературой, т. е., значитъ, отжившій въ теоріи, онъ существуетъ въ настоящее время еще во множествѣ экземпляровъ.

Чтобы понять и прочувствовать ея трагическое положеніе, нужно захватить ее въ тотъ жестокій моментъ, когда она начинаетъ отцвѣтать и, не замѣчая этого, но инстинктивно чувствуя быстро наступающую утрату своихъ прелестей, лихорадочно добивается успѣховъ и побѣдъ надъ мужчинами.

Это уже не игра, не искусство, а страстный порывъ женскаго сердца, полнаго трепетной жажды любви для любви. Онѣ скромны, стыдливы, сдержанны и, кажется, такъ недоступно-строги, но внимательный глазъ легко подглядитъ, сжигающее ихъ внутреннее, неодолимое, пламенное стремленіе кого-то обнять, приголубить, зацѣловать горячими, стократными поцѣлуями, всю душу свою вылить въ любовномъ экстазѣ... Ласковый, заискивающій взглядъ сколько-нибудь благообразнаго мужчины,

хотя-бы отдаленно олицетворяющаго собою искомаго «жениха», уже волнуетъ ихъ, заставляетъ ихъ прихорашиваться и держаться во всеоружіи своихъ прелестей, какъ-бы на случай внезапнаго инспекторскаго смотра; нѣсколько пустыхъ, банальныхъ комплиментовъ такого кавалера бросаютъ ихъ въ краску смущеннаго, стыдливаго удовольствія отъ одного предвкушенія возможности любовной декларацiи; мало-мальски чувствительное рукопожатіе—для нихъ цѣлая уже поэма, прологъ сентиментальнаго романа, страницы котораго быстро и краснорѣчиво исписываются на память воспаленнымъ дѣвическимъ воображеніемъ, искусившимся издавна, еще со школьной скамьи, въ творчествѣ соблазнительныхъ картинокъ счастливой любви.

Находятся среди мужчинъ вѣтренники и баломуты, а то и просто негодяи, которые такъ или иначе эксплоатируютъ это мечтательное мужелюбіе «кисейныхъ барышень», начинающихъ терять поклонниковъ и, поэтому, обращающихся часто въ настойчивыхъ искательницъ романическихъ встрѣчъ и приключеній, съ неостывшей надеждой найти, наконецъ, желанную супружескую «партію». Эксплоатація этого рода бываетъ разнообразная, болѣе или менѣе платоническая, но еще чаще грубо-эгоистическая, хищная и плотоядная. Достовѣрно только одно—за что я ручаюсь, что въ Петербургѣ въ настоящее время, рядомъ съ приведеннымъ въ извѣстность и заклейменнымъ литературой, презрѣннымъ «Альфонсомъ», паразитствующимъ около «лакомыхъ вдовъ» и продажныхъ Аспазій, вполнѣ сформировался, незамѣчаемый до сихъ поръ, сердцеѣдъ (и еслибъ только

*сердцеѣдъ!*), чужеядствующій, съ миной благороднаго кавалера, около порядочныхъ, чистыхъ дѣвушекъ и молодыхъ вдовъ, вышедшихъ, такъ сказать, изъ тиража брачной лоттереи, но пламенно жаждущихъ возвышенной, цѣломудренной любви и не потерявшихъ еще надежды выйти замужъ.

---

## Mademoiselle Муза.

---

### I.

Хотя, созданное практикой лицемѣрія, искусство казаться, а не быть самимъ собою, — общій грѣхъ обоихъ половъ въ культурной средѣ, но, безъ сомнѣнія, всего болѣе усвоено оно и до тонкости разработано поломъ прекраснымъ. Разница въ этомъ отношеніи начинается съ самой внѣшности и ея декорированія.

Въ то время, какъ мужчина, въ современномъ европейскомъ, упрощенномъ платьѣ, весь, такъ сказать, на виду со стороны пластической—въ очертаніи формъ тѣла, внѣшность нашихъ дамъ, благодаря свойствамъ ихъ костюма—складкамъ, буффамъ, корсетамъ и разнымъ другимъ, такимъ безстыднымъ нерѣдко, обманамъ и ухищреніямъ, узакониваемымъ модою, кажется на людяхъ, иногда до комической неузнаваемости, иною, чѣмъ какова она

въ дѣйствительности, напр., до чудодѣйственнаго сеанса въ уборной.

И сколько изъ-за этого оптическаго обмана происходитъ жесточайшихъ домашнихъ столкновеній, влекущихъ за собою грустныя, часто драматическія послѣдствія въ области романическихъ и матримоніальныхъ отношеній!

Искусство казаться на сторонній глазъ не тѣмъ, чѣмъ вы есть въ натурѣ, не ограничивается одной внѣшностью, хотя внѣшность, особенно у женщинъ, очень много значитъ и въ дѣлѣ ихъ внутренняго искусственнаго настроенія, выражающагося въ той вѣчной маленькой комедіи, которую онѣ большею частью такъ талантливо играютъ.

По крайней мѣрѣ, у моей хорошей знакомой Музы Валентиновны или просто mademoiselle Музы, какъ она любила, чтобы ее называли, удивительнымъ образомъ мѣнялись состояніе духа, манера держаться и даже взглядъ на вещи, главнѣе-же, на самую себя и на свое достоинство, вмѣстѣ съ костюмомъ.

Она ежедневно переодѣвалась нѣсколько разъ, не считая какихъ-нибудь чрезвычайныхъ случаевъ, очень любила это занятіе, пропасть тратила на него и времени, и труда и умственныхъ способностей; тратила для него почти весь свой довольно скудный доходъ и глубоко страдала каждый разъ, когда въ гардеробѣ ея оказывались упущенія и она не имѣла средствъ поставить его на высоту своихъ изысканныхъ требованій.

По выходѣ изъ института и достиженіи совершеннолѣтія, въ руки Музы Валентиновны достался небольшой капиталецъ, унаслѣдованный отъ родителей (она была

сирота),—порядочное-бы приданое или не лишній запасъ про черный день.

Въ ту минуту, когда Музу Валентиновну застаетъ нашъ разсказъ, отъ ея капитальца оставались жалкія крохи—все ушло на пополненіе и обновленіе гардероба, несмотря на то, что она жила на полномъ содержаніи у своей богатой крестной матери.

Эта тряпичная манія, съ безконечными переодѣваніями, вытекала у нея не изъ одной только, общей большинству женщинъ, кокетливой потребности рядиться, но и изъ логически аргументированнаго, твердаго убѣжденія, что такъ нужно для свѣта, по требованіямъ «хорошаго тона», который составляетъ для нея символъ вѣры и который она исповѣдывала съ фанатической страстностію.

Само собою разумѣется, на днѣ этого убѣжденія и этой вѣры крылась сладкая мечта, что въ одно чудесное утро явится желанный прекрасный кавалеръ, достодолжно оцѣнитъ нашу «бонтонность», нашъ изящный вкусъ, нашъ изысканный гардеробъ и, плѣненный всѣмъ этимъ, предложитъ свою руку и сердце.

Костюмъ и общество производили въ Музѣ Валентиновнѣ такія поразительныя перемѣны, которыя на неопытный глазъ могли показаться даже просто чудесными. Кто видѣлъ ее утромъ въ уборной, въ обществѣ со своей горничной (справедливость историка требуетъ сказать, что въ эти моменты никто изъ стороннихъ ея не видѣлъ), тотъ вовсе не узналъ-бы ея въ семейной чайной, въ изящномъ утреннемъ дезабилье, лирическій безпорядокъ котораго могъ оцѣнить по достоинству только опыт-

ный дамскій глазъ, изощренный въ туалетной техникѣ... За завтракомъ, на прогулкѣ, за обѣдомъ, вечеромъ, въ театрѣ, на балу—это были все новыя изумительныя превращенія, новыя до неузнаваемости лица! Въ каждый изъ этихъ моментовъ Муза Валентиновна являлась непремѣнно въ какомъ-нибудь существенномъ видоизмѣненіи, спеціально символировавшемъ и возвышавшемъ какую-нибудь особую ея прелесть или ея подразумѣваемость, въ щекочущихъ глазъ обольстительныхъ намекахъ.

Утромъ, за чаемъ, зритель восхищался разбросанными въ «безпорядкѣ» волнами ея пышныхъ, еще не убранныхъ кудрей, не подозрѣвая, конечно, какихъ усилій искусства, какого терпѣнія стоило это кажущееся «растрепэ». Въ полдень, на прогулкѣ, зритель млѣлъ отъ восторга, созерцая скользившія изъ-подъ короткихъ юбокъ, по модѣ, по золотистому песку садовыхъ аллей, тонкіе кончики элегатно обутыхъ, крохотныхъ ножекъ, не подозрѣвая, опять-таки, съ какой нестерпимой болью отъ тѣсноты и мозолей воздушно шагаютъ онѣ, едва касаясь земли. На вечерѣ, въ театрѣ, напр., зрителя поражали въ самое сердце коварно газированнымъ въ тюлѣ плечикомъ. За обѣдомъ зритель преклонялся предъ оффиціальной строгостью спеціально-обѣденнаго костюма, но всего болѣе повергалъ его въ благоговѣйное восхищеніе самый процессъ ѣды. Съ своей стороны могу сказать, что каждый разъ, какъ мнѣ случалось обѣдать вмѣстѣ съ Музой Валентиновной, я смотрѣлъ, изумлялся и внутренно себѣ говорилъ:

— Зри, смертный, и молись: вотъ какъ древле боги Олимпа кормились амброзіей и нектаромъ!

Когда передъ Музой Валентиновной ставилась тарелка съ супомъ и она принималась его отвѣдывать,—ну. вотъ, такъ и казалось, что среди насъ сейчасъ спустилась съ облаковъ богиня, которая по своей божественной природѣ, вовсе не нуждается въ кормленіи, а только снисходитъ, изъ благосклонной угоды смертнымъ, къ примѣрному, брезгливому опыту—фи! такой грубой, неопрятной вещи, какъ ѣда... Можно-бы написать цѣлую поэму о томъ, какъ mademoisselle Муза брала, напр., въ свои ручки ложку, ножъ и вилку, какъ удивительно обращалась съ ними, едва ихъ касаясь, какъ препровождала ихъ, съ захваченной ими пищей, въ свой жеманный ротикъ, какъ-бы говоря каждый разъ: «Вотъ и еще я дѣлаю жертву—кушаю эту гадость, жаркое!»... Можно поручиться головою, что если-бы ее три дня проморили голодомъ, а потомъ дали ѣсть, то и тогда она ни подъ какимъ видомъ не обнаружила-бы въ себѣ такой вульгарной, «моветонной» штуки, какъ простой человѣческій аппетитъ. Это нарочито-брезгливое, презрительное отношеніе къ пищѣ, какъ къ предмету печальной необходимости для божественнаго, «неземнаго» существа, граціозно выражалось уже въ томъ, какъ брала Муза Валентиновна хлѣбъ, косточку цыпленка, ложку. Ея розовые, нѣжные пальчики говорили въ такихъ случаяхъ краснорѣчивѣе Цицерона. Слегка, чуть-чуть захвативъ адресуемый въ ротикъ кусочекъ большимъ и указательнымъ пальчиками, остальные она какъ-то удивительно и совсѣмъ неправдоподобно изгибала такимъ образомъ, что они какъ-бы хотѣли сказать, что ни за что, ни за что не хотятъ запачкаться той «гадостью»,

которою запятнались, по суровой, жестокой необходимости, два первые пальца. Въ то время, какъ эти два пальца съ нѣмымъ протестомъ несли неряшливую службу подневольныхъ рабовъ дурной человѣческой привычки употреблять пищу, остальные, незанятые пальчики принимали надменную позу истыхъ аристократовъ и изъявляли, полный негодованія, протестъ противъ упомянутой дурной привычки.

За всѣмъ тѣмъ, Муза Валентиновна продѣлывала цѣлый рядъ не менѣе чудесныхъ видоизмѣненій съ собою, смотря по обществу: у себя въ уборной, съ прислугой, она была одной женщиной, въ кругу домашнихъ—другой, съ гостями—третьей, и ежели въ средѣ гостей оказывались кавалеры — четвертой, и совсѣмъ ужь неузнаваемой.

---

## II.

Нынѣ, какъ извѣстно, кавалерское искусство, складывающееся изъ рыцарскаго угодничества, платонической любезности съ дамами и умѣнья занимать ихъ и забавлять, въ полномъ упадкѣ.

Есть много неглупыхъ, образованныхъ и хорошо воспитанныхъ мужчинъ, для которыхъ истинная пытка сидѣть въ гостинной и поддерживать салонную causerie со свѣтскими дамами. Смѣшно и жалко бываетъ смотрѣть на нихъ въ такихъ оказіяхъ—застѣнчивые пни какіе-то, неотесанные чурбаны, едва ворочающіе деревяннымъ языкомъ, и—что ни раскроютъ ротъ, то либо

для глупости, либо для пошлости, отъ которыхъ самиже краснѣютъ, къ пущему своему конфузу.

Обыкновенно, умныхъ дамочекъ такіе увальни, истощающіеся въ медвѣжьихъ усиліяхъ изобразить изъ себя интересныхъ свѣтскихъ кавалеровъ, очень забавляютъ, а глупенькихъ и педантокъ повергаютъ въ смертельную тоску и сразу, безвозвратно, погибаютъ въ ихъ мнѣніи.

Но изъ свѣтскихъ дамъ, которыхъ мнѣ случалось знавать, ни съ одной, кажется, бесѣда не составляла такой щекотливой и мудреной вещи, какъ съ Музою Валентиновной:—такъ трудно было къ ней примѣниться и сойтись съ ея мыслями и вкусами, внѣ которыхъ она, къ тому-же, ничего не признавала! Разговаривая съ нею, вы чувствовали, какъ будто съ экзотической стыдливой мимозою обращеніе имѣете, которая малѣйшее неосторожное и неделикатное къ ней прикосновеніе встрѣчаетъ сангвиническимъ, брезгливымъ протестомъ—и морщится и сжимается, и лепестки свои подбираетъ и вся обидчиво ощетинивается... «Не тронь меня», да и только!

Отчего бы это?—не разъ спрашивалъ я мысленно. Знанія и идейки Музы Валентиновны были очень маленькія и вовсе не серьезныя, а какія-то игрушечныя, притомъ обрывочныя и зыбкія. Міросозерцаніе у нея было почти дѣтское или, точнѣе сказать, птичье—такое-же, какъ у птицъ, безхитростное и наивное, никакими вопросами и сомнѣніями не смущающееся, скорѣе результатъ стаднаго инстинктивнаго подражанія, чѣмъ сознанія. Есть мудрецы, которые въ этомъ, именно, видятъ и поэтическій признакъ, и вѣрный залогъ чистоты сердца и дѣвственной невинности, но такая чистота и такая

невинность очень не надежны, потому что подъ ними— пустота.

Но было въ Музѣ Валентиновнѣ нѣчто незыблемо-прочное, что исповѣдывала она твердо, какъ свой символъ вѣры, и чѣмъ педантически руководилась, какъ непогрѣшимымъ критеріемъ и въ своемъ личномъ поведеніи, и въ оцѣнкѣ людей. Это *нѣчто* составляли въ ней спеціально-дамскіе салонные идеальчики, да дюжины двѣ изветшавшихъ правилъ «хорошаго тона» и свѣтской морали, законодательную премудрость которыхъ едва-ли скрѣпилъ бы своей подписью классическій Солонъ. Все это добро было оранжерейнымъ плодомъ образцоваго институтскаго воспитанія, претенціозно барскихъ условій праздной и суетной дѣвической жизни въ дворянскомъ быту и романтическихъ традицій салона, по отношенію къ его признаннымъ жрицамъ и «царицамъ». Культъ не особенно хитрый и основательный, зато Муза Валентиновна усвоила его съ удивительной полнотою и законченностью, свято вѣрила въ его истинность, неослабно, до мелочей слѣдовала во всемъ его катехизису и съ религіознымъ ужасомъ относилась къ его профанаціи и критикѣ, не говоря уже объ его нарушеніяхъ, а тѣмъ болѣе о попыткахъ внести въ него какой нибудь расколъ. Если подобный революціонизмъ въ данной области обнаруживали люди ея круга, Муза Валентиновна считала это съ ихъ стороны гнусной измѣной; виновные въ томъ мужчины вызывали въ ней презрѣніе, женщины— возмущали ее до глубины души.

Судите-же, послѣ этого, легко-ли было вести разговоръ съ моей героиней и заслужить ея благосклонность?

Прежде всего, разумѣется, она вышколила самое себя, въ мѣру требованій своихъ изысканныхъ идеальчиковъ и правилъ, да въ этомъ ее съ малолѣтства школили и дома, и въ гостяхъ и на институтской скамейкѣ. Она считала себя барышней, именно, свѣтской барышней (mademoiselle), и была твердо убѣждена, что выше, совершеннѣе этого типа для благородной дѣвушки ничего не можетъ быть. Понятіе «барышни» было у нея довольно сложное и чрезвычайно отвѣтственное.

Когда она думала о себѣ — о своей организаціи, о своей наружности, ея личное «я» представлялось ей, притомъ, совершенно искренно, какимъ-то высшимъ, ангелоподобнымъ существомъ, аристократически тонкимъ и деликатнымъ, ровно ничего или почти ничего не имѣющимъ общаго, напримѣръ, съ существомъ ея хорошенькой горничной Стеши и, вообще, всякой низшаго круга и плебейскаго происхожденія женщины. Въ этомъ убѣжденіи, она постоянно въ обществѣ хранила такой парящій видъ, какъ еслибы сейчасъ, вотъ, только спустилась съ неба и не для того, чтобы—fi donc!—обитать, подобно намъ, грѣшнымъ, на этой скверной, неопрятной землѣ, а лишь порхать по ней на кисейныхъ крылышкахъ, для ея красы и намъ на усладу, для нашего «обожанія» и «поклоненія», но, при этомъ, съ неусыпной щепетильной заботой—избави Богъ!—не запачкаться какъ-нибудь трудовой пылью земли, ея чернорабочей грязью, ея «злобами» и страданіями.

Отсюда уже логически выходило такъ, что Муза Валентиновна на людяхъ крайне стѣснялась и даже стыдилась естественныхъ проявленій въ себѣ человѣче-

ской физики, если они сколько-нибудь компрометтировали ея божественность и изобличали ея земное, плотское происхожденіе. Не говоря уже о такихъ проявленіяхъ, которыя всѣми скрываются изъ приличій, m-lle Муза, напримѣръ, приходила въ совершенное отчаяніе, если у нея отъ жары или движенія выступала лишняя краска на лицѣ или показывалась испарина; она скорѣе умерла-бы, чѣмъ созналась въ томъ грустномъ, скандалезномъ фактѣ, что въ ней вѣсу около трехъ съ половиною пудовъ; она мучительно зашнуровывалась и втискивала съ болью свои оконечности въ узкую обувь, чтобы елико возможно сплющить объемы своего тѣла и придать ему воздушность. Мы уже видѣли, какъ жеманно она кушала, боясь обнаружить въ себѣ присутствіе грубаго человѣческаго аппетита; также боялась она выказать въ себѣ физическую силу и дать право заподозрѣть въ ней малѣйшую способность къ какой-нибудь «черной» работѣ. Напротивъ, она нарочно преувеличивала свою изнѣженность, слабосиліе и безпомощность, явно даже кокетничала ими, какъ несомнѣнными качествами божественности и аристократизма. Ее все пугало,—паучекъ, какая-нибудь букашка, гусеница, встрѣчавшіяся ей на пути или попадавшія на платье, заставляли ее нервно вскрикивать; если-же въ ея комнату лѣтомъ залеталъ—спаси Богъ!—буйный шмель—она обращалась въ бѣгство и поднимала на ноги чуть-ли не весь домъ, взывая о помощи и спасеніи. Вообще, всякихъ «страховъ» у нея было множество, да столько-же, если еще не болѣе имѣлось, чаще такихъ-же эфемерныхъ, «гадостей» и «противностей», по институт-

скимъ терминамъ, возмущавшимъ въ ней чувство женственности и изящества, требованія приличій и хорошаго тона.

Эти трусливость и гадливость, сперва напускныя, а потомъ вошедшія въ привычку, гармонически выражались Музой Валентиновной особенными, кажется, спеціально для прекрасныхъ дамъ созданными, междометіями, слетавшими съ ея устъ часто и совершенно автоматически. Чаще всего она «ахала», притомъ, на хорошемъ французскомъ діалектѣ, съ безукоризненнымъ произношеніемъ. Крестная maman ея даже замѣтила, что если она, бесѣдуя, напримѣръ, съ мужчиной, изобильно, съ тончайшими модуляціями, вставляетъ свои «ахи» и «охи»,—значитъ ей весело, и мужчина ей нравится. Вообще, способъ выражаться и манера говорить были у Музы Валентиновны также замѣчательны и характеристичны.

Если она не увлекалась, что съ нею случалось очень рѣдко, то въ гостинной, въ бесѣдѣ съ гостями, особенно-же съ мужчинами, она производила странное впечатлѣніе чего-то натянутаго и искусственнаго. То-есть, строго говоря, таково и должно быть впечатлѣніе истинной «кисейной барышни», и было бы странно, если бы она казалась иною. Какъ снаружи, для достиженія ангелоподобной воздушности, Муза Валентиновна до-нельзя зашнуровывалась и всячески защемляла себя, — такою-же зашнурованной и защемленной для той-же цѣли представлялась она и внутренно. Изъ ея туго завитой куаферомъ головки, изъ ея стиснутой корсетомъ грудки выходили какія-то, точно прессованныя, тощенькія и

тоненькія мысленки и чувствьица, величиною въ комариный хоботокъ. Это были своеобразныя, мельчайшія миніатюры на красивой полированной поверхности, но только рисованныя не кистью мастера, а прихотливымъ дѣтскимъ пальчикомъ, такъ что нерѣдко въ этихъ пестрыхъ узорахъ не находилось ни складу, ни ладу. Муза Валентиновна знала, что этотъ живописный лиризмъ мысли признается иногда очень милымъ и можетъ нравиться въ дѣвицѣ. Поэтому, она не только не старалась упорядочить свои мыслительныя отправленія, но еще сознательно и нарочно, охорашиваясь и кокетничая, выбалтывала часто тѣ прелестныя глупости, тѣ ошеломляющія своимъ неправдоподобіемъ, милыя наивности, тѣ забавно-ребяческія несообразности, которыя, конечно, каждому приводилось слышать съ восхищеніемъ изъ устъ «кисейныхъ барышень»... Если Музу Валентиновну поправляли въ такихъ случаяхъ, — это давало ей почву для новаго обольстительнаго нюанса граціи и стыдливости. Она мелодически произносила свое «ахъ», изящно смущалась и потупляла глазки, закрывая ихъ хорошенькими пальчиками своей бѣлой ручки, и всей своей фигурою являла трогательно-милый видъ изобличенной «дурочки», разумѣется, не въ обидномъ, а въ лестномъ, ласкательномъ смыслѣ этого слова, какъ звучитъ оно, напримѣръ, въ устахъ матери, любовника и пр.

Изучая Музу Валентиновну шагъ за шагомъ прежде, чѣмъ предложить здѣсь читателямъ ея правдивый портретъ, я замѣтилъ, между прочимъ, что, если вышеописанныя сценки «дурочки», вызываемыя nonsens'ами

и глупостями, имѣли успѣхъ, то она довольно часто возобновляла ихъ, каждый разъ повторяя тѣ-же наивныя глупости, въ разсчетѣ, что онѣ повторятъ и тотъже эффектъ. Находились, однако, злецы, которые ее безжалостно наказывали за эти маленькіе маневры кисейнаго кокетства.

---

## III.

Муза Валентиновна была счастлива потому, что она, никогда не сомнѣвалась ни въ самой себѣ, ни въ своемъ назначеніи, ни въ своей будущей судьбѣ. Въ то время, какъ на сторонній строгій взглядъ, она казалась жалкимъ, безполезно-бременящимъ землю существомъ, никому ненужнымъ, ни къ чему ровно неспособнымъ, она сама, съ невозмутимой вѣрой и ясностью, взирала на себя, какъ на одну изъ немногихъ, привиллегированныхъ избранницъ неба и судьбы, назначенныхъ осчастливить своей любовью, своей ангелоподобной красотой и своимъ чарующимъ обществомъ, достойныхъ такой доли смертныхъ, рыцарей, красавцевъ и богачей, которые поведутъ ихъ торжественно въ свой «чертогъ златой», сотворятъ себѣ въ лицѣ ихъ кумиры, станутъ ихъ «обожать», наряжать по парижскимъ картинкамъ окружать роскошью и ловить каждое малѣйшее ихъ желаніе для немедленнаго его осуществленія... Обыкновенные планы и мечты «кисейныхъ барышень».

Съ точки зрѣнія этихъ-то мечтаній и плановъ, Муза Валентиновна и взирала на свою судьбу. Для желан-

наго осуществленія ихъ, къ сожалѣнію, не хватало пустяка: во-первыхъ, за Музой Валентиновной не имѣлось ровно никакого приданаго; во-вторыхъ, она не хотѣла даже передъ собой сознаться въ томъ, что она нехороша. Съ прискорбіемъ наношу на полотно черты моей героини-идеалистки: она была костлява и нѣсколько грузна, со скулистымъ, бѣлобрысаго, чухонскаго склада лицомъ очень нѣжнымъ, какъ молоко, бѣлымъ не лишеннымъ пріятности, но немножко вульгарнымъ какъ для «ангела», такъ и для аристократки, каковою она постоянно выставляла себя, даже съ нѣкоторой претенціозной назойливостью, по дальному и сомнительному родству съ однимъ угасшимъ княжескимъ родомъ.

— Бѣдная моя Музочка, она никогда не сдѣлаетъ партіи, она никогда не выйдетъ замужъ!—зловѣще, но съ истинно-родственнымъ сердоболіемъ предсказывала крестная maman нашей героини, изощренными старческими очами оцѣнивая рессурсы крестницы на перспективу счастливаго шествія въ «чертогъ златой».

А между тѣмъ, Муза Валентиновна всѣ свои помыслы и стремленія сосредоточивала, именно, на замужествѣ, на желанной «приличной партіи». И въ самомъ дѣлѣ, внѣ этихъ предположеній ей рѣшительно не за что было зацѣпиться, самое существованіе ея теряло всякій смыслъ, всякій raison d'être. Представить себѣ, что она не найдетъ жениха, не выйдетъ замужъ и не превратится во благовременіи изъ «барышни» въ «барыню»,—равнялось для нея самоотрицанію и самоуничтоженію. Если бы ей сказали это напрямикъ и она повѣрила хоть на минутку возможности такого удара

судьбы, Муза Валентиновна наложила бы на себя руки...

Но, къ ея счастью или несчастью, она недоступна была такимъ сомнѣніямъ и, не взирая ни на какія разочарованія, вѣрила, мечтала и ждала несокрушимо вожделѣннаго героя своего романа, лежавшаго пока раскрытымъ, съ дѣвственно-чистыми страницами... Прими и впиши на нихъ дивную поэму счастливой любви съ «неземнымъ созданіемъ»!

По традиціонному понятію женственности, по возвышенному мнѣнію о самой себѣ, о своихъ прелестяхъ и о своей роли «ангела», Муза Валентиновна держалась такой вполнѣ, впрочемъ, цѣлесообразной и разумной политики, что не она должна бѣгать за искомымъ кавалеромъ, а онъ за ней:—онъ долженъ явиться, безъ памяти влюбиться, упасть къ ногамъ и, съ отчаяніемъ плѣнника, потребовать себѣ или жизни, или смерти... Тутъ она сойдетъ со своего лучезарнаго облака, дастъ ему жизнь и наложитъ на него цѣпи сладкія, счастливыя цѣпи любви! Удивительно, какъ твердо и стройно помѣщалась въ ея бѣлокурой головкѣ программа этой деликатной процедуры.

Но что же дѣлать, если эти «противные» плѣнники не являются по собственной иниціативѣ?—Въ своей мучительной тоскѣ по нимъ, въ своемъ напрасномъ царственномъ ожиданіи увидѣть ихъ, наконецъ, распростертыми у своихъ ногъ, Муза Валентиновна постепенно воспитала въ себѣ особенную и очень странную манію. Она какъ бы грезила на яву, съ открытыми глазами, и отождествляла свои страстныя мечты и желанія съ жи-

выми реальными образами, хотя бы они и вовсе не подходили къ этимъ желаніямъ и мечтамъ.

Не по днямъ, а по часамъ старѣющая и дурнѣющая, всюду лишняя, неинтересная и ни въ одномъ мужскомъ сердцѣ не зажегшая еще искры страстнаго къ себѣ влеченія, Муза Валентиновна стала, вдругъ, воображать, что кругомъ нея всѣ мужчины въ нее влюбляются—положительно всѣ, и что она въ этомъ отношеніи не имѣетъ соперницъ. Сначала она бредила въ этомъ смыслѣ про себя, въ тайнѣ души, но, мало по-малу, вошла во вкусъ и стала пытаться сообщить свое заблужденіе и другимъ, преимущественно женщинамъ. Если ей не вѣрили и смѣялись надъ ея фантазіями, она приписывала это женской ревности и зависти, но въ своихъ фиксіяхъ оставалась непоколебимой.

И кто только въ нее не влюблялся! Мужья чужихъ женъ, въ домахъ которыхъ она бывала; незнакомый офицеръ, проходившій мимо ея окна и пристально на нее взглянувшій; наведшій на ея лицо въ театрѣ лорнетъ неизвѣстный штатскій мужчина изъ партера; бальный кавалеръ, удостоенный ея согласіемъ прокружиться съ нею нѣсколько туровъ вальса; какой то мрачный, съ черной бородой и зловѣщими блестящими глазами, незнакомецъ—настоящій портретъ романическаго Ринальдо-Ринальдини,—шагъ за шагомъ слѣдовавшій за ней какъ-то по троттуару въ сумерки и ужасно, ужасно ее испугавшій; наконецъ, даже несовершеннолѣтній гимназистикъ, съ милой юношеской предупредительностью уступившій ей однажды на скамейкѣ мѣсто на музыкѣ

и, при этомъ, франтовски сдѣлавшій ей подъ козырекъ —совсѣмъ по кавалергардски...

По поводу каждой такой встрѣчи, неотразимо приводившей къ влюбленности встрѣчныхъ мужщинъ въ Музу Валентиновну, она мысленно сочиняла цѣлые замысловатѣйшіе романы, съ разными патетическими и эротическими подробностями, живьемъ встававшими въ ея распаленномъ воображеніи, остро шевелившими ея кровь и заставлявшими чувственно вздрагивать и сладко млѣть все ея дѣвственное тѣло. Такимъ образомъ, у нея создался цѣлый, свой особенный мірокъ встрѣчъ, знакомствъ, ухаживаній, любовныхъ интрижекъ, длинныхъ краснорѣчивыхъ любовныхъ объясненій, смѣло сорванныхъ «первыхъ» поцѣлуевъ, смѣняемыхъ, затѣмъ, цѣлымъ ихъ ураганомъ, а тамъ какъ въ поэтической дымкѣ неясный, невѣдомый, но опьяняюще-сладкій, всю душу вынимающій, вставалъ въ дѣвичьемъ воображеніи какой-то загадочный, очаровательный фантомъ невыразимаго наслажденія и счастья, среди мукъ стыда и кипучаго торжества здороваго, прекраснаго тѣла...

Все это было только плодомъ воображенія и моглобы превратиться въ одностороннее помѣшательство, потому что, въ самомъ дѣлѣ, никто изъ тѣхъ, кого Муза Валентиновна считала влюбленными въ себя, или вовсе не обращалъ на нее вниманія или, кромѣ отношеній простой вѣжливости и приличія, не простиралъ на нее никакихъ завоевательно-романическихъ видовъ, Но тутъ случилось у нашей героини двѣ встрѣчи, которыя изъ міра фантазій вывели ее на путь дѣйствительной практики реальнаго, въ натурѣ, сочиненія романовъ.

# Monsieur Поль.

## I.

Крестная мать Музы Валентиновны, съ женской проницательностью, замѣчая происходившія въ нравѣ ея зрѣющей крестницы характеристическія осложненія— эту безпричинную капризную раздражительность, маскируемое стыдливой боязнью, но неодолимое влеченіе къ мужчинамъ, эту, наконецъ, все болѣе развившуюся въ ней наклонность къ сентиментальной мечтательности и къ страннымъ фиксіямъ романическаго свойства, — коротко и прозаично заключала, съ родственнымъ вздохомъ:

— Мужа-бы намъ нужно!

Иногда она, въ простотѣ души, говорила это крестницѣ въ глаза, чѣмъ приводила ее въ величайшее негодованіе и заставляла протестовать, какъ противъ оскорбительнѣйшей клеветы. И въ самомъ дѣлѣ, не обидно-ли? Въ то время, какъ она, дѣвушка идеальная и благовоспитанная, боится даже помыслить о замужествѣ—объ этомъ «гадкомъ», жестокомъ и безстыдномъ превращеніи непорочнаго ангела въ «бабу», ей, вдругъ, говорятъ, съ цинической грубостью, будто ей *нуженъ* мужъ, точно она ужъ и обойтись не можетъ безъ интимнаго сближенія съ этой «противной», бородатой и наглой породой!... Крестная возражала, что нѣтъ

радости и «въ дѣвкахъ» остаться... Что-жъ, если не найдется достойный m-lle Музы искатель, который падетъ къ ея ногамъ и вымолитъ у нея согласіе на бракъ, въ силу того, однакожъ, что не онъ ей, а она ему нужна будетъ для счастья, тогда она пойдетъ въ монастырь и уже вполнѣ сдѣлается ангеломъ...

Эта маленькая, болѣе или менѣе лицемѣрная ложь— плодъ институтскаго идеализма и жеманства — весьма обыкновенна въ «кисейныхъ барышняхъ» даже въ наши дни господства «трезвеннаго» натурализма, и какимъ-то удивительнымъ путемъ нерѣдко укладывается въ нихъ рядомъ и съ основательнѣйшимъ, жадно усвоеннымъ, знаніемъ теоріи брака, и съ дѣятельной практикой по ловлѣ жениховъ.

Крестная maman нисколько не ошибалась: дѣйствительно, если Музѣ Валентиновнѣ не хватало чего въ жизни, такъ это, именно, мужа. Ей шелъ двадцать шестой годъ и существованіе ея, до сихъ поръ крайне неполное, полузатворническое и безплодное, каково оно у большинства благородныхъ дѣвицъ, впереди, внѣ замужества, не имѣло никакой цѣли, никакого содержанія и никакой отрады. Предстоялъ длинный рядъ скучныхъ, томительно-пустыхъ годовъ празднаго, безполезнаго прозябанія въ сиротливомъ одиночествѣ «старой дѣвы», притомъ, въ жалкой роли приживалки на чужихъ хлѣбахъ изъ милости.

Впрочемъ, роль эта какъ-то вовсе не озабочивала и не стѣсняла Музу Валентиновну. Она просто не задумывалась надъ своимъ положеніемъ, а если и задумывалась, то, вслѣдствіе чисто ребяческаго непонима-

нія жизни и житейскихъ отношеній, полагала вполнѣ искренно, что прекрасный Божій міръ такъ чудесно устроенъ къ вящему удовольствію украшающихъ его, благородныхъ, хорошо воспитанныхъ дѣвицъ, что о пропитаніи ихъ, гардеробѣ, жилищѣ и проч. непремѣнно обязанъ кто-то позаботиться (папа, мама, мужъ, братъ, тетя—все равно, но кто-то безусловно долженъ нести эту повинность) и, такимъ порядкомъ, чтобы онѣ никогда ни въ чемъ не чувствовали нужды и могли-бы сами, сколько угодно, безъ зазрѣнія совѣсти сидѣть, сложивъ свои бѣленькія ручки съ розовыми ноготками, дѣлать легкій променадъ, танцовать, ѣздить въ театръ и, главнымъ образомъ, «нравиться» кавалерамъ во всевозможныхъ отношеніяхъ—красоты, изящества, остроумія и салонныхъ талантовъ, ничѣмъ болѣе не безпокоясь.

Въ судьбѣ нашей героини случилось такъ, что этотъ «кто-то», обязанный удовлетворить всѣ ея потребности и обезпечить ея существованіе, оказался крестной матерью. Муза Валентиновна принимала это, какъ должное, и нисколько не тяготилась ни своей зависимостью, ни тѣмъ, что она живетъ даромъ на чужой счетъ, ровно ничего не дѣлая. Правда, ея крестная maman была женщина добрая и зажиточная, притомъ, «барыня» въ лучшемъ значеніи этого слова, и никогда ничѣмъ не давала ей почувствовать горечи чужаго хлѣба изъ милости. Кромѣ того, живя одиноко, старуха нуждалась въ какомъ-нибудь обществѣ, ей нужно было имѣть возлѣ себя близкое, довѣренное существо изъ своего круга, однихъ съ нею понятій, и—крестница, отвѣчая на

этотъ запросъ, сдѣлалась для нея почти необходимымъ человѣкомъ. Старуха, въ тайнѣ сердца, эгоистически радовалась даже тому, что у ея Музочки все нѣтъ и нѣтъ жениховъ, которые могли-бы сманить отъ нея на сторону молодую дѣвушку для супружеской «партіи». Это было похоже на привязанность, довольно сердечную, хотя и не особенно надежную. Муза Валентиновна, для которой крестная съ дѣтства замѣняла мать и была почти единственной роднею, платила ей привязанностью еще болѣе искренней и горячей; но въ тоже время она, конечно, ни одной минуты не задумалась-бы бросить ее, хотя-бы на вѣки, для какого нибудь бородатаго урода, если-бы онъ овладѣлъ ея сердечкомъ и посватался за нее.

---

## II.

У крестной матери Музы Валентиновны, давно овдовѣвшей, былъ единственный сынъ, который лѣтъ десять тому назадъ женился, отдѣлился отъ нея и, по требованіямъ своей службы, жилъ большею частью въ провинціи. Судьбѣ было угодно, чтобы года за полтора до описываемаго нами момента онъ потерялъ жену и невдолгѣ, послѣ ея смерти заграницей, куда возилъ ее лечить и гдѣ оставилъ своихъ двоихъ дѣтей на воспитаніе, пріѣхалъ въ Петербургъ къ матери пожить и утѣшиться въ своей утратѣ. Случайность эта имѣла очень грустное значеніе для нашей героини.

Муза Валентиновна знала съ дѣтства monsieur Поля,

какъ она называла сына крестной, была съ чимъ родственно-коротка, но особенной дружбы у нихъ не было, какъ, равнымъ образомъ, никому изъ нихъ не приходила въ голову мысль о возможности болѣе интимной и болѣе горячей между ними взаимности. Совсѣмъ иначе взглянула она на своего кузена теперь, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки, въ теченіе которыхъ въ ней такъ заострились, какъ мы видѣли, матримоніальные инстинкты, и послѣ того, какъ онъ явился передъ нею интереснымъ вдовцомъ.

M-sieur Поль, дѣйствительно, могъ казаться интереснымъ вдовцомъ. Ему было около сорока лѣтъ, онъ имѣлъ щеголеватую наружность изящнаго свѣтскаго человѣка, отличался утонченной вѣжливостью и любезностью въ обращеніи съ дамами; за всѣмъ тѣмъ, стоялъ на виду въ свѣтѣ и на службѣ обладалъ очень хорошимъ состояніемъ. Муза Валентиновна была отъ него въ восхищеніи, но въ первые дни ихъ встрѣчи, она относилась къ нему, по старой памяти, съ совершенно платонической теплотой чисто родственной пріязни. Одна, случайно услышанная ею, фраза вдругъ, какъ-то мгновенно, раскрыла передъ ея глазами въ мечтательной перспективѣ возможность иного, болѣе существеннаго отношенія къ милому Полю.

Однажды. за семейнымъ чаемъ, мать Поля, заговоривъ съ нимъ объ его дѣтяхъ и объ его вдовьемъ положеніи, намекнула, что онъ хорошо-бы сдѣлалъ, еслибы женился вторично...

Идея эта какимъ-то неожиданнымъ, жгучимъ огонькомъ сверкнула въ сознаніи присутствовавшей при

этомъ Музы Валентиновны, кольнула ее въ сердце и привела въ такое волненіе, что она съ трудомъ могла его скрыть. Оказалось, что Поль ничего не имѣлъ противъ вторичной женитьбы, лишь-бы нашлась достойная, любящая дѣвушка.

—Вотъ, если-бы встрѣтилась мнѣ особа такая милая, такая добрая, такая чистая и невинная, какъ, напримѣръ, кузина! — формулировалъ онъ свои требованія, ласково положивъ свою руку на лежавшіе на столѣ пальцы Музы Валентиновны и медовыми глазами заглядывая ей въ лицо.

Галантерейное обращеніе это упало искрою на порохъ. Молодая дѣвушка была до того смущена и потрясена, что вынуждена была встать и удалиться, чтобы скрыть свой стыдливый восторгъ.

— Шалунъ, зачѣмъ ты ее смущаешь? — донесся до ея слуха упрекъ крестной сыну, когда она торопливыми шагами убѣгала отъ раскрывшагося вдругъ передъ нею, какъ ей казалось, счастья—такого неожиданнаго, такого подавляющаго счастья, отъ котораго могло сердце разорваться.

Поль, въ самомъ дѣлѣ, по отношенію къ женщинамъ былъ однимъ изъ тѣхъ свѣтскихъ, салонныхъ «шалуновъ», которые находятъ вполнѣ позволительнымъ и элегантнымъ препровожденіемъ времени галантное любезничанье съ дамами, ухаживанье за ними и заигрыванье, безъ дурнаго умысла. Это вошло у него въ привычку, такъ что его никакъ нельзя было-бы упрекнуть въ томъ, что онъ, любезничая съ Музой Валентиновной, намѣренно желалъ вскружить ей голову... Въ опи-

санномъ, напримѣръ, случаѣ онъ просто хотѣлъ ей сказать пріятный комплиментъ—не болѣе.

Но не избалованная такими комплиментами дѣвушка, давно страстно ожидавшая, чтобы пришелъ желанный суженый, который замѣтилъ-бы ея прелесть, ея доброту и чистоту, приняла пустую фразу за чистую монету, къ тому-жъ, съ до-нельзя преувеличеннымъ вѣсомъ. Впавшая въ странную манію, что всѣ встрѣчные мужчины непремѣнно должны въ нее влюбляться, Муза Валентиновна приняла неопредѣленный комплиментъ ей m-sieur Поля почти за формальную декларацію и сразу, безъ разсужденій, рѣшила, что онъ безъ памяти въ нее влюбленъ и хочетъ на ней жениться. Ей теперь уже казалось, что онъ даже пріѣхалъ съ этой, именно, цѣлью, что у него съ крестной maman вопросъ этотъ давно уже порѣшенъ и только за нею одной остановка... О, конечно, она не станетъ вѣшаться на шею, она не обнаружитъ и тѣни радости, она закуетъ въ ледъ свое счастливое, переполненное страстью, сердце:—пусть онъ придетъ самъ, робко и благоговѣйно взмолится о согласіи стать его женою, подъ страхомъ быть отвергнутымъ!

На такой деликатной подкладкѣ установились съ этого момента отношенія Музы Валентиновны съ Полемъ. Онъ не переставалъ попрежнему быть съ нею холодно-любезнымъ и говорить ей время отъ времени комплименты, эгоистически не замѣчая, что каждый разъ онъ неумышленно подливаетъ масло на огонь. Съ своей стороны, Муза Валентиновна становилась съ нимъ наружно все холоднѣе и сдержаннѣе, напустивъ на себя

напряженную строгость и исскуственный пуризмъ... Бѣдная, она думала, что очень тонко и дипломатично ведетъ свою любовную политику, не замѣчая, какъ ее въ конецъ портитъ наружно эта преувеличенная неприступность весталки, какъ теряетъ она послѣднее обаяніе дѣвической веселой простоты, заморозивъ застѣнчивымъ холодомъ каждое свое словечко, каждое свое внутреннее движеніе!

Зато внутренно, когда она оставалась одна въ четырехъ стѣнахъ своей комнаты, она жила въ этотъ періодъ своей жизни, какъ-бы, за цѣлый вѣкъ—жила, конечно, иллюзіями и мечтами. Каждый день, каждая встрѣча съ интереснымъ Полемъ, каждое его слово, взглядъ, улыбка давали неистощимую пищу ея воображенію для созданія новыхъ и новыхъ страницъ ея очаровательнаго фиктивнаго романа... Разъ онъ какъ-то особенно и значительно взглянулъ на нее. Передъ этимъ мать, отъ проницательныхъ глазъ которой не укрылись душевныя перемѣны, совершающіяся въ ея крестницѣ, дала о нихъ понять и сыну, пожуривъ его за то, что онъ безъ умысла кружитъ голову бѣдной дѣвушкѣ. Для Поля это была совершенная новость, но, разумѣется, онъ былъ польщенъ и въ немъ невольно возбудился тотъ эгоистическій, самоуслаждающійся интересъ къ влюбленному въ насъ, но нелюбимому нами существу, отъ котораго не всегда могутъ воздерживаться даже хорошіе, строгіе къ себѣ люди.

---

## III.

Послѣ разговора съ матерью, Поль, встрѣтивъ Музу съ глазу на глазъ, впервые посмотрѣлъ на нее внимательными, жадными очами мужчины, которому она моглабы принадлежать по первому его желанію.

Это сознаніе сластолюбиво щекотало его нервы, когда она стояла передъ нимъ, очевидно, вся подавленная его владычествомъ надъ нею, но съ ребяческой наивностью старавшаяся маскировать себя напускной, холодной неприступностью...

Онъ говорилъ ей незначительыыя фразы, а глаза его испытующе-безстыдно скользили по ея лицу, шеѣ, бюсту, таліи, рукамъ, какъ-бы разоблачая ихъ отъ одежды и оцѣнивая стройность и красоту ихъ формъ. Эти наглые глаза бросали дѣвушку въ краску, особенно, когда она замѣтила, съ какимъ плотояднымъ выраженіемъ они остановились на вырѣзѣ въ ея лифѣ, чуть-чуть намекавшемъ на гладкую бѣлоснѣжность кожи и роскошь формы ея груди, которая у Музы Валентиновны, дѣйствительно, была прекрасна.

Поль просто дѣлалъ ту приблизительную, глазомѣрную съемку съ наружности кузины, которую мужчины дѣлаютъ, обыкновенно, также безцеремонно съ каждой приглянувшейся имъ женщины.

— Не хороша!—подвелъ онъ итогъ своей съемкѣ и сразу застылъ, принявъ скучающій, вѣжливо-сдержанный видъ.

Съ этого момента она ужь окончательно потеряла для него всякій интересъ. Кто знаетъ, — психическія извилины любовнаго чувства и вспышекъ страсти неисповѣдимы,—если-бы Муза Валентиновна могла и умѣла поддержать въ изысканномъ Полѣ мгновенно возбужденное въ немъ любопытство къ ней, романъ ея могъ-бы разрѣшиться гораздо счастливѣе, чѣмъ онъ разрѣшился. Къ сожалѣнію, она не обладала тѣми неотразимыми чарами прирожденнаго кокетства, играющими могущественную роль въ судьбахъ счастливыхъ и несчастливыхъ браковъ, безъ которыхъ житейское амплуа «кисейной барышни» остается почти всегда невыполненнымъ и достойнымъ всяческаго сожалѣнія.

Хуже всего было то, что Муза Валентиновна этого не понимала, какъ не поняла она и того, какое впечатлѣніе произвела она на Поля въ описанный патетическій моментъ. Мысль, что она не понравилась, не только не приходила ей въ голову, но, напротивъ, въ ней теперь, болѣе чѣмъ когда-нибудь, сложилась увѣренность, что онъ волочится прикованнымъ за ея побѣдоносной колесницей. Никогда онъ такъ не смотрѣлъ на нее, и это ее вводило въ сладкое заблужденіе.

Она потомъ долго живо чувствовала на себѣ его дерзкіе, хищно-любопытные взгляды; они какъ-бы сдирали съ нея одежду, съ грубой безпощадностью разъяреннаго звѣря, они жгучими иглами сверлили ея грудь до глубины сердца, и опьяненная этимъ мучительно-сладкимъ обаяніемъ, среди ночной тиши, она инстинктивно вскрикивала крикомъ дѣвственно-стыдливой страсти или, въ самозабвеніи, начинала пожирающе цѣло-

вать свои руки и грудь, кусать ихъ до синяковъ, отождествляя этимъ тѣ чьи-то, стороннія ласки и терзанія, которыхъ она такъ жаждала и ждала съ такой увѣренной нетерпѣливостью.

---

## IV.

Проходили дни за днями, а давно предрѣшенной Музою Валентиновной развязки ея романа съ Полемъ не наступало. Иногда ей казалось, что она съ нимъ слишкомъ холодна и жестка, вслѣдствіе чего онъ боится подступить къ ней съ рѣшительнымъ объясненіемъ Тогда она начинала оказывать ему нѣкоторое благоволеніе, поощрять его выразительными взглядами и улыбками, но съ большой разсчетливостью.

Были они разъ на одномъ вечерѣ съ танцами. Муза Валентиновна любила танцовать и танцовала прекрасно. Поль сдѣлалъ съ нею нѣсколько туровъ вальса и, послѣ того, сѣвъ возлѣ нея, по привычкѣ салоннаго кавалера, завелъ приличный случаю разговоръ.

— Ахъ, кузина,—сказалъ онъ ей, между прочимъ,—вы такъ чудесно танцуете, что когда съ вами вальсируешь, то кажется, будто обхватываешь рукою какую-то дивную, воздушную сильфиду, съ которой, вотъ-вотъ, сейчасъ улетишь на небо... И представьте, какъ-бы это было прелестно, если-бы мы съ вами, закружившись такимъ манеромъ въ вальсѣ, въ самомъ дѣлѣ улетѣли въ седьмое небо!

— Наконецъ-то, начинается!—подавляя вздохъ ра-

достнаго счастья, подумала Муза Валентиновна, въ полной увѣренности, что Поль дѣлаетъ ей декларацію и мечты ея осуществляются.

Въ этомъ тонѣ Поль говорилъ съ нею нѣсколько минутъ, а потомъ на весь вечеръ забылъ о ней; но молодая дѣвушка была убѣждена, что только страхъ отказа съ ея стороны остановилъ его сказать ей рѣшительное, послѣднее слово. Теперь она положила себѣ завтра-же откровенно признаться во всемъ крестной maman и сказать ей, что она согласна отдать свою руку Полю, если maman, съ своей стороны, ничего противъ этого не имѣетъ...

Послѣ вечера Муза Валентиновна заспалась и проснулась на другой день очень поздно. Одѣвшись, она пошла къ крестной и тутъ услышала совершенно ошеломившую ее, поразительную новость.

— Поль просилъ передать тебѣ поклонъ: онъ сегодня уѣхалъ!—сказала ей крестная, поздоровавшись съ нею.

— Какъ уѣхалъ! куда уѣхалъ? — изумилась Муза Валентиновна.

— Уѣхалъ онъ въ Москву — жениться... Развѣ ты этого не знала? Онъ здѣсь познакомился съ одной прелестной москвичкой изъ очень хорошаго дома, посватался за нее, получилъ согласіе, а теперь поскакалъ играть свадьбу... Сегодня я его и благословила!

Если-бы надъ головою Музы Валентиновны обрушился потолокъ, если-бы ей нанесли смертельную рану, она не была-бы болѣе поражена и потрясена, какъ послѣ этого извѣстія. Какъ снопъ, повалилась она къ ногамъ крестной матери, вся помертвѣвъ отъ неожи-

даннаго удара... Крестная встревожилась и когда бѣдную дѣвушку привели въ себя, для нихъ обѣихъ не было надобности въ объясненіяхъ, чтобы привести въ извѣстность причины происшедшей катастрофы.

— Ахъ, ты, моя несчастная, ну, что такое тебѣ попритчилось? — ласково спросила Музу крестная потомъ, когда та уже успокоилась.

Муза Валентиновна разрыдалась.

— Это ужасно, ужасно!—залепетала она.—Поль въ меня влюбленъ; онъ еще вчера сказалъ мнѣ это, сдѣлалъ мнѣ декларацію и, вдругъ, сегодня эта неожиданность... Это невозможно! Тутъ какая-нибудь интрига...

Потребовалось форменное и категорическое объясненіе со стороны Поля, что онъ никогда не былъ влюбленъ въ милую кузину и никогда въ помыслѣ не имѣлъ дѣлать ей какое-нибудь въ этомъ смыслѣ предложеніе. Разувѣрить Музу Валентиновну было, однако-жь, очень трудно, и она долго самымъ искреннимъ образомъ считала себя жертвой злой интриги, въ устройствѣ которой она подозрѣвала крестную maman, воспротивившуюся, будто-бы, изъ личныхъ видовъ счастливому союзу двухъ взаимно влюбленныхъ сердецъ—ея и Поля.

---

## V.

Какъ ни жестоко, повидомому, была обманута Муза Валентиновна въ своемъ романическомъ вожделѣніи относительно m—sieur Поля, тѣмъ не менѣе, сердеч-

ная катастрофа эта очень мало ее потрясла и ровно ничему не научила.

Вообще, меня всегда удивляла чрезвычайная, какая-то ртутная подвижность душевнаго настроенія моей героини, если только оно не было у нея затянуто въ узкій корсетъ bon ton'a. Грусть и радость, болтливая сообщительность и томная меланхолія, смѣхъ и слезы—все это, въ большинствѣ случаевъ, внезапное и безпричинное, быстро смѣнялось въ ней и перемѣшивалось по движенію какого-то ребяческаго каприза.

Такъ какъ подобная душевная вертлявость, проявляемая въ наивно-граціозныхъ формахъ, многимъ изъ насъ нравится въ барышняхъ (пока онѣ не дѣлаются нашими женами), какъ признакъ, якобы, милой открытости и юношеской живости нрава, то, знавшая объ этомъ, Муза Валентиновна не старалась сдерживать свою экспансивность и подчинять ее логикѣ, но, напротивъ, иногда нарочно, изъ кокетства, преувеличивала рефлективную непринужденность и скоропостижность своихъ внутреннихъ движеній — такихъ, конечно, которыя могли казаться плѣнительными, очаровательными.

Иначе она и не была-бы, впрочемъ, «кисейной барышней», типичная особенность которой заключается въ этой, именно, лирической растрепанности чувствъ, въ этомъ вѣчномъ, неисправимомъ младенчествѣ мысли и характера, не дисциплинируемыхъ правильно воспитанными волей и разумомъ, а порабощенныхъ свѣтскими предразсудками и узкой формальной моралью, въ границахъ которыхъ, однако, оставляется полный просторъ



UNIVERSITY OF ILLINOIS
LIBRARY

для взбалмошнаго каприза и стихійныхъ влеченій темперамента.

Кромѣ этой счастливой отходчивости чувствъ, были еще два обстоятельства, благодаря которымъ Муза Валентиновна перенесла свою маленькую сердечную драму безъ особенныхъ страданій и довольно скоро успокоилась. Безъ сомнѣнія, увлеченіе ея m-sieur Полемъ было вполнѣ искреннее и горячее, но рядомъ съ этимъ, вслѣдствіе ея странной маніи, намъ уже извѣстной, въ ней пылала не менѣе горячая самолюбивая увѣренность, что Поль, съ своей стороны, былъ безъ памяти влюбленъ въ нее и продолжаетъ ее любить, не взирая на то, что женился на другой. Она измышляла или вспоминала изъ прочитанныхъ романовъ разныя фантастическія «стеченія обстоятельствъ» и всякія несообразности для объясненія и доказательства своей фиксіи на счетъ поведенія героя своего романа, и, наперекоръ обиднымъ фактамъ и всякимъ доводамъ, съ дѣтскимъ капризнымъ упрямствомъ, вѣрила, что его сердце ей «принадлежитъ», что ихъ счастью помѣшала какая - то адская интрига, отъ которой онъ страдаетъ также, какъ и она.

Нужно сказать, при этомъ, что слѣпое самообольщеніе молодой дѣвушки никто и не старался разсѣять, а крестная maman даже какъ будто поддерживала его въ ней, проницательно разглядѣвъ, что это ничто иное, какъ сентиментальная гимнастика вполнѣ бевреднаго пассивнаго характера и, къ тому-же, цѣлительно дѣйствовавшая на сердечную рану и самолюбіе крестницы. Вообще, старуха не только не гнѣвалась на Музу за ея легкомысленный романъ съ Полемъ, но стала боль-

ше прежняго къ ней внимательна и ласкова, даже сдѣлалась, отчасти, повѣренной ея сердечныхъ тайнъ. По материнскому эгоизму, она была польщена тѣмъ, что въ ея сына влюбляются...

Дѣйствительно, указанное самообольщеніе вліяло на Музу Валентиновну цѣлительно:—оно поддерживало въ ней вѣру въ себя и въ свои прелести, ограждало ея женское щекотливое самолюбіе отъ жестокихъ уколовъ оскорбительныхъ для него фактовъ и заставляло смотрѣть впередъ безъ унынія.

Потомъ, какъ ни драматичны бываютъ романы у «кисейныхъ барышень», онѣ всегда находятъ въ самомъ ихъ процессѣ то, именно, чего имъ, главнымъ образомъ, не хватаетъ, то есть,—какое нибудь, все-же, содержаніе, какой-нибудь смыслъ своему пустому, безплодному и праздному существованію. Даже несчастливый романъ въ этомъ случаѣ долженъ рекомендоваться дѣвицамъ попреимуществу, ибо онъ всегда гораздо болѣе счастливаго даетъ содержанія, глубже и сильнѣе захватываетъ своимъ интересомъ, а, при счастьи, можетъ случиться, что чему нибудь и научитъ дѣвицу мало-мальски разсудительную. Разумѣется, жизненный матеріалъ этотъ не болѣе, какъ суррогатъ настоящей жизни, и воспитательное значеніе его весьма сомнительно; но, какъ-бы тамъ ни было, механически заполняетъ онъ пустоту женскаго существованія основательно и для скучающей въ бездѣйствіи, достаточно впечатлительной дѣвицы можетъ сослужить службу неоцѣнимой находки, хотя-бы, просто, какъ гимнастическаго упражненія для ума и сердца. Да собственно таковъ, по существу, матеріалъ въ боль-

шей части писанныхъ романовъ даже наиболѣе «любимыхъ» авторовъ, которыми наши барышни съ такой жадностью зачитываются...

---

## VI.

Такою-же богатой находкой послужилъ и для Музы Валентиновны ея несчастливый романъ съ Полемъ. Какое острое наслажденіе доставляло ей уже одно сознаніе, что у нея завелись свои *тайны* романическаго свойства! Хотя «тайны» эти были очень спорныя и прозрачныя, но Муза долго, скрѣпя сердце, старалась хранить ихъ про себя, безраздѣльно. «Тайнъ» накопилось у нея въ теченіе романа множество.

*Онъ* сегодня особенно выразительно взглянулъ на нее... «тайна»!

*Онъ*, прощаясь, крѣпко, пожалъ ея руку... «тайна»!

*Онъ* сказалъ ей, между прочимъ, что сегодня она очень мила и къ лицу одѣта... «тайна»!

*Онъ*, судя по всему, несомнѣнно влюбленъ въ нее... о, «тайна»! «тайна», которой никогда никто не узнаетъ!.. И т. д.

Когда коллекція радостныхъ «тайнъ» Музы Валентиновны неожиданно смѣнилась, вдругъ, цѣлымъ градомъ «тайнъ» печальныхъ, трагическихъ, она не въ силахъ была долѣе сдерживать въ себѣ ихъ страшное бремя. Была у нея, какъ у всякой дѣвицы, вѣрная, преданная, подруга—товарка по институту, одного съ нею выпуска, но болѣе счастливая въ дѣвической карье-

рѣ. Подруга уже нѣсколько лѣтъ была замужемъ, благодаря чему гораздо трезвѣе Музы смотрѣла на жизнь и значительно поохладѣла въ своей институтской съ нею дружбѣ.

Вскорѣ послѣ того, какъ Поль ускакалъ въ Москву жениться, Муза Валентиновна явилась къ подругѣ съ намѣреніемъ подѣлиться, наконецъ, съ нею своими ужасными «тайнами». Когда онѣ остались однѣ съ глазу на глазъ, Муза начала съ того, что, не говоря ни слова, внезапно разрыдалась, припавъ къ плечу подруги и судорожно ее обнявъ... Та стала, конечно, разспрашивать.

— О, если-бы ты знала, chére Annette, какъ я несчастна, какъ страшно несчастна! — тономъ мученицы взвизгнула Муза Валентиновна, не переставая плакать.

— Что-же такое?—освѣдомилась подруга, въ которой зашевелилось женское любопытство.

— О, это тайна, которой еще никто не знаетъ!

Потребовалась нѣкоторая дружеская настойчивость, чтобы Муза рѣшилась, наконецъ, довѣрить свою тайну.

— Но поклянись мнѣ, Annette, что ты ее никому не скажешь; поклянись, что все, что я тебѣ сообщу, умретъ между нами!—торжественно потребовала она.

Annette, съ улыбкой зрѣлой женщины, уступающей прихотливому, но вовсе не серьезному желанію ребенка, произнесла требуемую «клятву». На первый разъ «тайна» подруги ее заинтересовала, какъ интересуютъ молодыхъ женщинъ всякія любовныя исторійки; но вскорѣ, когда Муза, разъ довѣрившись ей, эгоистически обратила ее, такъ сказать, въ наковальню для сенти-

ментальной обработки своего раненаго сердца, бѣдная Annette не знала, какъ отъ нея избавиться. Муза пріѣзжала къ ней очень часто, ловила ее наединѣ и—сеансъ «любви несчастной» начинался! Слезы лились ручьемъ, за ними слѣдовалъ истерическій припадокъ въ финалѣ «раздирательной» сцены, въ теченіе которой исторгались изъ глубины сердца безсчетныя жалобы, упреки и краснорѣчивыя выраженія пламеннѣйшаго чувства. Annette на первыхъ порахъ старалась утѣшить и успокоить злополучную подругу, но потомъ это ей наскучило, и когда Муза начинала свои сердечныя ламентаціи, она брала какое-нибудь шитье и, ковыряя иголкой, терпѣливо и молча ждала, пока обычный сеансъ мелодраматизма самъ собою благополучно окончится. Но это-то равнодушіе и было всего ужаснѣе для Музы Валентиновны.

— Ты меня совсѣмъ не жалѣешь... Бѣдная я!—жаловалась она съ томностью, въ которой, однако-же, ощущалась раздражительная досада на безчувственность подруги.

— Я очень люблю Annette, но она—ужасная эгоистка!—характеризовала она послѣ описанныхъ опытовъ свою подругу.

Муза Валентиновна вовсе не замѣчала того, что въ данномъ случаѣ она сама являлась безпощадной эгоисткой. Роль героини несчастливаго романа пришлась ей какъ нельзя болѣе по вкусу, и она вполнѣ ее обсмаковала, если можно такъ выразиться. Богъ вѣсть, доставила-ли бы ей болѣе острое, раздражительное наслажденіе счастливая развязка ея романа? Вѣдь, въ существѣ дѣла и по

всему своему душевному складу, она могла полюбить не живаго человѣка, каковъ онъ есть, а его мечтательный призракъ, его иллюзію, созданную ея искривленнымъ, болѣзненнымъ воображеніемъ. Эта черта въ дѣвушкахъ именуется иногда съ похвалою идеализмомъ, но — избави Богъ даже врага отъ союза съ такими идеальными барышнями!

Не взирая на свои слезы и жестокія терзанія, Муза Валентиновна, на самомъ дѣлѣ, была очень счастлива своимъ несчастливымъ романомъ, потому что онъ одухотворилъ ее, далъ ея тосковавшей въ пустомъ пространствѣ душѣ какой ни на есть идеалъ, какую-нибудь опорную точку для самыхъ этихъ слезъ, для меланхолическихъ вздоховъ и ламентацій... Никто еще не извѣдалъ, что дороже и необходимѣе для женщины — сладость-ли безмятежнаго счастья, или блаженство горючихъ слезъ, причиненныхъ смертельной обидой, а то и совсѣмъ безпричинныхъ?

Но въ томъ и другомъ случаѣ, какъ въ счастьи, такъ и въ горѣ, женщина никогда не можетъ примириться съ одиночествомъ,—ей необходимъ другъ, наперстница, которые дѣлили-бы ея душевное настроеніе и сочувственно признавали-бы его законность, если не благоговѣли-бы предъ его глубиной и силой.

---

## «Человѣкъ» Иванъ.

### I.

Время, однако, дѣлало свое дѣло: исцѣляло сердечныя раны, разсѣевало созданные пылкимъ воображеніемъ призраки, охлаждало слишкомъ распаленныя чувства или направляло ихъ неудовлетворенный пылъ въ другую сторону, на иные сюжеты.

Поль, послѣ женитьбы, не являлся въ Петербургъ и, спустя года полтора по его отъѣздѣ, Муза Валентиновна могла считаться вполнѣ исцѣленной отъ несчастной любви къ нему, тѣмъ болѣе, что въ это время у нея завелся уже другой «предметъ», хотя весьма экстравагантный.

Нужно замѣтить, что Муза Валентиновна, какъ истая «кисейная барышня», въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ всегда подчинялась моменту или чужому внушенію. Опытные, развращенные мужчины знали, что эту неприступную, такую, казалось, строго-цѣломудренную весталку можно взять въ одинъ сеансъ, не давъ ей даже опомниться... Это зналъ очень хорошо и m-sieur Поль, и нужно приписать его порядочности, что онъ не воспользовался напрашивавшейся на его плотоядность жертвой.

Однажды Annette, пріѣхавшая къ подругѣ обѣдать, послѣ стола мелькомъ сболтнула Музѣ Валентиновнѣ:

— Послушай, ma chére, какой у васъ красивый *человѣкъ* служитъ!

Это было сказано съ эротической вольностью замужней женщины, навыкшей цѣнить «статьи» въ мужчинѣ безъ дурнаго умысла. Она любитъ и знаетъ только мужа, но отчего-же ей не обратить вниманіе на выдающихся красотою и энергіей стороннихъ мужчинъ, отчего не прицѣлиться на нихъ внутреннимъ, тайнымъ вожделѣніемъ, хотя-бы ради щекотливаго сравненія — въ какой степени мужъ могъ-бы выдержать съ ними сравненіе по отвѣтственнымъ статьямъ?.. Если вы, читатель, женаты — счастливы вы, коль скоро ваша супруга не дѣлаетъ такихъ, опасныхъ для васъ, обсервацій и сравненій... Что утѣшенія въ ея вѣрности, если вся цѣна послѣдней въ «неоказательствѣ» удобнаго случая для измѣны?

«Человѣкъ», обратившій на себя лестное и компетентное вниманіе madame Annette, былъ, дѣйствительно, парень хоть куда. Грудь колесомъ, уснащенная соотвѣтствующей мускулистости оконечностями, гладко выбритое широкое лицо такого яркаго колорита, что, казалось, отъ малѣйшаго укола булавки изъ него брызнетъ ручьемъ алая кровь, большіе черные, съ поволокой, маслянистые глаза, подъ густыми, цвѣта вороньяго крыла, бровями, въ общемъ—выраженіе лакейской наглости, которую ничѣмъ смутить невозможно.

До замѣчанія подруги, Муза Валентиновна не обращала ровно никакого вниманія на Ивана, какъ, обыкновенно, не обращается нами всѣми вниманіе на личности прислуги. Но, когда Annette назвала его «красивымъ человѣкомъ», Муза Валентиновна, привыкшая подчиняться чужой волѣ, невольно стала слѣдить за

презрѣннымъ Иваномъ и, въ концѣ-концовъ, нашла его очаровательнымъ.

Съ этого момента начинается ея второй уже, дѣйствительно, жестокій романъ.

---

## II.

Стояло лѣто.

Неразлучная съ своей крестной матерью, Муза Валентиновна жила съ нею на дачѣ въ одной изъ окрестностей Петербурга. Новый романъ съ экстравагантнымъ героемъ, въ лицѣ «красиваго человѣка», носившаго вульгарное имя Ивана, подвигался очень медленно съ внѣшней стороны, благодаря своей чрезвычайности. Муза была сдержанна болѣе, чѣмъ когда нибудь, и болѣе, чѣмъ когда нибудь боялась своей любви и долго сама передъ собою въ ней не сознавалась. Это были сладкіе, неопредѣленные сны и грезы, въ фантастическомъ туманѣ которыхъ образы и отношенія облекались въ идеально романическія формы, облагороживались и утончались до эфирности, не пачкаясь грязью дѣйствительности.

Такова, обыкновенно, была канва всѣхъ романовъ нашей героини, и дѣйствительныхъ, которыхъ съ нею случалось такъ немного, и мнимыхъ, ею самой сочиненныхъ, которымъ у нея не было счета. Еще съ институтской скамейки воображеніе ея неустанно работало въ эту сторону и, съ лѣтами, пріобрѣло особенную гибкость, изобрѣтательность и плодовитость, такъ что въ его напряженномъ функціонированіи и заключалась, соб-

ственно, вся внутренняя духовная жизнь дѣвушки. Но изъ всѣхъ прежнихъ ея воображаемыхъ, фантастическихъ романовъ ни одинъ не имѣлъ еще такого яркаго фона, такого, если можно выразиться, аромата реальности, дававшей плоть и кровь создаваемымъ признакамъ и мечтаніямъ, какъ настоящій, нами описываемый.

Дѣло въ томъ, что сюжетъ его былъ очень близокъ и постоянно на глазахъ; но, при всемъ томъ, Муза Валентиновна очень долго не имѣла ни мысли, ни желанія сойти съ облаковъ своего мечтательнаго романа для дѣйствительнаго сближенія съ самимъ сюжетомъ, хотя-бы изъ одного любопытства. Какъ барышня, воспитанная въ сословно-дворянскихъ понятіяхъ, гордая своей привиллегированностью, она, и по принципу и по привычкѣ, не допускала короткости съ прислугой, вообще, и считала ее неприличной; возможность-же влюбиться въ лакея дѣвушкѣ ея положенія не приходила даже и въ голову, какъ вещь совершенно немыслимая, нелѣпая и чудовищная, и когда она слышала, что это иногда случается даже и съ великосвѣтскими дамами,—ей казалось это просто невѣроятнымъ.

И, однакожъ, «человѣкъ» Иванъ ей положительно нравился; она все чаще и чаще засматривалась на него и задумывалась о немъ, а если не о немъ, то по его поводу.

Никакого противорѣчія между разсудкомъ и сердцемъ и никакой борьбы Муза Валентиновна не испытывала, потому, во-первыхъ, что она очень рѣдко контролировала свою внутреннюю жизнь по совѣту мудреца «познай себя», а, во-вторыхъ, увлеченіе ея, на самомъ дѣлѣ,

было только по поводу Ивана, а вовсе не имѣло предметомъ его самого. Его образъ служилъ только матеріаломъ для ея романическаго творчества, подобно глинѣ, служащей скульптору для воплощенія его художественныхъ созданій, и какъ глина, превращенная въ статую, утрачиваетъ до неузнаваемости свой естественный внѣшній видъ, такъ и вульгарный Иванъ, ничего, впрочемъ, неподозрѣвавшій, чудеснымъ образомъ пересоздался въ пылкомъ воображеніи Музы Валентиновны въ какого-то писаннаго, идеальнаго и благороднаго рыцаря безукоризненнаго происхожденія и высокаго воспитанія. Въ этой идеализированной метаморфозѣ, дѣлавшей его достойнымъ благосклоннаго вниманія Музы, онъ даже и Иваномъ ужъ не назывался, а перекрещенъ былъ, почему-то, въ Serge'a, и, конечно, по-французски.

При иныхъ условіяхъ, этотъ мечтательный романъ, порожденный неудовлетворенной, ненасытной жаждой дѣвическаго зрѣлаго сердца любить, кончился-бы также безплодно и безслѣдно, но за то и вполнѣ благополучно, какъ кончались многіе и многіе однородные романы нашей героини. Но тутъ примѣшалось такое важное, глубоко интригующее обстоятельство, что рано или поздно въ безмятежный міръ поэтическихъ иллюзій должны были вторгнуться грубые запросы крови и темперамента. Объектъ романическаго томленія Музы Валентиновны былъ постоянно у нея на глазахъ, жилъ съ нею подъ одною кровлей, и, какъ ни высоко парилъ надъ нимъ созданный ею идеалъ его, тѣмъ не менѣе, ея сердцемъ овладѣвало минутами неотразимое, инстинктивное желаніе испытать ужасъ и смертельный стыдъ на себѣ ре-

альныхъ объятій и поцѣлуевъ этого презрѣннаго «хама». А тутъ полное почти одиночество, скука и постылая монотонная, безсодержательная жизнь съ больной старухой, сиротливость сердца ни разу не согрѣтаго взаимно-раздѣленной, горячей страстью,—какъ не поддаться искушенію, какъ не забыться хоть на мигъ!

---

## III.

Какъ-то разъ, прекраснымъ утромъ, Муза Валентиновна сидѣла на террасѣ, выходившей въ садъ, и читала. У нея было тутъ любимое мѣстечко, между живой изъ плюща стѣной терассы и трельяжемъ, установленнымъ цвѣтами. Выходило нѣчто похожее на бесѣдку, и Муза проводила здѣсь цѣлые часы въ лѣнивомъ бездѣльи, полулежа на плетеномъ качающемся креслѣ, которое точно нарочно изобрѣтено для мечтательнаго far niente. Дѣвушка сидѣла здѣсь большею частью одна, такъ какъ ея крестная maman, по нездоровью и по старушечьей привычкѣ, боялась открытаго воздуха и большую часть дня проводила въ комнатѣ.

Въ описываемое «однажды» Муза Валентиновна, по обыкновенію, сидѣла одна въ своемъ креслѣ и, мѣрно покачиваясь на немъ, то предавалась своимъ грезамъ, то брала книгу и читала. Какъ многія барышни въ ея положеніи, она читала очень много, но читала исключительно одни романы. О процессѣ и результатахъ чтенія «кисейныхъ барышень» стоило-бы поговорить особо—предметъ очень интересный, но здѣсь распростра-

няться о немъ не мѣсто. На этотъ разъ Музѣ Валентиновнѣ попался чрезвычайно любопытный, поглотившій все ея вниманіе романъ Эженя Сю: «Мартынъ-найденышъ». Но тутъ случилось обстоятельство, которое заинтересовало ее еще болѣе, чѣмъ романъ.

Обыкновенно, въ хорошую, тихую и теплую погоду maman дѣлала уступку дачному сезону и приказывала накрывать столъ для завтрака и обѣда на террасѣ подъ маркизой. Такую уступку она сдѣлала и въ описываемый день.

И вотъ, въ томъ пунктѣ романа, гдѣ Мартынъ, служившій лакеемъ въ одномъ аристократическомъ домѣ и безнадежно влюбившійся безъ памяти въ свою барыню, свѣтскую даму, узнаетъ, вдругъ, что онъ—законорожденный сынъ графа, Муза Валентиновна услышала, что на террасѣ кто-то возится. Она опустила книгу на колѣни, повернула голову и увидѣла, сквозь зелень цвѣтовъ на трельяжѣ, Ивана, собирающагося сервировать столъ для завтрака.

Какъ ни заинтересовалъ Музу Валентиновну Мартынъ-найденышъ, но «человѣкъ» Иванъ на этотъ разъ взялъ верхъ и безраздѣльно овладѣлъ ея вниманіемъ. Она стала слѣдить за каждымъ его шагомъ, за каждымъ движеніемъ, и тѣмъ внимательнѣе и непринужденнѣе, что самъ Иванъ не видѣлъ ея и и не подозрѣвалъ ея присутствія.

Уже не разъ и прежде Муза Валентиновна ловила себя на такой малодушной слабости къ презрѣнному «холопу» и каждый разъ внутренно себя взнуздывала и карала, съ ригоризмомъ гордой принцессы, поймавшей

себя на унизительномъ и постыдномъ для нея, нѣсколько преувеличенномъ, вниманіи къ «рабу». Но въ настоящемъ случаѣ лежавшій на ея колѣняхъ романъ занимательнаго Эженя Сю какъ-бы оправдывалъ ея интересъ къ Ивану, открывая и узаконивая возможность такого романическаго «сцѣпленія обстоятельствъ», благодаря которому и лакей можетъ оказаться желаннымъ, достойнымъ любви, благороднымъ героемъ.

Иванъ, съ навыкшей ловкостью слуги, установлялъ столъ, накрывалъ его скатертью, лязгая тарелками и ножами, размѣщалъ приборы, искуссно свертывалъ въ пакеты салфетки... Муза Валентиновна, не спуская съ него глазъ, слѣдила за каждымъ его движеніемъ и — теперь каждое изъ нихъ казалось ей исполненнымъ достоинства и граціи.

Руки его, правда, нѣсколько грубы и красны, но онѣ безукоризненно чисты, съ опрятно подстриженными на пальцахъ ногтями, и въ нихъ чувствуется желѣзная сила. И одѣтъ онъ безукоризненно со стороны чистоплотности. Бѣлоснѣжная, туго-накрахмаленная, коленкоровая рубаха не испорчена ни однимъ пятнышкомъ, ни одной морщинкой; ея воротнички, точно мраморные, врѣзываются въ его подбородокъ и шею. И какая у него шея! Мускулистая, широкая, густо обросшая по затылку низко выстриженными черными волосами, — шея атлета или центавра. Когда онъ, возясь около стола, оборачивался къ Музѣ Валентиновнѣ затылкомъ, она чувствовала, какъ у нея невольно захватываетъ дыханіе и по всему тѣлу разливается нѣга, при видѣ этого крѣпкаго, дышащаго здоровьемъ, кровянистокраснаго,

обросшаго волосами, мяса... Ей хотѣлось въ эти мгновенья ущипнуть и укусить этотъ бычій затылокъ. Даже лицо Ивана, которое, обыкновенно, нѣсколько отталкивало Музу Валентиновну своей пошловатостью и слишкомъ кровянистымъ колоритомъ, на этотъ разъ показалось ей благороднымъ. Черты его были правильны и мужественны; носъ безупречно прямой, безъ пухлости и малѣйшей вздернутости; глаза... глаза его всегда производили на Музу неотразимо чарующее впечатлѣніе своей красотой и выразительностью.

— Въ немъ положительно ничего нѣтъ мужичьяго! — заключила окончательно Муза Валентиновна, когда Иванъ, ставя судки на столъ, уронилъ крышку съ горчичницы, и, съ такой ловкой граціей, съ такой милой, простодушной усмѣшкой надъ своей оплошностью поднялъ ее, что съ большимъ изяществомъ, по мнѣнію Музы, не могъ-бы исполнить этого самый изысканный испанскій грандъ.

Возможность обрѣсть своего Мартына-найденыша, скрывающаго свое графское достоинство и свою графскую родовитость подъ лакейской ливреей, до такой степени обольстила мечтательную барышню, что это сдѣлалось ея fixe-idée. Съ этой минуты идеальный Serge ея романа сталъ неощутительно все болѣе и болѣе отождествляться съ реальнымъ Иваномъ.

---

## IV.

— Скажите, пожалуйста, Иванъ, у васъ есть родословная?—спросила какъ-то, послѣ долгихъ колебаній, съ институтской наивностью, Муза Валентиновна «человѣка» Ивана въ ту минуту, когда, за отсутствіемъ maman, онъ служилъ въ столовой ей одной, такъ что они очутились глазъ на глазъ.

— Родословная-съ... Это что-жъ такое-съ?—съ глуповатымъ недоумѣніемъ спросилъ Иванъ, оскаливъ изъ учтивости свои крупные, бѣлые зубы.

— Я хотѣла спросить, какого вы происхожденія?—пояснила свой вопросъ Муза.

Иванъ еще больше оскалилъ зубы и физіономія его стала еще глупѣе.

— Ну, словомъ, кто ваши родители?—уже съ нѣкоторымъ разочарованіемъ добавила молодая дѣвушка.

— Не могу знать-съ!—не переставая улыбаться, но уже съ увѣренностью отвѣтилъ Иванъ.

Муза Валентиновна была совсѣмъ поражена.

— Какъ! — воскликнула она.—Вы не знаете, кто ваши родители?

— Точно такъ-съ, потому, какъ я, значитъ, изъ шпитонцевъ...

— Какихъ шпитонцевъ?

— А которые изъ воспитательнаго дома — найденыши...

— Вы—найденышъ?!—чуть не вскрикнула Муза.

Первая половина ея мечтательнаго предположенія дивнымъ образомъ осуществлялась.

— Да-съ, и по тому самому, кто мой папаша и кто моя мамаша—мнѣ о сю пору неизвѣстно-съ...

— И вы ихъ не розыскивали?

— Да какъ-же ихъ розыскать?

— Но вы знаете, какія въ вашемъ положеніи бываютъ случайности... Вотъ во Франціи, въ Парижѣ, тоже былъ одинъ найденышъ и тоже въ лакеяхъ служилъ, а вдругъ потомъ оказалось, что онъ графъ и большое наслѣдство получилъ.

— Вишь ты!—удивился Иванъ.

— Вы не думаете, чтобы съ вами нѣчто подобное могло случиться?

— Гдѣ намъ?—Помилуйте!.. Въ графы... хе-хе хе... Этакъ ништо-бы... Кому не пріятно? Только куда ужъ намъ?.. Ха-ха-ха...

Ивана очень позабавила фантастическая и несбыточная возможность превращенія его изъ лакеевъ въ графы, что и послужило ему матеріаломъ для остроумныхъ, юмористическихъ бесѣдъ на кухнѣ.

— Ты меня какъ воображаешь: по твоему понятію, я Иванъ, лакей, а, можетъ, я графъ—ваше сіятельство? Вотъ ты и раскуси!

Эту шутливо-надменную фразу Муза Валентиновна случайно услышала изъ устъ Ивана вечеромъ того-же дня. Ей понадобилась ея горничная, Стеша, и она прошла къ ней; но едва взялась за ручку двери въ комнату Стеши, какъ услышала изнутри ея голосъ Ивана. Иванъ произносилъ вышеприведенную фразу. Муза Валентиновна вздрогнула и рука ея застыла на замочной ручкѣ. Не отдавая себѣ отчета, что она дѣлаетъ, она

остановилась у дверей, затаила дыханіе и приникла ухомъ.

Иванъ болталъ со Стешей, съ галантерейностью навыкшаго въ побѣдамъ въ кухняхъ и на черныхъ лѣстницахъ, фанфарона-лакея. Стеша отшучивалась и не стѣснялась въ выраженіяхъ дѣвической «жестокости» и пренебреженія къ любезностямъ назойливаго кавалера, но было видно, что вниманіе интереснаго Ивана ей пріятно. Они одушевленно болтали и смѣялись, причемъ Стеша притворно гнала его вонъ и стращала «барышней».

— Какъ вамъ угодно, Степанида Петровна, а только безъ пошлины мнѣ уйти невозможно: — пожалуйте поцѣлуй! — возражалъ Иванъ и слышно было, по вознѣ, какъ онъ лѣзъ за полученіемъ «пошлины».

Стеша энергически отбивалась и вдругъ безсильно, какъ побѣжденная, взвизгнула... Муза Валентиновна, съ искаженнымъ лицомъ и не помня себя отъ острой сердечной боли, какъ еслибы сквозь всю грудь ея прошла колючая, раскаленная игла, бросилась бѣжать. Вбѣжавъ въ свою комнату, она опомнилась и старалась успокоиться, но, вспомнивъ этотъ счастливый, сладострастный визгъ Стеши и глухіе звуки бѣшеннаго поцѣлуя, она почувствовала жгучую, гнѣвную потребность убить ихъ, растерзать, опозорить. Конечно, ничего такого она сдѣлать не могла и, потому, кончила классически, по бабьи — разрыдалась и въ слезахъ обрѣла и противоядіе своей безсильной злобѣ и успокоеніе.

Муза Валентиновна, однако-же, вовсе не отдавала отчета въ своихъ ощущеніяхъ и не знала, что, именно,

съ нею дѣлается. Ощущенія эти были для нея совершенно новы. Она доселѣ не испытывала адскихъ мукъ ревности и, теперь, когда онѣ внезапно захватили ея сердце, она не знала, какъ ихъ назвать и объяснить, и отождествила ихъ съ негодующимъ порывомъ оскорбленнаго, якобы, нравственнаго чувства.

---

## V.

Когда нѣсколько позднѣе Стеша явилась раздѣть свою барышню и приготовить ея ночной туалетъ, Муза Валентиновна едва удержалась, чтобы не раскричаться и не вытолкать вонъ свою горничную. Она казалась ей теперь замаранной, негодной и преступной. Какъ-же она смѣетъ эта презрѣнная, безстыдная тварь быть съ нею въ одной комнатѣ, дышать съ нею однимъ и тѣмъ-же воздухомъ, служить ей, прикасаться къ ней своими нечистыми руками?!

Стеша, между тѣмъ, съ обычнымъ проворствомъ исполняла свое дѣло. Вотъ она усадила свою барышню передъ туалетнымъ зеркаломъ и ловкими руками принялась расплетать ея жидкія косы. Муза Валентиновна терпѣливо отдала себя въ распоряженіе своей горничной; но, когда она увидѣла въ зеркалѣ, рядомъ со своимъ поблеклымъ, блѣднымъ, заплаканнымъ и некрасивымъ лицомъ, молодое, румяное, востроглазое личико Стеши, съ небрежно раскинувшимися на лбу русыми, густыми кудрями, когда она увидѣла, какъ оживленно

и безстыдно счастливо это хорошенькое личико, долѣе владѣть собой она не могла.

— Стеша, подите прочь... Я васъ не могу видѣть!—нервно воскликнула Муза Валентиновна, нетерпѣливо-брюзгливымъ движеніемъ освободивъ свою голову изъ рукъ своей горничной и вставъ со стула.

Стеша, никогда не слышавшая такого тона отъ своей барышни, совсѣмъ оторопѣла и съ минуту неподвижно, во всѣ глаза смотрѣла на нее съ простодушно разинутымъ ротикомъ.

— Барышня, голубушка, чѣмъ-же я васъ прогнѣвила?—спросила она, наконецъ, съ непритворнымъ изумленіемъ.

— Вы—дурная дѣвушка, Стеша,—строго отвѣтила Муза Валентиновна. — До сихъ поръ я васъ считала хорошей, нравственной и любила, но теперь вижу, что ошиблась въ васъ...

— Барышня, ей-Богу, я ни въ чемъ не виновата!—взмолилась Стеша и пораженная, съ одной стороны, неожиданной опалой барышни, а, съ другой, желая воочію доказать свою невинность, горько отъ всего сердца расплакалась.

Слезы нѣсколько смягчили Музу Валентиновну, настолько, что она снизошла до объясненій со своей горничной, готова была выслушать ея оправданіе и тѣмъ охотнѣе, что внутренно, въ эту минуту, она ничего такъ не хотѣла, какъ убѣдиться въ ошибочности своихъ подозрѣній.

Стеша была мастерица оправдываться и, къ тому-

же, на самомъ дѣлѣ большой вины съ ея стороны въ настоящемъ случаѣ не было.

— Что-же мнѣ дѣлать, барышня, когда *онъ* ко мнѣ цѣпляется?—наивно возразила она на прямо и категорически поставленное обвиненіе относительно ея отношеній съ Иваномъ.

— Но, значитъ, вы даете ему къ тому поводъ, вы съ нимъ кокетничаете, а это-то и нехорошо для дѣвушки!—страстно оппонировала Муза.

— Ну, вотъ-же ни крошки, хоть побожиться! Вы, барышня, не знаете этихъ лодырей... Тутъ, будь хоть святая, они нашей сестрѣ проходу не дадутъ!

— Вы хитрите, Стеша:—вы влюблены въ Ивана и онъ васъ любитъ?

— Влюблена?.. Да что я—полоумная, что-ли?.. Вотъ невидаль! Да этакъ, если во всякаго хохаля влюбляться—никакого сердца не хватитъ.

Въ концѣ-концовъ Муза Валентиновна примирилась съ своей горничной. Она увѣрилась въ томъ, что между Стешей и Иваномъ, кромѣ шалостей и шутокъ, ничего не было, что Стеша очень дорожитъ своей независимостью и что сердце ея до сихъ поръ совершенно свободно.

Простодушная и искренняя Стеша не догадывалась, что въ данномъ случаѣ ей приходилось оправдываться не передъ госпожей, строгой къ нравственному поведенію своей служанки, а передъ ревнивой соперницей по обладанію сердцемъ презрѣннаго лакея.

---

## VI.

«Человѣкъ» Иванъ долго не подозрѣвалъ, какое неотразимое, побѣдоносное впечатлѣніе производитъ онъ на Музу Валентиновну и въ какой степени ея расположеніе къ нему перешло границы обычной благосклонности добрыхъ «господъ» къ расторопнымъ слугамъ.

Несмотря на всю свою лакейскую наглость и испорченность, Иванъ зналъ свое мѣсто. Ему и въ голову не могла придти сумасбродная, дерзкая мысль, чтобы онъ, «холопъ», сдѣлался вдругъ предметомъ нѣжной страсти благородной, деликатной барышни и героемъ ея романа. Это просто превышало его сообразительность и сметливость, острыя и проницательныя лишь въ кругу лакейскихъ интересовъ и мелкаго лакейскаго плутовства, но безсильныя проникнуть въ сложную психологію «господъ» въ тѣхъ ея пунктахъ, съ которыми онъ не имѣлъ непосредственнаго столкновенія.

Иванъ былъ эмпирикъ и судилъ только о томъ, что его близко касалось и въ чемъ онъ имѣлъ опытъ. По обыкновенію прислуги, онъ часто насквозь зналъ своего барина или барыню, съ ихъ чадами, со стороны личныхъ слабостей ихъ, страстей и привычекъ, и очень ловко иногда ими пользовался, но ихъ внутренняя духовная жизнь высшаго рефлективнаго порядка была недоступна его разумѣнію, да и нисколько его не интересовала. Въ данномъ-же случаѣ ему было не въ домекъ о тайномъ сердечномъ влеченіи къ нему Музы Валентиновны еще и потому, что онъ до сихъ поръ,

ни на себѣ, лично, ни на товарищахъ не зналъ такого чрезвычайнаго примѣра, чтобы барышни влюблялись въ своихъ лакеевъ.

Такого скандалезнаго примѣра не знала и не допускала, даже въ возможности, и Муза Валентиновна какъ мы знаемъ, и потому долго не отдавала себѣ отчета въ качествахъ своего отношенія къ Ивану.

Потомъ, когда эта страсть, заостряясь, слишкомъ ужъ явно давала ей о себѣ знать, она, по свойству слабыхъ натуръ, боясь признаться самой себѣ въ своемъ чувствѣ и не будучи въ состояніи бороться съ нимъ, просто избѣгала всякаго анализа и суда надъ собой, пассивно, не задумываясь, шла по теченію овладѣвшаго ея сердцемъ потока. Впрочемъ, она была увѣрена за себя въ этомъ случаѣ, что не сдѣлаетъ никакого роняющаго ея достоинство шага, да и не чувствовала къ тому никакого, сколько-нибудь сильнаго влеченія, вполнѣ довольствуясь сладкимъ чадомъ романическихъ иллюзій и мечтаній, въ родѣ фантастическаго предположенія, что въ одно прекрасное утро въ Иванѣ вдругъ, велѣніемъ благосклонной судьбы, окажется, подъ лакейской ливреей, какой-то высокородный Sérge, можетъ быть, даже графъ, и тогда она снизойдетъ къ нему и осчастливитъ его своей любовью.

Въ такомъ мечтательно-облагороженномъ преображеніи онъ только и могъ сдѣлаться героемъ ея воображаемаго романа, предметомъ ея постоянныхъ страстныхъ грезъ, ея соблазнительныхъ сновъ, отъ которыхъ она иногда среди ночи просыпалась, вся взволнованная, съ потрясеннымъ нѣгою сердцемъ, и, при-

никнувъ къ горячей подушкѣ и зажмуривъ глаза, возвращалась мысленно къ сейчасъ пережитымъ во снѣ нескромнымъ и грѣшнымъ, но такимъ счастливымъ опьяняющимъ пароксизмамъ горячо-раздѣленной любви, старалась возстановить и продлить это чарующее искушеніе и досадовала, если нить его обрывалась.

Муза Валентиновна могла отдаваться этой игрѣ сентиментальной мечтательности на эротической подкладкѣ, со всей жадностью зрѣлой дѣвушки, настроенной исключительно въ эту сторону и истосковавшейся въ долгомъ напрасномъ ожиданіи жениха, грядущаго на свѣтильникъ любви ея неугасаемо, горящаго сердца,—могла отдаваться совершенно для себя безопасно со стороны правилъ и требованій внѣшней морали.

Для грѣха на дѣлѣ она была слишкомъ холодна и благовоспитанна; притомъ-же ее никто и никогда серьезно не искушалъ. Въ ней, кромѣ того, былъ очень развитъ тотъ благородный инстинктъ женской стыдливости, который служитъ лучшимъ оружіемъ дѣвушки отъ ловеласовскихъ на нее покушеній, но который у Музы Валентиновны, какъ у многихъ, нѣсколько перезрѣлыхъ «дѣвъ, боящихся любви», былъ доведенъ до преувеличенія, дѣлавшаго подозрительной ея наружную строгость. Особенно становилась она на видъ холодной, гордо неприступной, сдержанной и до крайности взыскательной къ такому мущинѣ, который ей начиналъ нравиться, т. е. былъ для нея опасенъ, какъ и слѣдъ тому быть по логикѣ женской любви.

Вслѣдствіе этихъ качествъ, Муза Валентиновна кончила бы вполнѣ благополучно во благовременіи свой

мечтательный романъ съ Иваномъ, не выказавъ ни ему и ни кому другому сокровенной и постыдной тайны своего сердца, еслибы, при этомъ, не имѣло мѣсто одно опасное обстоятельство, уже мною указанное ранѣе.

Обстоятельство это заключалось въ постоянномъ близкомъ обращеніи нашей героини съ предметомъ ея романическаго увлеченія. Какъ ни былъ далекъ дѣйствительный «человѣкъ» Иванъ отъ отождествлявшаго его идеальнаго Serge'а, но, при настоящихъ условіяхъ, рано или поздно реализмъ долженъ былъ вступить въ свои права, всегда въ такихъ случаяхъ побѣдоносно имъ завоевываемыя у самаго заоблачнаго идеализма грубой властью молодой крови и здороваго тѣла.

Нужно было только разбудить и поднять эту власть, какъ это и случилось внезапно съ Музой Валентиновной въ ту минуту, когда она, неожиданно для себя, воспламенилась чувствомъ ревности къ своей горничной, какъ къ соперницѣ, хотя и сама не сознавала этого.

---

## VII.

Оправданія Стеши передъ барышнею пропали даромъ. Несмотря на ихъ горячность и искренность, несмотря на то, что сама Муза Валентиновна съ перваго раза имъ повѣрила и хотѣла вѣрить, она не перестала подозрѣвать свою горничную въ любовной интимности съ Иваномъ и мучительно ревновала ее, ревновала съ тѣмъ большимъ ослѣпленіемъ, что боялась выдать себя,

стыдилась своего чувства и, поэтому, не могла прямо такъ или иначе разъяснить свои сомнѣнія.

Никогда прежде не испытавъ ревности, Муза отдавалась теперь беззавѣтно, съ малодушной покорностью, этому лютому, мрачному чувству, пронизывающему сердце неисходной колючей болью и кручиной, отъ которыхъ некуда дѣваться. Въ ея внутренней жизни началась новая, никогда еще неизвѣданная ею полоса думъ и ощущеній, совершенно ею овладѣвшихъ, непрерывно терзавшихъ ее и днемъ и ночью. Въ мозгу ея одно за другимъ возникали, по какому-нибудь ничтожному обстоятельству или намеку, мучительныя предположенія и подозрѣнія въ оправданіе ея ревности, создавались цѣлыя сцены предполагаемыхъ счастливыхъ встрѣчъ и любовныхъ отношеній соперницы съ оспариваемымъ у нея предметомъ страсти, и все это въ иллюзіи такой живости и правдоподобія, что Муза принимала свои горячечные призраки и догадки за дѣйствительные факты и испытывала невыразимыя страданія. Мнительная подозрительность доводила ее почти до галлюцинацій и толкала на такіе поступки, которыхъ она потомъ стыдилась.

Она стала систематически шпіонить за Иваномъ и Стешей, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, насколько это позволяло ея положеніе и смертельный страхъ быть захваченной въ расплохъ и обнаруженной въ своей слабости. Къ тому-же, активно шпіонить она не умѣла и дѣлала это больше умозрительно, по чутью, чѣмъ путемъ дѣйствительнаго выслѣживанія подозрѣваемыхъ личностей. Тѣмъ хуже было для бѣдняжки, потому что въ этомъ

случаѣ она никакъ ужъ не могла провѣрить и разсѣять свои сомнѣнія, а только усиливала и обостряла ихъ воображаемыми подтвержденіями, мнительными догадками и превратными истолкованіями того, что ей удавалось подмѣчать.

Стоило Стешѣ случайно встрѣтиться съ Иваномъ, перемолвиться о чемъ-нибудь, хотя-бы просто относящемся къ предметамъ ихъ службы, обмѣняться взглядами или улыбками безъ всякихъ куртизанскихъ вожделѣній, чтобы захватившая ихъ на этомъ, Муза мгновенно сочинила, себѣ на муку и обиду, цѣлую безконечную цѣпь любовныхъ интригъ и счастливыхъ моментовъ ихъ романа, на самомъ дѣлѣ вовсе не существовавшаго. Она хотѣла стать ясновидящей, по отношенію къ нимъ, и, пытливо изучая ихъ физіономіи и всю наружность, по измѣненіямъ румянца на щекахъ, блеска глазъ и ихъ выраженія, по случайному безпорядку въ прическѣ, по смятому платью, заключала съ увѣренностью, что у нихъ, якобы, происходило свиданіе, что они цѣловались и обнимались...

Въ болѣзненно настроенномъ, лихорадочно работавшемъ воображеніи дѣвушки вставали живьемъ, полныя соблазна, картины торжествующей страсти и бросали ее въ жгучую скорбь, злость и алчную, пожиравшую ея сердце зависть—отчего не ей достались эти, воображаемыя, ласки, объятія и поцѣлуи, а этой ненавистной, такъ счастливо и оскорбительно соперничающей съ нею твари, которую—бывали минуты—кроткой Музѣ хотѣлось задушить, изуродовать...

Комната Стеши была рядомъ съ комнатой Музы

Валентиновны, отдѣлявшейся отъ нея глухой деревянной стѣной. И вотъ, непрерывно мучимая своими ревнивыми подозрѣніями, барышня, случалось, по цѣлымъ ночамъ не смыкала глазъ, шпіоня свою горничную. Въ темнотѣ и глубокой тишинѣ, среди которой она могла отчетливо слышать частый, трепетный стукъ своего ноющаго, растерзаннаго сердца, Муза лежала неподвижно, пылающая, какъ въ горячкѣ, на своей постели, съ широко раскрытыми глазами, и вся превращалась въ слухъ. Она заглушала въ себѣ дыханіе, поднимала голову и съ жадной чуткостью ловила каждый звукъ, малѣйшій шорохъ и трескъ, доносившіеся чрезъ стѣну изъ комнаты Стеши.

Молодой здоровый сонъ Стеши былъ убійственный, но нѣсколько безпокойный, особенно когда ей случалось плотно поужинать. Она металась и бредила въ подобныхъ случаяхъ, и тогда одновременно начинала бредить, только не во снѣ, а въявѣ, и ея мнительная барышня. Богъ знаетъ, что такое чудилось Музѣ, когда до ея слуха долетала невнятная, сонная болтовня Стеши. Подъ нестерпимо удручающимъ гнетомъ своихъ фантомовъ, она иногда вскакивала съ постели и о босу ногу, дрожа отъ страстнаго волненія, разрывавшаго ея грудь, осторожно, какъ кошка, кралась къ дверямъ комнаты Стеши и, приложивъ ухо къ ея щели, подолгу слушала, въ чаяніи поймать свою соперницу-горничную на зазорномъ свиданіи съ Иваномъ и окончательно увѣриться въ своихъ ревнивыхъ подозрѣніяхъ.

Иногда, въ тѣ минуты, когда возня Стеши казалась особенно сомнительной, Муза Валентиновна разыгрывала

цѣлую маленькую комедію: она потихоньку одѣвалась, зажигала свѣчку и, держа ее въ рукахъ, шла открыто въ комнату своей горничной, какъ-бы за какой-нибудь дѣловой надобностью... Въ дальнѣйшемъ планѣ предначертанной комедіи слѣдовала сцена негодующаго ужаса при видѣ, нечаянно открытой на мѣстѣ преступленія, грѣховности горничной; но сцена эта все оставалась безъ исполненія и Муза, обыкновенно, кончала тѣмъ, что, войдя къ Стешѣ и увидѣвъ ее одиноко спящей сномъ невинности, внимательно, съ злобнымъ любопытствомъ и почти съ отвращеніемъ оглядывала ея обнажившееся отъ безпокойнаго сна, беззастѣнчиво разметавшееся тѣло, и неслышно уходила къ себѣ.

---

## VIII.

Получившая такой несчастный, болѣзненный исходъ страсть нашей героини не могла не отразиться на ея поведеніи и наружности.

Она сильно похудѣла и подурнѣла, стала скучна, безпокойна и раздражительна. Отъ крестной maman перемѣны эти, конечно, не могли укрыться и она все чаще стала участливо допрашивать у крестницы, что такое съ нею дѣлается?

Муза отнѣкивалась и отговаривалась пустяками.

— Да ужъ не влюблена-ли ты, моя милая?—сдѣлала предположеніе крестная, зорко всматриваясь въ лицо дѣвушки.

— Въ кого-жъ это, позвольте узнать, если я даже

никакихъ мужчинъ не вижу? — жестко и укоризненно возразила Муза, дѣйствительно винившая крестную за то, что она держитъ ее въ четырехъ стѣнахъ, никуда не выѣзжая и никого почти у себя не принимая, вслѣдствіе чего она, Муза, и засидѣлась до сихъ поръ въ невѣстахъ.

Maman или не поняла, или не хотѣла понять упрека крестницы.

— Да, вѣдь, у влюбчивой дѣвушки, какова ты, матушка, что ни пень, то колода, по пословицѣ!—сентенціозно сказала она.

— Благодарю за комплиментъ!—язвительно отозвалась Муза.—Какого-же это пня,—продолжала она въ томъ-же тонѣ,—сдѣлали вы предметомъ моей, по вашему, влюбчивости въ настоящемъ случаѣ?

— Да по чемъ-же я знаю, ma chére?

— Ужъ не Ивана-ли, напримѣръ?

— Какого Ивана?

— А, вотъ, который намъ служитъ...

— Господь съ тобою, дитя мое!

Старуха открещивалась отъ этого нелѣпаго предположенія, а между тѣмъ, съ такой смѣлостью бравировавшая передъ нею своею дѣйствительной страстью, Муза дала ей, такъ сказать, идею о возможности такого—чѣмъ бѣсъ не шутитъ!—романа. Она очень пристально оглянула крестницу своими старушечьими проницательными глазами и кое-что про себя отмѣтила для справки.

Если-бы этотъ разговоръ не принялъ такой острой, непріязненной формы, измученная и истомленная стра-

даніями, дѣвушка была почти готова со слезами исповѣдаться въ своей сердечной тайнѣ крестной матери, какъ единственному близкому ей человѣку, и просить ее, чтобы она избавила ее отъ этого ада и грозящаго ей несмываемаго позора.

Впрочемъ, женское сердце трудно угадать: можетъ быть, и всего вѣроятнѣе, Муза Валентиновна и не исповѣдалась-бы по чистой совѣсти крестной и не стала бы просить ее объ избавленіи, которое, конечно, выразилось-бы изгнаніемъ Ивана и Стеши изъ дому.

Вѣдь, этотъ адъ, не взирая на всѣ его муки, кипучей волной заполнялъ всю ея душу, захватывалъ все ея существо, будилъ ея нервы, волновалъ ея кровь... Что-жъ, когда его не станетъ?—Пустота, скука и мертвенное прозябаніе были ею испытаны слишкомъ достаточно, чтобы желать возвратиться къ нимъ.

И наконецъ, какъ хотѣть изгнанія съ глазъ долой того, кого любишь, хотя-бы наперекоръ здравому смыслу и собственному достоинству! Пусть онъ даже принадлежитъ другой, то и въ этомъ случаѣ для игры женскихъ мечтаній и надеждъ остается еще очень широкая почва. Да просто, хотя онъ чужой, хотя онъ никогда не узнаетъ о нашемъ затаенномъ къ нему влеченіи, пусть онъ будетъ здѣсь, на нашихъ глазахъ, чтобы дразнить нашу чувственность и служить образнымъ матеріаломъ для нашей женской сластолюбивой мечтательности.

Муза Валентиновна навѣрно почувствовала-бы себя несчастной, если-бы Иванъ былъ прогнанъ. Она минутами хотѣла прогнать Стешу и съ нѣкотораго времени

стала съ нею очень жестко и придирчиво обращаться, но прежде, чѣмъ прогнать ее, она желала окончательно увѣриться—связана или нѣтъ Стеша нѣжными отношеніями съ Иваномъ? До сихъ поръ это былъ для нея нерѣшенный вопросъ.

---

## IX.

Въ своей ревности Муза уподоблялась, правду сказать, собакѣ, которая лежитъ на сѣнѣ—сама его не ѣстъ и другимъ не хочетъ давать. Трудно сказать, желала ли она для себя близости съ интереснымъ Иваномъ, которая по отношенію къ Стешѣ, на основаніи лишь гадательнаго предположенія, возмущала ее до глубины души страстной завистью. Наружно Муза не только не стремилась къ этой близости, но старалась съ особенной, преувеличенной щепетильностью ставить ей препоны.

Она вся внутренно млѣла, когда Иванъ подходилъ къ ней при отправленіи своихъ лакейскихъ обязанностей, сладко вздрагивала чуткой нервной истомой, когда онъ, надѣвая на нее верхнее платье или подсаживая въ экипажъ, прикасался къ ней своими руками, но тѣмъ сдержаннѣе и холоднѣе относилась къ нему наружно.

Разъ ей показалось, что онъ, подсаживая ее въ коляску, когда она на самомъ дѣлѣ оступилась, непозволительно крѣпко и нѣжно сжалъ ея локоть въ своихъ рукахъ.

— Вы этого никогда впередъ не смѣйте дѣлать!—

задыхаясь, съ заносчиво-строгимъ видомъ сказала она ему потомъ при встрѣчѣ съ глазу на глазъ.

— Чего-съ?—съ непритворно-изумленной миной спросилъ Иванъ, вытянувшись въ струнку.

— Вы знаете... и не смѣйте впередъ, а то я мамѣ пожалуюсь!—еще съ большей страстностью произнесла Муза.

— Бога ради, скажите, въ чемъ моя передъ вами провинность?—взмолился Иванъ.

— Вы позволили себѣ пожать мою руку, когда я садилась въ коляску... Какъ вы смѣли это сдѣлать?

— Вамъ больно стало?.. Простите великодушно, барышня, вѣдь вы маленечко оступились, а я хотѣлъ васъ поддержать,—въ томъ вся моя вина, что руки у меня ужъ такія медвѣжьи!

Больше вины съ его стороны, дѣйствительно, никакой не было, но не было также и настолько проницательности, чтобы понять истинный, очень лестный для него смыслъ строгаго выговора барышни. Разгадка эта ждала его впереди.

Однажды Муза Валентиновна собралась на прогулку. Погода была нѣсколько сырая и, потому, она пожелала накинуть на себя вязаный оренбургскій платокъ. Услужливый Иванъ исполнилъ ея желаніе съ предупредительной поспѣшностью. Дѣло происходило въ темной передней.

Надѣвъ на плечи поданный Иваномъ платокъ и собравшись выдти, Муза вдругъ почувствовала неожиданно, что Иванъ не пускаетъ ее и неощутительно тянетъ къ себѣ, въ свои объятія, какъ ей почудилось...

Она вздрогнула и замерла въ боязливо-сладкомъ ожиданіи такой ужасающей дерзости. Иванъ, однако, медлилъ.

— Что вы со мной дѣлаете?—вскрикнула Муза, опомнившись и круто повернувшись.

— Что такое-съ? Ахъ, ты, Боже мой, да вѣдь это вашъ платокъ зацѣпился за мою пуговицу! — говорилъ Иванъ, замѣтивъ свою неловкость.

Платокъ, дѣйствительно, задѣлъ своими петлями пуговицу на его жилетѣ и это нечаянное, пустое обстоятельство послужило основаніемъ очень роковой сцены. Иванъ оказался очень неловкимъ и никакъ не могъ освободить платка отъ зацѣпившей его пуговицы.

— Ахъ, какой вы увалень!—нетерпѣливо замѣтила Муза и стала помогать ему.

Руки ихъ встрѣтились и переплелись пальцами въ стараніи выпутать платокъ, но едва Муза почувствовала на своихъ рукахъ горячее, потное прикосновеніе его грубыхъ, крѣпкихъ пальцевъ, она забыла о платкѣ и обо всемъ въ мірѣ. Это прикосновеніе электрической искрой проникло всю ее и опьянило до самозабвенія...

Что и какъ произошло въ это мгновеніе среди темной передней—она не могла вспомнить, достовѣрно было только то для нея, что, когда она очнулась, то почувствовала, что онъ сжимаетъ ея талію своими медвѣжьими руками, что ея руки лежатъ на его плечахъ и что она приникла головой къ жилистой, горячей шеѣ и впилась въ нее губами, а на ея щеку пышетъ его жаркое, какъ раскаленный паръ, дыханіе.

Съ ужасомъ и отвращеніемъ вырвалась Муза Вален-

тиновна изъ лакейскихъ объятій и старалась замять этотъ невольный порывъ темперамента, этотъ минутный обличительный признакъ ея слабости; но — было уже поздно...

«Человѣкъ» Иванъ, совершенно неожиданно для себя, понялъ и свою роль и свою силу, а, понявъ свою власть надъ барышней, онъ почелъ-бы себя величайшимъ глупцомъ, если-бы не воспользовался этой превосходной оказіей.

---

## X.

Воспользовался Иванъ слабостью барышни слѣдующимъ вполнѣ холопскимъ образомъ.

Онъ ни разу и ничѣмъ не обнаружилъ желанія возобновить нѣжную сцену, происшедшую съ экспромпта въ передней, и Муза была очень ему за то благодарна. Она начинала уже думать, что Иванъ слишкомъ даже скроменъ и робокъ, если не пользуется своими правами надъ нею, и продолжала ревновать его къ Стешѣ, думая, что онъ оказываетъ ея горничной предпочтеніе передъ нею.

Какъ вдругъ, въ одно утро, за завтракомъ maman громко и въ сильныхъ выраженіяхъ сообщила крестницѣ, что Иванъ оказался воромъ, что у него, при повѣркѣ буфета, обнаружилась недостача столоваго серебра на нѣсколько сотъ рублей, очевидно, злоумышленно имъ растраченнаго. Maman была очень этимъ афраппирована и выражала непремѣнное желаніе по-

звать полицію и подвергнуть Ивана законной отвѣтственности.

Муза промолчала, но внутренно была ужасно поражена и огорчена этимъ случаемъ, и, хотя не могла найти никакихъ оправданій для поступка Ивана, тѣмъ не менѣе ей стало очень его жалко, и одна мысль, что его могутъ опозорить, какъ вора, и посадить въ тюрьму, причиняла ей страданіе.

На это-то, именно, и разсчитывалъ оборотливый Иванъ.

Вечеромъ того-же дня, когда Муза Валентиновна удалилась въ свою комнату, за нею неожиданно вошелъ Иванъ и, неговоря ни слова, на порогѣ упалъ передъ нею на колѣни.

— Спасите, не погубите, Муза Валентиновна! Въ вашихъ рукахъ моя жизнь!—жалобно залепеталъ онъ.

Музу совершенно смутилъ этотъ приступъ, но въ то-же время, гдѣ-то въ уголкѣ сердца, втайнѣ, ей стало пріятно, что онъ, именно, къ ней обратился за спасеніемъ и что она можетъ его спасти. Ею овладѣло въ эту минуту благородное женское великодушіе и она была счастлива этимъ хорошимъ чувствомъ.

— Я знаю,—промолвила она,—о вашемъ... несчастьи (затруднилась она назвать по имени его поступокъ). Какъ и чѣмъ я могла-бы вамъ помочь? Куда вы дѣвали наше серебро? Но, пожалуйста, встаньте... Зачѣмъ вы стоите на колѣняхъ?

— Не встану-съ!—патетически воскликнулъ Иванъ.— Въ вашихъ рукахъ моя жизнь. Истинно изволите гово-

рить:—несчастье со мной приключилось... Не знаю самъ, какъ произошла эта пропажа?

— Но что-же я могу для васъ сдѣлать?

— Просите мамашу, чтобы онѣ меня простили!

— Ну, этого я не стану дѣлать, а вотъ...

Съ этими словами Муза быстро подошла къ своему шифоньеру, вынула оттуда ящикъ съ своими бриллiантами и отдала его колѣнопреклоненному Ивану.

— Возьмите это,—сказала она, не глядя на него,—заложите и поскорѣе пополните недостающее серебро. Вѣроятно, оно заложено.

Иванъ торжествовалъ.

Онъ безъ колебанія принялъ великодушное приношеніе барышни и имѣлъ удовольствіе воспользоваться имъ вполнѣ, такъ какъ крестная мать Музы не стала звать полицію и ограничилась только тѣмъ, что прогнала Ивана изъ дому.

«Рабъ коварный» не возвратилъ Музѣ Валентиновнѣ ея драгоцѣнностей и исчезъ безслѣдно.

Жестокій урокъ былъ это для бѣдной дѣвушки, но онъ-же и исцѣлилъ ее отъ грубой ошибки сердца.

---

# Съ институтской скамьи на скамью подсудимыхъ.

---

## I.

— Ахъ! ахъ! неужели, mesdames, это та самая Маня Трофимовичъ, которая три года тому назадъ была среди насъ и мы всѣ ею восхищались?

— Всего три года и—quelle chûte, quelle infamie!

— Помните, помните, какая она была милая, нѣжная, благовоспитанная, какая во всѣхъ отношеніяхъ «божественная» цыпка!

— Совсѣмъ цыпка—невинная и наивная, какъ новорожденный ребеночекъ!

— Настоящая институточка!

— И какая—помните, mesdames,—умница, прилежная, какъ прекрасно училась по всѣмъ предметамъ!

— Даже изъ противной математики.

— Съ золотой медалью кончила.

— Первой пепиньеркой считалась.

— Была либимицей и «maman», и всего института.

— Болѣе того — украшеніемъ! Институтъ ею гордился.

— И вдругъ—ахъ!—наша chére Маня на скамьѣ подсудимыхъ...

— Horreur! horreur!

— Что всего ужаснѣе, mesdames:—не далѣе, какъ черезъ три года по выходѣ изъ института!

— Ахъ! ахъ! ахъ!

Такъ ужасались и ахали по-русски и по-французски воспитательницы и товарки нашей героини, при вѣсти объ ея участіи въ скандалезномъ процессѣ. Многія изъ нихъ и въ особенности «maman», какъ нѣжно величаютъ институтки директриссу, долго не хотѣли вѣрить, чтобы это была та самая Маня Трофимовичъ, которую онѣ знали и любили. Но сомнѣній на этотъ счетъ никакихъ не оставалось. «Maman» это такъ огорчило, что она даже прослезилась и во всеуслышаніе выразилась, что, въ лицѣ Мани, она «воспитала на груди своей змѣю».

Процессъ, въ который Маня Трофимовичъ запуталась, выставлялъ ее на общее позорище въ крайне непривлекательномъ свѣтѣ, какъ падшаго ангела, связаннаго развратомъ и преступленіемъ съ шайкою отъявленныхъ негодяевъ и мошенниковъ, темныхъ, грубыхъ и безпутныхъ. Шайка попалась на крупной и наглой кражѣ двухсотъ тысячъ изъ банка, а, вмѣстѣ съ нею, попалась и Маня, обвиняемая въ пособничествѣ и сокрытіи краденаго. Оказалось, что она состояла въ интим-

номъ союзѣ съ однимъ изъ воровъ и была дѣятельно заинтересована въ кражѣ и ея успѣхѣ. «Прикосновенность» ея къ этому дѣлу являлась не какимъ-нибудь минутнымъ увлеченіемъ или «ошибкою молодости», по невѣдѣнію, неразумію и неопытности,—нѣтъ! Къ удивленію и ужасу добродѣтельнаго прокурора, «прикосновенность» эта была сознательная; она послѣдовательно вытекала изъ всего поведенія подсудимой и ея сношеній съ шайкой и изобличала ее въ глубокой нравственной испорченности. Что въ особенности огорчало элегантныхъ присяжныхъ повѣренныхъ и «уголовныхъ дамъ», такъ это—отсутствіе чего-нибудь «романическаго» и «драматическаго» въ роли и судьбѣ подсудимой. Передъ ними раскрылась одна грязь, самая пошлая, будничная грязь!

---

## II.

Какимъ-же родомъ могло произойти въ теченіи нѣсколькихъ скоротечныхъ лѣтъ чудовищное превращеніе этой образцовой институтки, увѣнчанной высшею наградой «за науки и поведеніе», этой «божественной цыпки», невинной, благовоспитанной и граціозной, какъ ангелъ,—въ распутную и безпардонную соучастницу въ оргіяхъ, мерзостяхъ и плутняхъ шайки «червонныхъ валетовъ» и даже далеко не высшаго разбора?

Не взирая на всю, кажущуюся съ перваго взгляда, невѣроятность и странность такого превращенія, произошло оно весьма просто и естественно. Оно могло-бы случиться съ Маней тотчасъ-же, какъ она, во всеору-

жеи институтскихъ наукъ и добродѣтелей, очутилась за порогомъ воспитавшаго ее заведенія,—будь она тогда-же предоставлена самой себѣ и попади въ подходящую для такого превращенія среду. Конечно, могло-бы и вовсе не случиться, если-бы она была богата и счастлива, если-бы ту ревнивую, всестороннюю опеку объ ея судьбѣ, нравственности и существованіи, которую давали ей институтскія стѣны, институтская «maman», классныя дамы и педагоги, она нашла и въ жизни, въ родительскомъ-ли, или супружескомъ домѣ, въ объятьяхъ родныхъ или мужа. Такъ это чаще всего и бываетъ, къ счастью для человѣчества и въ оправданіе институтскаго воспитанія, но у Мани судьба оказалась лихою мачихой:—она отвернулась отъ нея и бросила ее, беззащитную, хрупкую и нѣжную «цыпку», на произволъ случайностей и злой воли перваго встрѣчнаго негодяя.

Передъ слѣдователемъ и на судѣ Маня оправдывала свое паденіе и «прикосновенность» къ преступленію «роковой необходимостью» (la fatalité malheureuse). Хотя непреклонная обвинительная власть встрѣтила это наивное оправданіе ѣдкой скептической улыбкой и не придала ему никакого вѣса, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, подсудимая говорила по совѣсти и имѣла полное право сослаться на «роковую необходимость», какъ на смягчающее ея вину обстоятельство. Бѣдняжка, она только не съумѣла связно и логично аргументировать свое оправданіе! Въ институтѣ ее этому «не учили». И судьи, и краснорѣчивыя «стороны» не мало дивились и игриво посмѣивались себѣ въ бороды, слушая показанія и защиту Мани.

Ихъ удивляло и забавляло ея младенческое неумѣнье говорить связно и толково. Съ золотой медалью кончившая курсъ наукъ институтка совершенно забывала о существованіи на свѣтѣ подлежащихъ и сказуемыхъ, сбивалась и противорѣчила себѣ на протяженіи десяти словъ, изъ которыхъ половина приходилась на междометія: «ахъ, да!», «ахъ, нѣтъ!» Это былъ какой-то лепетъ, какое-то птичье, по мысли и слогу, щебетанье, очень милое, ласкающее слухъ благозвучной интонаціей, но за которое достаточно строгій учитель русскаго языка поставилъ-бы круглый ноль.

— Цыпка!—презрительно подумалъ прокуроръ, слушая Маню.

— Какъ есть, цыпка! — снисходительно подумали судьи.

— Цыпка совершенная!—положили въ своей совѣсти, умиленные и убаюканные щебетомъ Мани, присяжные засѣдатели.

И можетъ быть, благодаря главнымъ образомъ этому цыплячьему щебету, судъ подъ конецъ снизошелъ до оправданія подсудимой.

Разсказывая суду свою жизнь, Маня искренно и горячо говорила, что она, по выходѣ изъ института, «никогда» (ахъ, никогда!) и не помышляла вступать на стезю порока, что она «никогда» не желала сходиться (fi-donc!) съ темными «червонными валетами», «никогда (oh! jamais de ma vie) не искала сближенія съ негодяемъ, вовлекшимъ ее въ разгулъ, развратъ и преступленіе»...

— Но тогда зачѣмъ-же вы сошлись съ нимъ?—озадачилъ ее безпощадный прокуроръ.

— Ахъ, нѣтъ!—спохватилась Маня.—Я никогда, никогда не сходилась!..

— Какъ, вы это отрицаете?

— Ахъ, да! То-есть я сошлась, но... но... но... это была fatalité... роковая необходимость...

Дѣйствительно, тутъ была «роковая необходимость».

---

## III.

Институтъ внушилъ Манѣ аппломбъ и почти религіозную увѣренность, что она спеціально рождена и воспитана благородной demoiselle, для которой по всѣмъ правамъ и преимуществамъ уготованъ рай на землѣ.

Этотъ-то рай, заключающійся въ томъ, чтобы можно было, не ударивъ пальчикомъ о пальчикъ, по всѣ дни сладко кушать, спать на лебяжьемъ пуху, роскошно одѣваться по послѣдней модной картинкѣ, ѣздить въ театры и на балы, веселиться, нравиться мущинамъ, осчастливить избраннаго изъ нихъ своей любовью и сочинить съ нимъ «божественный» романъ съ блаженнымъ эпилогомъ,—вотъ что составляло въ институтскомъ понятіи Мани непреложную, жизненную *необходимость*, внѣ которой жизнь представлялась ей адомъ.

На этомъ раѣ основывалась вся институтская мораль и наука.

— Учитесь, mesdames, и ведите себя хорошенько,

и—вы будете счастливы! — твердили изо-дня въ день и «maman», и классныя дамы и учителя.

Маня такъ и поняла цѣль институтскаго воспитанія. Она хотѣла быть счастливой, хотѣла попасть въ рай, и все, положенное для этого по программѣ, исполнила превосходно, на золотую медаль, — словомъ, достигла nec plus ultra правъ и преимуществъ! И что-же?—Когда она, гордая своими успѣхами въ наукахъ и поведеніи, чистая и непорочная, увѣнчанная золотой медалью, напутствуемая благословеніями и сердечными пожеланіями «maman», воспитателей и товарокъ, вышла изъ института и съ увѣренностью предъявила жизни свои права на рай, — жизнь, съ жесткой ироніей ростовщика, не дала и мѣднаго пятака за эти права и показала ей кукишъ!

Слѣдовало доказать свои права, завоевать ихъ у скупой и скаредной жизни. И Маня попробовала, но какое-же оружіе далъ ей институтъ для этой борьбы, для этихъ завоеваній?—Она непринужденно болтала на французскомъ языкѣ, могла безъ особенныхъ ошибокъ назвать всѣ главныя рѣки, горы и столицы въ Европѣ, не смѣшивала Карла великаго съ Карломъ V, знала, что дважды два — не стеариновая свѣчка, а четыре, могла болѣе или менѣе фальшиво сыграть сонату Шумана; обладала вполнѣ приличными манерами, мило танцовала, дѣлала граціозные реверансы и во всѣхъ положеніяхъ, даже во снѣ, соблюдала безупречно-изящную tenue. Вотъ, кажется, и все! Но если-бы и не все, то—кому оно нужно, какую боевую способность и стоимость могутъ имѣть эта салонная галантерейность, эти инсти-

тутскіе талантики на жестокомъ рынкѣ дѣйствительной жизни съ ея осатанѣлой борьбой за существованіе?

Опыты Мани честно выторговать у жизни, цѣною своихъ патентованныхъ правъ и привиллегій, не то, что рай (куда ужъ!), а хотя-бы сносное существованіе, потерпѣли полное фіаско. Въ довершеніе ея злосчастія, институтъ воспиталъ ее въ слѣпотѣ, что касается практическаго знанія добра и зла, изощренія чувства самохраненія и дара приспособленія. Какъ была она на институтской скамьѣ «цыпкой» въ этомъ отношеніи, такъ неразумной, легковѣрной и беззащитной «цыпкой» и выступила самостоятельно на житейское ухабистое поприще! Любая, хотя-бы и не окончившая курсъ институтскихъ наукъ, но порядочно пожившая на свѣтѣ курица оказалась-бы опытнѣе Мани, благоразумнѣе и дѣловитѣе, и могла-бы сто разъ обойти и перехитрить ее на пустякахъ.

---

## IV.

У Мани былъ свой домъ. У нея былъ отецъ, отставной генералъ и когда-то состоятельный помѣщикъ, но ненавистныя «реформы», съ сопровождавшими ихъ оскудѣніемъ, сокращеніемъ штатовъ и всякими новшествами, вышвырнули генерала за бортъ и прямо на мель. Состояніе было прожито и генералъ существовалъ пенсіей, да раздробительной продажей инвентаря и угодій оставшагося какимъ-то чудомъ клочка имѣнія. Обремененный многочисленнымъ семействомъ, генералъ бѣдствовалъ,

брюзжалъ и злился. Жить подъ его отеческимъ крыломъ было не сладко, да и просто невозможно:—у Мани имѣлось шестеро братьевъ и сестеръ малъ-мала-меньше, и всѣ, какъ на зло, съ ужаснымъ аппетитомъ. Лишній ротъ составлялъ большой разсчетъ въ семейномъ бюджетѣ и, къ тому-жъ, со времени поступленія Мани въ институтъ на казенный счетъ, она считалась въ семьѣ какъ-бы отрѣзаннымъ ломтемъ.

Пожила и помаялась наша золотообрѣзная институтка въ родительскомъ домѣ—видитъ, что она въ тягость и что обѣтованнаго рая здѣсь ей не дождаться. Рѣшилась идти «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ» и гдѣ, по щучьему велѣнію, по нашему хотѣнью, вдругъ упадетъ съ неба, какъ снѣгъ на голову, желанное счастье. Папаша охотно отпустилъ милую дочку на всѣ четыре стороны и отъ всего сердца снабдилъ ее на дорогу родительскимъ, на вѣки нерушимымъ благословеніемъ.

Маня поступила въ гувернантки. Судьба и воспитаніе институтки такъ прилажены и спеціализированы, что ей представляется одно изъ двухъ — или въ принцессы идти, или въ гувернантки. Другого выбора нѣтъ. Разумѣется, институтка готовится и всѣми силами души стремится стать принцессой, но амплуа принцессъ очень ограниченно на подмосткахъ «базара житейской суеты». Многимъ, поэтому, остается поневолѣ идти въ гувернантки. Амплуа гувернантокъ — это злачное убѣжище невытанцовавшихся, неудачныхъ и оставшихся за штатомъ принцессъ, до сѣдинъ, нетерпѣливо, съ институтскимъ легковѣріемъ ожидающихъ прекрасныхъ, высоко-

родныхъ рыцарей, которые колѣнопреклоненно подадутъ имъ руки, уведутъ въ «чертогъ златой» и увѣнчаютъ діадемами, имъ подобающими.

Я говорю о гувернанткахъ—институткахъ, которыя въ очень нерѣдкихъ случаяхъ оказываются плохими гувернантками, потому, именно, что считаютъ себя призванными быть принцессами и взираютъ на свои гувернерскія обязанности, какъ на неволю, какъ на несчастную случайность и глупую ошибку судьбы, которая съ часу на часъ можетъ и должна быть поправлена какимъ-нибудь догадливымъ рыцаремъ.

Такъ, именно, отнеслась Маня къ выпавшей на ея долю должности гувернантки. И то сказать, судьба гувернантки—куда какъ блестяща и не сладка! Мѣсто досталось Манѣ не важное: дѣти оказались капризными, родители—грубыми и взыскательными, комната окнами на черный дворъ, столъ плохимъ... увядшій ростбифъ по недѣлѣ подавался, вмѣсто жаркого... Погувернантствовала она всего двѣ недѣли и тѣмъ легче бросила доставшееся ей мѣсто, что тогда въ ней еще свѣжа и крѣпка была вѣра въ законность и нерушимость своихъ, данныхъ институтомъ, правъ на вводъ во владѣніе земнымъ раемъ съ титуломъ принцессы.

---

## V.

Переѣхала Маня въ «chambres garnies» и стала ждать, и не совсѣмъ ужъ сложа руки. Она напечатала въ газетахъ объявленіе, что вотъ-де «благородная дѣ-

вица, окончившая институтъ съ золотой медалью, ищетъ мѣста «принцессы», а буде таковое въ наличности не окажется, то хоть компаніонки».

Мѣсто нашлось—на этотъ разъ, къ сожалѣнію, только компаніонки. Маня очутилась въ обществѣ дамы весьма неопредѣленной position sociale, предъявившей ей столь же неопредѣленныя требованія по части компаніи. Да, пожалуй, и самъ сатана не опредѣлитъ—въ чемъ состоятъ и гдѣ границы обязанностей «компаніонки»? Хроника петербургскихъ трущобъ свидѣтельствуетъ о томъ, что нѣкоторыя достопочтенныя дамы, ищущія молоденькихъ «цыпокъ» въ «компаніонки» по газетнымъ объявленіямъ, ищутъ ихъ нерѣдко не для себя, а для кого нибудь другого и снискиваютъ себѣ даже этой невинной комиссіей безбѣдное существованіе.

Достовѣрно во всякомъ случаѣ, что паденіе Мани началось съ поступленія ея на мѣсто «компаніонки». Патронесса ея оказалась дамой веселой, общительной, пріятельски-близкой съ цѣлой ордой какихъ-то сомнительныхъ кавалеровъ. Институтски наивная и неопытная «цыпка», Маня не умѣла различать позолоченной грязи отъ золота, приличнаго веселья отъ оргіи и порядочныхъ людей отъ человѣкообразныхъ скотовъ въ модныхъ визиткахъ и съ англійскими проборами на пустыхъ головахъ.

Полная жизни и жажды неизвѣданныхъ наслажденій, она беззавѣтно и безразсудно кинулась въ увлекшій ее водоворотъ безпутно-пьянаго, трактирно-танцкласснаго веселья, съ цыганскими пѣснями, съ вакханальнымъ бредомъ оперетки, съ катаньями на тройкахъ и рос-

кошными ужинами, вспрыснутыми рѣкою шампанскаго! Превращеніе нашего ангела въ гетеру шло быстро и какъ по маслу. Спустя немного времени, послѣ того, какъ Маня поступила въ «компаніонки», ее могли видѣть знакомые въ крайне скандалезныхъ положеніяхъ. Напримѣръ, видѣли ее однажды въ ложѣ опереточнаго театра пьяною, сидящею въ ухарской позѣ, съ ногами на диванѣ, съ мужскою на бекрень шляпою на головѣ и съ бокаломъ шампанскаго въ рукѣ... Этотъ новый курсъ воспитанія Маня проходила съ такимъ-же успѣхомъ и ревностью, какъ и тотъ, за который институтъ наградилъ ее золотой медалью!

Давала-ли она себѣ отчетъ, что раскрывшійся передъ нею рай—рай фальшивый, порочный, съ тяжелымъ похмѣльемъ—неизвѣстно; но, если-бы даже она и сознавала это, въ ней не нашлось бы ни зги моральной силы противостоять искушенію. Зачѣмъ и для чего?—Ей посулили рай, чистый, благоуханный, идеальный, она воспиталась въ мысли войти въ него полноправной гражданкой, она заслужила его своей золотой медалью, но жизнь ей не дала его, и—она покорилась «роковой необходимости» насытить свою жажду рая хотя-бы его поддѣлкой, его грѣшнымъ, отвратительнымъ суррогатомъ.

Среди этого бурнаго, полоумнаго хмѣля Маня очнулась въ одно прекраеное утро и увидѣла съ ужасомъ, что она неразрывно связана съ однимъ изъ своихъ искусителей и развратителей. Онъ стоялъ передъ нею—глупый, грубый, необразованный, подлый, развратный мужланъ, научившійся носить модные «спинжаки», чесаться по-англійски, пить шампанское, понимать опе-

ретку и суконнымъ языкомъ объясняться съ «мамзелями»... И эта презрѣнная тварь—тотъ идеальный рыцарь, который, какъ она мечтала на институтской подушкѣ, влюбится въ нее, возведетъ ее въ санъ принцессы и сдѣлаетъ по вѣкъ блаженной и счастливой?!

Поздно проснулось въ Манѣ чувство опрятности и гадливости! Она уже не могла отвергнуть этого гада, осквернившаго ее своими объятіями:—она была мать его отродья! Пришлось покориться горькой, насмѣшливой судьбѣ, отдаться на вѣкъ «мужику», назваться его законною женою и, въ силу все той-же «роковой необходимости», стать соучастницей его преступленія, а потомъ сѣсть съ нимъ рука объ руку на скамьѣ подсудимыхъ...

Бѣдная, бѣдная «цыпка»! Увы, не первая, не послѣдняя!

---

# ЮРИСТЕНВАЛЬСЪ.

(Изъ воспоминаній не поклонника Штрауса).

---

Есть особенное, жгучее удовольствіе разбередить иногда въ себѣ старую, зажившую сердечную рану, чтобы опять пережить ея забытыя, давнишнія муки и боли. Въ этомъ не послѣдняя отрада для того, кто отжилъ, какъ я, кто ничего ужъ не ждетъ впереди отъ жизни и кому милы одни воспоминанія.

Съ этимъ отчасти намѣреніемъ я и пошелъ послушать концертъ моего стараго знакомаго Іоганна Штрауса въ послѣдній пріѣздъ его въ Петербургъ и не столько послушать его, сколько посмотрѣть на самого когда-то ненавистнаго для меня концертанта и увидѣть съ ѣдкимъ наслажденіемъ врага, какъ безпощадная старость отомстила за меня этому нѣкогда красавцу, причинившему мнѣ столько страданій, хотя онъ никогда и не подозрѣвалъ даже о моемъ существованіи.

То, что я испыталъ, превзошло мои ожиданія. Я

готовъ былъ раскаяться, что рѣшился на такой жестокій опытъ надъ моей зажившей раной, но воротить уже нельзя было.

И вотъ я на концертѣ въ конногвардейскомъ манежѣ. Вотъ наконецъ и *онъ* со своей волшебной палочкой... Я съ досадой увидѣлъ, что годы подѣйствовали на него далеко не такъ разрушительно, какъ бы я хотѣлъ. Онъ, конечно, постарѣлъ, но все еще красивъ, бодръ, граціозенъ, все еще нравится, какъ я замѣтилъ съ чувствомъ зависти по устремленнымъ на него влажнымъ, ласкающимъ глазамъ сидѣвшихъ возлѣ меня дамъ.

Пока шла программа концерта я ничего особеннаго не испыталъ. Правда, когда *онъ* вошелъ на эстраду и началъ дирижировать, мною овладѣло волненіе, но оно скоро прошло, и я думалъ уже, что опытъ мой мнѣ не удался. Какъ вдругъ по окончаніи программы въ публикѣ раздались крики:

— Юристенвальсъ! Юристенвальсъ!

Крики усиливались, и, уступая имъ, *онъ* возвратился на свою дирижерскую вышку и съ тою, знакомой мнѣ, гордой, торжествующей усмѣшкой «любимца публики», которая въ немъ была для меня особенно ненавистна, взмахнулъ по-царски своей палочкой. Послушный оркестръ грянулъ,—и полились эти сатанинскія, тягуче-страстныя и задорно-обольстительныя ноты, всегда казавшіяся мнѣ верхомъ безстыдства и музыкальной порнографіи. Таково мое мнѣніе—можетъ быть, несправедливое—о всей музыкѣ г. Штрауса вообще и объ его проклятомъ «Юристенвальсѣ» въ особенности.

При одномъ названіи этой пьесы, когда его выкри-

кивала публика, сердце во мнѣ дрогнуло, а когда оркестръ по командѣ г. Штрауса началъ ее играть—и играть чертовски-хорошо—рана моя вдругъ вскрылась, и я почувствовалъ всю ея боль съ такой острой силой, что чуть не вскрикнулъ.

Не знаю, замѣчалъ-ли кто, что ни одни воспоминанія не воскресаютъ въ насъ такъ ярко и живо, какъ тѣ, которыя связаны близко съ какой-нибудь мелодіей, когда мы неожиданно ее услышимъ послѣ многихъ лѣтъ.

Именно, съ «Юристенвальсомъ» связана моя маленькая сердечная драма, и когда теперь совсѣмъ неожиданно для меня его начали повторять и тутъ же былъ на лицо его творецъ, игравшій роль злаго fatu'ma въ моей драмѣ, я вдругъ все, все вспомнилъ съ такой ужасной ясностью, какъ будто это все произошло только вчера.

Я вспомнилъ то, что случилось двадцать-пять лѣтъ тому назадъ. Я былъ тогда молодъ и любилъ — любилъ и былъ любимъ. Мнѣ улыбалось впереди неизъяснимое счастье: оставалось только два мѣсяца до нашей свадьбы. Это дѣло было порѣшено наканунѣ дачнаго сезона, послѣ того, какъ мы въ теченіи зимы познакомились, сошлись и полюбили другъ друга. Она, моя страсть, двадцатилѣтняя свѣжая, милая, живая дѣвушка, какою она мнѣ тогда казалась, только что передъ этимъ пріѣхала съ матерью-вдовой изъ провинціи въ Петербургъ, въ которомъ онѣ рѣшили навсегда поселиться. Для моей невѣсты было все ново и полно интереса въ столицѣ, и мнѣ доставляло особое наслажденіе знакомить ее со

всѣми нашими достопримѣчательностями, водить, показывать.

Когда весною зашла рѣчь о дачѣ, я посовѣтовалъ моей будущей тещѣ поселиться въ Павловскѣ, опять-таки въ желаніи доставить лишнее удовольствіе моей невѣстѣ. Она очень любила музыку, и я въ виду этого рекомендовалъ имъ Павловскъ, съ преувеличеннымъ пафосомъ расхваливая «павловскую музыку» и въ особенности ея очаровательнаго дирижера Іоганна Штрауса, его искусство, его сладкіе вальсы... Дьявольская насмѣшка судьбы! Могъ-ли я думать, что я самъ съ глупымъ усердіемъ стараюсь надъ гибелью моего счастья?

Павловскъ былъ тогда ультра-аристократиченъ и потому очень дорогъ. Дороговизна затрудняла нѣсколько мать моей невѣсты. Средства у нихъ были, но не особенно большія. Я настаивалъ, заботясь о лѣтнихъ развлеченіяхъ моей Адели. Онѣ колебались, но наконецъ согласились нехотя поѣхать, посмотрѣть и поискать дачу, если можно подешевле.

Никогда не забуду этой поѣздки. Былъ прекрасный майскій день. Я повезъ моихъ дамъ съ утра, и онѣ остались въ восторгѣ отъ павловскихъ ландшафтовъ, но дачи подходящей по своей цѣнѣ не нашли, и мать рѣшила, что жить онѣ здѣсь не могутъ. Адель не возражала. Я же былъ почти въ отчаяніи. Обѣдали мы у однихъ знакомыхъ, уже переѣхавшихъ на дачу, и вечеромъ, по павловскому обычаю, пошли съ ними «на музыку». Я заранѣе предвкушалъ удовольствіе видѣть, какое пріятное впечатлѣніе произведетъ на мою музыкальную Адель прекрасный павловскій оркестръ и, въ осо-

бенности, самъ великолѣпный Іоганнъ, котораго она дотолѣ никогда еще не видала. Я не ошибся въ этомъ ожиданіи и даже болѣе, — то, что вышло впослѣдствіи, совсѣмъ ужъ не входило въ мой разсчетъ.

Мы пришли на знаменитую площадку передъ павловскимъ вокзаломъ въ антрактѣ, выбрали мѣста на скамейкахъ, сѣли и начали ждать слѣдующаго отдѣленія музыкальной программы. Я сѣлъ рядомъ съ Аделью. Она была особенно оживлена въ этотъ день отъ прекрасной весенней погоды, отъ прогулки, отъ новизны художественныхъ впечатлѣній, произведенныхъ на нее павловскимъ паркомъ, съ его прелестными памятниками, архитектурными украшеніями и всякими садовыми затѣями. Она ежеминутно всѣмъ восторгалась. Хороша она была для меня въ эти минуты, какъ богъ. Никогда, ни прежде, ни послѣ, не былъ я болѣе влюбленъ и болѣе счастливъ.

— Ахъ, какъ здѣсь хорошо! лепетала она, сидя возлѣ меня на площадкѣ и оглядываясь во всѣ стороны.—Все хорошо: эти красавцы-офицеры, это чудесное, ясное небо, эти grandes dames съ ихъ олимпійской важностью, эта эстрада съ цвѣтами, этотъ подагрическій генералъ... ха, ха, ха... какъ онъ старается, бѣдный, показать, что онъ еще молодецъ и что ноги у него въ порядкѣ... Все, все хорошо, но краше и лучше всего,—понизивъ голосъ и наклонившись къ моему уху, прошептала она,— вы для меня... Я васъ сегодня ужасно, ужасно люблю! Никогда я васъ такъ не любила и—не сердитесь—можетъ быть, никогда ужъ такъ не буду любить... Ахъ. какъ хорошо!

И она шаловливо, тайкомъ, ущипнула меня за локоть.

Я таялъ отъ невыразимаго блаженства, отъ котораго у меня сперло дыханіе въ горлѣ, и я не могъ сразу собраться отвѣтить моей дивной невѣстѣ.

Въ это время явился на эстрадѣ онъ, и всѣ глаза сосредоточились на его красивой фигурѣ.

— Ахъ, какъ хорошъ!—наивно воскликнула восторженная Адель, наведя на обольстительнаго Іоганна свой лорнетъ.

Онъ помахалъ палочкой и съ эстрады полились, полные соблазна, бархатные, стройные аккорды...

— Слушайте, слушайте, Адель!—сказалъ я въ качествѣ чичероне моей невѣсты.—Это *его* новый и лучшій вальсъ... Называется онъ «Юристенвальсъ», въ честь юристовъ... Превосходная вещь, и исполняетъ онъ ее великолѣпно... Слушайте!

Но мнѣ ненужно было побуждать мою невѣсту слушать. «Юристенвальсъ», всѣхъ восторгавшій тогда, она въ первый разъ слышала и—слышала въ мастерскомъ исполненіи подъ дирижерствомъ самаго автора. Она вся превратилась въ слухъ и во вниманіе. Не отрывая лорнета отъ глазъ, она пожирала глазами счастливаго капельмейстера во все время, пока онъ красовался на эстрадѣ. Я ей говорилъ, давалъ поясненія, она меня не слушала... Сердце мнѣ подало первую тревожную вѣсть: я сталъ неощутительно ревновать мою невѣсту къ этой сатанински-обольстительной музыкѣ и къ ея творцу.

— Ну, какъ вы находите?—спросилъ я Адель, когда музыка кончилась, и мы направились къ выходу, чтобы сѣсть въ вагоны для возврата въ Петербургъ.

Она взглянула на меня серьезно, какъ-то издали, какъ еслибъ между нами вдругъ образовалась широкая, непроходимая пропасть, и ничего не отвѣтила. Она точно не слышала или не поняла моего вопроса, да онъ и былъ, правду сказать, совершенно праздный и глупый. Было очевидно, что она вся поглощена и потрясена и этой музыкой, и ея творцомъ.

— Какъ вы назвали этотъ новый *его* вальсъ? Я забыла,—обратилась она ко мнѣ.

— «Юристенвальсъ», отвѣтилъ я.

— А... а... «Юристенъ»... Почему «Юристенъ»? Странное названіе, но вальсъ самый... Это чтожъ такое? Ничего лучше я въ жизни не слышала.

И больше ни слова.

Когда поѣздъ тронулся, Адель вдругъ спросила мать:

— Мама мы будемъ жить въ Павловскѣ?

— Куда-же, милая?—возразила старуха.—Богъ съ нимъ! намъ онъ совсѣмъ не по карману.

— Нѣтъ, мама, мы будемъ жить въ немъ!

— Да чтожъ, раззориться прикажешь...

— Ну, хоть разориться... Я такъ хочу, хочу, хочу!

Адель всецѣло покорила себѣ мать, какъ балованная дочь, и старуха безпрекословно ей повиновалась во всемъ. Такъ случилось и въ этотъ разъ.

Черезъ недѣлю моя невѣста жила уже съ матерью въ Павловскѣ.

Ли-ли-ла-ла, тра-ла-ла-ли-ли-и...

Этотъ проклятый мотивъ преслѣдовалъ и дразнилъ меня повсемѣстно. Куда ни пойдешь, бывало, куда не толкнешься—всюду онъ терзаетъ ухо. Все, что только

имѣло притязаніе на какую-нибудь музыкальность, на вкусъ и моду, все вдругъ стало на всякіе лады наигрывать, напѣвать, насвистывать сдѣлавшійся любимымъ и моднымъ «Юристенвальсъ». Его разучили военные оркестры, и подъ него маршировали на плацъ-парадахъ солдаты, безъ него не обходился ни одинъ балъ, ни одинъ танцовальный вечеръ, ни одно гулянье; его стали барабанить на фортепіанахъ всѣ барышни, всѣ франты напѣвали его и насвистывали; онъ гремѣлъ съ утра до ночи во всѣхъ гостинницахъ съ органами; даже извозчики переняли его отъ «господъ», а разъ, проходя мимо одной кухни, мнѣ почудилось, что даже повара по нотамъ «Юристенвальса» отбивали ножами котлеты...

Эти ненавистные звуки, ежеминутно напоминавшіе мнѣ начало и причину моей сердечной катастрофы и потому именно сдѣлавшіеся для меня ненавистными, доводили меня до отчаянія, до бѣшенства. Бывали минуты, когда мнѣ казалось, что я съ ума схожу... Всего ужаснѣе было то, что я нигдѣ не могъ укрыться отъ этого, точно издѣвавшагося надо мною и точно царапавшаго кошачьими когтями мое сердце, мучительнаго мотива. Смѣшно и странно теперь самому мнѣ вспомнить, что изъ-за «Юристенвальса» я перемѣнилъ тогда нѣсколько квартиръ, пересталъ бывать въ нѣкоторыхъ домахъ, гдѣ были музыкальныя дѣвицы, и сдѣлался почти нелюдимомъ—ради того только, чтобы не слышать его музыки.

Я впрочемъ забѣжалъ нѣсколько впередъ, хотя и до сихъ поръ не могу дать яснаго отчета ни во времени ни въ обстоятельствахъ моей маленькой драмы. Все это случилось какъ-то ужасно неожиданно, безумно и мо-

ментально, такъ что не успѣлъ я еще сознать и сообразить грянувшую на меня напасть, какъ ужъ все было порвано, разбито и кончено навсегда.

Произошло такъ отчасти, можетъ быть, отъ того, что я не могъ шагъ за шагомъ слѣдить за ходомъ сердечнаго каприза моей невѣсты и за совершавшейся въ ней перемѣной.

Съ переѣздомъ ея съ матерью въ Павловскъ, въ которомъ я не могъ поселиться по разнымъ стороннимъ причинамъ, наши свиданія стали рѣже и короче. Я наѣзжалъ къ нимъ изъ города разъ или два въ недѣлю и то больше по вечерамъ, которые Адель постоянно проводила «на музыкѣ». Здѣсь я всегда находилъ ее въ большомъ обществѣ и едва успѣвалъ перемолвиться съ нею нѣсколькими незначительными словами. Къ тому-жъ я съ грустью сталъ замѣчать, что она сама старается отдалиться отъ меня, нарочно избѣгаетъ интимныхъ встрѣчъ со мною и въ разговорѣ холодна, неприступна и нетерпѣлива, будто хочетъ сказать: «отстань! Ты мнѣ надоѣлъ!»...

— Разлюбила! разлюбила!—ныло и стонало во мнѣ сердце.—Но за что? какъ и почему? Кто у меня отнялъ ее?

Я подозрительно оглядывался на всѣхъ павловскихъ кавалеровъ Адели, пристально слѣдилъ за ея отношеніями съ ними, злился и ревновалъ ее къ каждому изъ нихъ, съ которымъ она бывала любезна; но вскорѣ увѣрился, что подозрѣнія мои были направлены совсѣмъ не по адресу.

Я зналъ, что многія павловскія дамы, молодыя и

старыя, и всего больше старыя, безъ ума отъ очаровательнаго Штрауса, надъ чѣмъ отчасти изъ зависти смѣялись мужчины. Зналъ я также, что и Адель большая его поклонница, но сперва видѣлъ въ этомъ чисто художественное, платоническое увлеченіе и никакъ не думалъ, чтобы знаменитый Іоганнъ сдѣлался моимъ соперникомъ.

Разъ послѣ какого-то спеціальнаго, благотворительнаго концерта поклонницы Штрауса устроили ему оваціо. Онѣ встрѣтили его въ вокзалѣ, когда онъ сходилъ съ эстрады, цѣлой гурьбой, съ изступленными криками и апплодисментами. Случаю было угодно, чтобы я сдѣлался свидѣтелемъ этой сцены. Я искалъ Адель и съ этой цѣлью зашелъ въ вокзалъ. Я нашелъ ее здѣсь, нашелъ для того, чтобы окончательно потерять. Я увидѣлъ ее какъ разъ въ ту патетическую минуту, когда она, выступивъ изъ гурьбы дамъ и отъ ихъ лица, вся трепетная, смущенная и восторженная, подносила предмету ихъ поклоненія роскошный букетъ цвѣтовъ. Она что-то сказала ему, застѣнчиво потупясь и краснѣя. Онъ галантно поклонился и слушалъ ее съ побѣдоносной усмѣшкой, потомъ, принявъ букетъ, развязно дотронулся до него губами съ афектированнымъ выраженіемъ поцѣлуя и фамильярно сталъ жать ея руки, разсыпаясь въ любезностяхъ. Съ тѣми же, какъ я былъ увѣренъ, заученными, пошлыми любезностями онъ адресовался къ остальнымъ своимъ поклонницамъ, всѣмъ имъ жалъ руки и всѣхъ дѣлалъ счастливыми однимъ своимъ прикосновеніемъ. Потомъ онъ поспѣшно взбѣжалъ на эстраду и тотчасъ съ тою-же приторной улыбкой возвратился съ

пукомъ нотныхъ тетрадокъ, которыя и сталъ раздавать ожидавшимъ его дамамъ. Онѣ, забывъ приличія, тѣснились около него, давя одна другую, и рвали ноты изъ его рукъ.

Сцена эта показалась мнѣ отвратительной, но всего противнѣе въ моихъ глазахъ былъ *онъ* самъ — герой этой оваціи, завитый и накрахмаленный, самодовольный и наглый идолъ этихъ обезумѣвшихъ и безстыдныхъ женщинъ. Злость и ревность душили меня. Я выждалъ, когда овація кончилась, и подошелъ къ моей невѣстѣ съ горѣвшими у меня на языкѣ ѣдкими сарказмами и упреками. Она шла, взволнованная и блаженная, съ пылавшими, влюбленными глазами и неловко прижимала къ груди, какъ сокровище, развернутую тетрадь съ нотами. Когда я мелькомъ взглянулъ на эту тетрадь, глаза мои рѣзанулъ ея вычурный, жирно отпечатанный заголовокъ: «Juristen-Walzer».

— Что это? Вы, словно аттестатъ за отличное поведеніе, пришпилили себѣ на грудь этотъ веселый вальсикъ?—сказалъ я съ дѣланнымъ беззаботнымъ смѣхомъ въ то время, какъ внутренно мнѣ хотѣлось разорвать въ клочки и растоптать ногами эту ненавистную тетрадку.

Адель безучастно обернулась на мои слова и ничего не сказала. Въ эту минуту она ничего не видѣла и не слышала, вся погруженная въ себя и во все то радостное, счастливое, обаятельное, что она сейчасъ только испытала и что наполняло все ея существо. Я это понялъ и—глаза у меня окончательно открылись.

— Да, да, она меня больше не любитъ! Я сталъ

для нея ничто!—говорилъ мнѣ внутренній голосъ; но какъ примириться съ такой страшной утратой, какъ вырвать изъ сердца вѣру въ счастье, которое еще вчера было *моимъ* безраздѣльно, казалось такимъ близкимъ и непреложнымъ?!

Послѣ долгихъ, мучительныхъ думъ и сомнѣній я рѣшился объясниться съ Аделью напрямикъ. Я поѣхалъ къ нимъ въ Павловскъ къ обѣду, желая найти минуту поговорить съ моей невѣстой наединѣ. Подходя къ ихъ дачѣ, я еще издали заслышалъ опять все тѣ-же раздражительно-нѣжныя, сладострастныя ноты, начинавшія приводить меня въ изступленіе. Это былъ «Юристенвальсъ», и я догадался, что его играетъ на роялѣ именно Адель, играетъ и, конечно, думаетъ объ его творцѣ.

Я засталъ Адель одну въ залѣ; она не слышала, какъ я вошелъ, но стала играть тише и, съ какой-то мечтательностью остановясь на одной томно-вибрирующей нотѣ, повторяла ее безъ конца. Я кашлянулъ; она вздрогнула и, выйдя какъ-бы изъ сладкаго забытья, недовольная тѣмъ, что я прервалъ его, встала изъ-за рояля и сухо встрѣтила меня. Я рѣшился воспользоваться нашимъ tête-à-tête и безъ предисловій поставилъ вопросъ о нашихъ отношеніяхъ, какъ говорится, ребромъ.

— Чего вы отъ меня хотите?—спросила она, выслушавъ меня, и насторожилась съ тѣмъ острымъ, холоднымъ выраженіемъ, съ которымъ человѣкъ при встрѣчѣ съ врагомъ готовится защищаться. Ей, очевидно, не понравилось, что я началъ этотъ ненужный, непріятный разговоръ, что я покушаюсь на ея независимость, на ея сердце.

— Я хочу знать, — отвѣтилъ я: — чего мнѣ ждать отъ васъ?

— Господи! чего ждать? Ничего!—пожала она плечами.

— Вы забыли, Адель, что мы вѣдь съ вами женихъ и невѣста... Я имѣю нѣкоторыя права... Вы сами мнѣ ихъ дали.

— Ну, дала, ну, и назадъ возьму, когда захочу... И къ чему вы теперь именно объ этомъ заговорили? Какъ это безтактно, какъ это грубо и жестоко!

— Я думалъ, что намъ необходимо объясниться, чтобы выйти изъ фальшиваго положенія...

— Зачѣмъ? Развѣ вы сами не видите, развѣ не понимаете, что мнѣ теперь не до васъ? Ну, это вы хотѣли отъ меня услышать? Такъ на-те!

— Адель, что съ вами?

— А я развѣ знаю? Я стала сама не своя, и, наконецъ, что бы со мною не сталось—не ваше дѣло...

— Вы полюбили другаго?

— Ахъ, оставьте вы меня! оставьте меня!—раздраженно крикнула она и, залившись слезами, выбѣжала изъ комнаты.

Въ тотъ же день вечеромъ судьбѣ было угодно, чтобы я все узналъ и чтобы мои отношенія съ Аделью окончательно порвались. Мы отправились по обыкновенію «на музыку» цѣлымъ обществомъ. Я шелъ сзади всѣхъ и вдругъ увидѣлъ, что Адель, вынимая платокъ изъ кармана, выронила какой-то пакетикъ. Потери этой ни она и никто другой не замѣтили. Я поднялъ пакетикъ, взглянулъ на него и—ножомъ въ сердце кольнула

меня его надпись. Это былъ по-французски написанный адресъ обольстительнаго Штрауса.

— Такъ вотъ какъ далеко зашла уже эта исторія!— съ болью и отчаяньемъ подумалъ я.

Пакетъ жегъ мнѣ руку, какъ раскаленный уголь. Нужно было его возвратить, но я не возвратилъ. Что-то сильнѣе стыда и моей воли толкало меня сдѣлать подлость — распечатать пакетъ и узнать ея тайну. Я отсталъ нарочно отъ нашей компаніи, сѣлъ на скамейку и, какъ воръ, дрожавшими руками вскрылъ пакетъ и, едва переводя дыханіе отъ волненія, быстро пробѣжалъ письмо.

Это было наивное, институтски-восторженное признаніе въ любви, въ обоготвореніи «великаго, несравненнаго артиста»...

Едва я прочиталъ письмо и вышелъ на аллею, какъ на встрѣчу мнѣ показалась Адель. Она запыхалась отъ торопливой ходьбы, была блѣдна и до смерти встревожена.

— Вы нашли?—спросила она меня прерывистымъ, упавшимъ голосомъ.

Какой-то бѣсъ подзадорилъ меня побравировать передъ нею, поломаться моей гнусностью.

— Да, нашелъ... Вы очень неосторожны, chère Адель... Такіе документики нельзя ронять по дорогѣ... А документикъ прелюбопытный! Возвращаю вамъ его по принадлежности и прошу простить мою маленькую нескромность: я прочиталъ его... У васъ очень милое и бойкое перышко!—и съ этими словами я развязно подалъ ей распечатанный пакетикъ.

По ея лицу разлилась краска, глаза засверкали гнѣвомъ.

— Какъ вы смѣли это сдѣлать!—крикнула она, взявъ пакетъ.—Вѣдь это низко, это подло...

— Потому-то я и прошу у васъ прощенія.

— Вы—гадкій человѣкъ... Я васъ ненавижу! Слышите?—ненавижу, ненавижу!

Сказала она это съ такой страстностью, съ такой гнѣвной силой и съ такимъ ко мнѣ отвращеніемъ, что я и теперь, вспоминая эту минуту, невольно краснѣю.

Она убѣжала, а я остался—убитый, раздавленный, уничтоженный. Больше я не могъ крѣпиться: я бросился въ кусты, упалъ на землю и зарыдалъ.

Такъ кончился мой романъ.

Прошло десять лѣтъ, въ теченіе которыхъ я нигдѣ не встрѣчалъ Адели, но какъ-то случайно мы сошлись. Я нашелъ ее замужемъ, матерью семейства. Стали вспоминать старину.

— Послушайте однако,—сказала она между прочимъ:—вѣдь вы, чай, остались при убѣжденіи, что у меня тогда... помните... завелась серьезная интрижка съ Штраусомъ... Не правда-ли? Дѣло давнее, и я вамъ скажу теперь откровенно: это былъ у меня капризъ; я писала письма очаровательному Іоганну, какъ писали ему ихъ всѣ поклонницы, но, знаете-ли,—онъ никогда не отвѣчалъ мнѣ, никогда мы не объяснялись лично, никогда мы не были знакомы, и, можетъ быть, онъ и самихъ писемъ моихъ не читалъ... А вы-то сдѣлали тогда изъ этого цѣлую драму... Молодость, молодость!

---

# „БѢДНАЯ ДАМОЧКА“.

## Словцо о досугѣ, вообще, и дамскомъ, въ частности.

— Куда дѣвать досадный, обременительный досугъ, котораго у насъ такая пропасть?—вотъ мучительный вопросъ, непрерывно снѣдающій, особенно лѣтомъ, на дачѣ, множество благополучныхъ петербуржцевъ и дѣлающій ихъ иногда совершенно несчастливыми.

Тянется этотъ долгій день, тянется, постылый, безъ конца, и—въ полномъ смыслѣ слова «проклятый вопросъ», какъ «убить» его сполна, остается чаще всего нерѣшеннымъ и открытымъ. Не колотиться-же, для развлеченія, головой объ стѣну и не плевать въ потолокъ на конкурсъ—кто выше плюнетъ, хотя, впрочемъ, изъ-за порожняго досуга, доведенные имъ до изступленія люди пускаются нерѣдко на штуки, несравненно менѣе невинныя и болѣе безразсудныя.

«Убивать» время занимательнымъ или, по крайней мѣрѣ, суетливо-утомительнымъ, систематизированнымъ бездѣльничествомъ, такъ, чтобы вовсе не оставалось промежутковъ для скуки, чтобы, притомъ, было прилично и изящно,—это, какъ извѣстно, цѣлая наука и весьма мудреная. Дается она только родовитымъ богатымъ праздно-любцамъ (и то далеко не всѣмъ), путемъ многосторонняго воспитанія, утонченнаго искусства и особой, строгой и отвѣтственной дисциплины. Ничего подобнаго такой солидной для бездѣльничества выправкѣ, разумѣется, нѣтъ у разночинной, малокультурной массы. Поэтому она въ значительномъ числѣ случаевъ совершенно безпомощна справиться съ такой ужасной напастью, какъ досугъ, и безъ всякаго толка и вкуса либо томится въ идіотической скукѣ, либо разрѣшается зазорными и нелѣпыми поступками. Здѣсь-то, въ сущности, гнѣздится источникъ многихъ и многихъ изъяновъ и пятенъ нашего личнаго, семейнаго и общественнаго поведенія, столь огорчающихъ моралиста.

Надо сказать, что свободнаго, вольнаго времени большой избытокъ у множества петербуржцевъ. Быть можетъ, нѣтъ другого города на свѣтѣ, столь изобилующаго, какъ Петербургъ, досужими и совершенно праздными существованіями всякаго сорта. Есть огромный классъ столичныхъ обывателей обоего пола, которые, по термину полицейской справочной статистики, ровно ничего не дѣлаютъ, какъ только «живутъ своимъ капиталомъ». На самомъ дѣлѣ, только нѣкоторая часть этой группы состоитъ изъ дѣйствительныхъ капиталистовъ, занимающихся отрѣзываніемъ купоновъ и ихъ проживаніемъ; у

остальныхъ-же ея представителей ровно никакихъ капиталовъ нѣтъ, если не считать таковыми разныхъ натуральныхъ и благопріобрѣтенныхъ статей, качествъ и талантовъ паразитнаго свойства, дивидендомъ съ которыхъ они и живутъ, живутъ иногда очень недурно. Столичное распутство, съ его расточительными прихотями и затѣями, создало въ этомъ родѣ цѣлый рядъ прочныхъ, спеціальныхъ амплуа и профессій, политично маскируемыхъ для сторонняго глаза, въ угоду чопорной общественной морали, растяжимымъ терминомъ: «живутъ своимъ капиталомъ...».

Но кто особенно страдаетъ отъ досуга и деморализуется имъ, такъ это наши барышни и барыни.

Все такъ сложилось, что наша интеллигентная дама обречена на пытку бездѣлья. Побаловали ее, было, «курсами» и перспективами широкой общественной дѣятельности, но потомъ вдругъ какъ-то оказалось, что она ни для этихъ курсовъ, ни для этой дѣятельности еще «не созрѣла», а потому и рѣшено погодить со всѣмъ этимъ...

„Бѣдная дамочка я!..“—

вспоминается мнѣ рефренъ одного стараго, чувствительнаго романса, и, когда я смотрю, напр., лѣтомъ, на изнывающихъ въ скукѣ, тоскѣ и бездѣльѣ прелестныхъ дачницъ, «опершихся на балконъ», мнѣ невольно чудится, что каждая изъ нихъ хочетъ изъ глубины сердца, со стономъ проскандировать:

„Бѣдная дамочка я!“

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, бѣдная. Въ то время, какъ у петербургскаго интеллигента-мужчины имѣется какое ни

на есть дѣло или служба, ежедневно заполняющія у него нѣсколько часовъ, имѣются выпивка и винтъ, имѣется, наконецъ, «Аркадія» съ ея увеселительными наркотиками,—«бѣдная дамочка» на дачѣ обречена непроходимой, хронической тоскѣ. Вѣдь и ей до тошноты пріѣлись и эта казенная прогулка въ «роскошномъ паркѣ» или около озера, «въ родѣ швейцарскаго», и эти пошлые сосѣди, и эта надоѣдливая шарманка, и этотъ ярмарочный «любимецъ публики» въ мѣстномъ театрѣ, и самъ, наконецъ, супругъ, съ его придирчивостью и брюзжаньемъ... Счастлива она, если Богъ послалъ ей дѣтокъ, и она вся, съ самоотверженіемъ материнской любви, отдалась имъ, живетъ ихъ жизнью, дышетъ ихъ дыханіемъ, улыбается ихъ улыбкой.

Но когда дѣтей нѣтъ, когда сердце холодно и пусто, когда увялъ подвѣнечный вѣнокъ и даже тотъ, кому ты дала его смять, представляется тебѣ, если не совершенно постылымъ, стороннимъ человѣкомъ, то какой-то, во всякомъ случаѣ, брюзгливой, мелочной, истощенной дрянью,—что тогда? Не вправѣ-ли ты съ болью сердечной пѣть:

«Бѣдная дамочка я!».

Но, вѣдь, однимъ нытьемъ и пѣніемъ чувствительныхъ романсовъ женская драма этого сорта разрѣшиться не можетъ. Назрѣвшій дамскій протестъ противъ пошляка-мужа, противъ пустой, нелѣпой жизни, въ рамкѣ мѣщанскаго счастья, противъ этого, особливо, казеннаго блаженства на дачѣ, съ дачными постылыми развлеченіями,—долженъ, въ концѣ концовъ, разрѣшиться чѣмъ-нибудь героическимъ или безобразнымъ...

Какъ это разрѣшается заурядъ, въ большинствѣ случаевъ,—позвольте разсказать вамъ нижеслѣдующій анекдотъ.

---

## «Дамочка» чувствуетъ себя плохо оцѣненной.

---

Софья Львовна занималась своимъ утреннимъ туалетомъ. Она только что выкупалась и чувствовала пріятную, бодрящую свѣжесть во всемъ тѣлѣ. Ея влажные волосы блестѣли. Они были уже причесаны; оставалось только подвить челку и для этого горничная ушла на кухню разогрѣть щипцы.

Въ ожиданіи этой операціи, Софья Львовна дѣлала то, что дѣлаетъ каждая хорошенькая женщина наединѣ передъ зеркаломъ:—она смотрѣлась въ него и любовалась собой. Да, она вправѣ назваться хорошенькой и въ ней есть на что посмотрѣть съ восхищеніемъ! Она можетъ сказать себѣ это по чистой совѣсти.

Развѣ не прелесть эта, напримѣръ, рельефно отразившаяся въ туалетномъ зеркалѣ, стройная, гибкая талія, свободно и ловко обхваченная красивымъ, щегольскимъ корсетомъ? А эти изящно округленныя, обнаженныя въ эту минуту, руки, какъ шелковинками, тонко перехваченныя въ суставахъ, съ атласной кожей цвѣта неснятаго молока, съ прелестными продолговатыми кистями? А эта пышная, упругая грудь, эти нѣжно очерченныя плечи съ восхитительными ямочками — «гнѣздами аму-

ровъ», оттѣненными голубовато-розовымъ отливомъ? Все это очаровательно безъ всякаго сомнѣнія, какъ не менѣе очаровательны и этотъ свѣжій пунцовый ротикъ, со сверкающими въ его разрѣзѣ перламутовыми зубками, и этотъ тонкій кокетливый носикъ, и эти выразительные, съ влажнымъ блескомъ, сѣро-голубые глаза, съ глубокими зрачками, загадочно и плѣнительно мерцающими изъ-подъ темныхъ рѣсницъ...

Положительно, она бабенка—заглядѣнье! Не красавица, положимъ, но неотразимо мила: — свѣжа, молода, здорова, полна жизни и обольстительности... Какое блаженство, какой рай можно дать другому и самой испытать съ этакими сокровищами!

Мгновенно охваченная, при этой мысли, неизъяснимо сладкимъ, томительнымъ, волненіемъ, Софья Львовна отбросилась на спинку кресла, закинула руки и, положивъ на скрещенныя пальцы свою граціозную головку, зажмурилась и замечталась. Въ эту минуту она была безъ памяти влюблена въ самую себя, хотѣла, чтобы ее также восторженно любили, и мысленно искала, избирала, звала желаннаго...

— Соничка, я ѣду въ городъ, на службу, и пришелъ съ тобой проститься!

Вотъ онъ, желанный, легокъ на поминѣ!

Какъ-бы внезапно испуганная, рѣзко и непріятно, молодая женщина вздрогнула и сразу очнулась отъ осѣнившей ее обаятельной, страстной грезы. Передъ нею стоялъ мужъ, и — уже одинъ его голосъ, показавшійся ей въ эту минуту какимъ-то шепелявымъ и склизкимъ,

всю ее обдалъ холодомъ, оскорбилъ своими деревянными нотами самодовольнаго безстрастія и безучастія.

— Какъ онъ, во-первыхъ, смѣлъ сюда войти безъ спроса?—совсѣмъ неожиданно для себя подумала съ досадой Софья Львовна, никогда до этой минуты не возбуждавшая такого вопроса.

Не то, чтобы ей сдѣлалось стыдно оттого, что мужъ засталъ ее полуодѣтой—нѣтъ! Женщина въ такихъ положеніяхъ стыдится мужа только тогда, когда еще хочетъ ему нравиться, когда романъ у нихъ еще не захлопнутъ на послѣдней страницѣ охлаждающею и разочаровывающею супружеской интимностью съ ея пресыщеніемъ.

Софью Львовну возмутила безцеремонность мужа, потому что она въ эту минуту съ особенной остротой и очевидностью почувствовала въ немъ совершенно чужого внутренне для нея человѣка, почти врага.

Вѣдь, не онъ тотъ желанный, кого она сейчасъ въ сладкомъ забытьѣ призывала, кому мысленно простирала свои горячія объятія и, восхищенная собственной красотой и молодой пылкостью, сулила несказанное блаженство! Какъ-же смѣлъ онъ съ такой неделикатностью нарушить ея завѣтныя мечты и словно-бы ворваться въ ея маленькій, тайный, въ глубинѣ сердца храмъ какъ разъ въ ту минуту, когда въ немъ свершалось стыдливое жертвоприношеніе? Тамъ ему нѣтъ мѣста, никогда не будетъ, да никогда и не было...

— Какъ смѣлъ?.. Онъ—мужъ!—съ горечью и гнѣвнымъ протестомъ сообразила про себя Софья Львовна.

Она вся вспыхнула, представивъ себѣ возмутитель-

ность своего положенія, когда человѣкъ, можетъ быть, гадкій для нея и ненавистный, потому только, что зовется ея мужемъ, вправѣ быть съ нею грубымъ и безстыднымъ, можетъ, когда вздумаетъ, лѣзть къ ней со своими любезностями и свинствами, можетъ безпрекословно требовать отъ нея вниманія, ласки и раболѣпной покорности своимъ капризамъ, и все это съ глупѣйшимъ аппломбомъ какого-то, якобы самимъ Богомъ уполномоченнаго, властителя, не подозрѣвающаго даже, въ какой степени его права и его власть произвольны, искусственны и безнравственны.

— Тебѣ не нужно-ли чего въ городѣ, моя милая?— спросилъ все тѣмъ-же безучастнымъ, шепелявымъ и склизкимъ голосомъ Иванъ Ивановичъ, какъ звали мужа нашей героини, вовсе не замѣчая волненія жены и ея смущенія.

Софья Львовна подняла на него глаза. Все такой-же, какъ всегда:—наружно чистенькій, съ безупречными воротничками и манжетами, приставлявшимися ежедневно къ неснимаемой цѣлую недѣлю, заношенной рубахѣ, изъ скаредной экономіи; гладко выстриженный для маскировки ощутительной плѣши на глянцевитомъ черепѣ, съ подкрашенной бородою; сухой и длинный, съ длинными кистями рукъ, оканчивавшимися некрасивыми узловатыми пальцами, съ плоскими ногтями; отмѣнно приличный въ своемъ изящномъ вицъ-мундирѣ, съ дѣловымъ выраженіемъ на безцвѣтномъ гемороидальномъ лицѣ, и, какъ всегда, пахнетъ отъ него, особенно по утрамъ, дешевымъ одеколономъ, смѣшаннымъ съ прѣлымъ букетомъ дешевой сигарки. Поцѣлуй его отврати-

теленъ для женщины съ тонкимъ обоняніемъ, какимъ обладала Софья Львовна.

— Чѣмъ не мужъ? — саркастически закончила она свой критичискій обзоръ фигуры супруга, и на его вопросъ громко отвѣтила:

— Merçi, мнѣ ничего не нужно!

— Въ такомъ случаѣ до свиданья, моя крошка!— и Иванъ Ивановичъ напечатлѣлъ холодный супружескій поцѣлуй на мраморномъ лобикѣ жены, не подозрѣвая—какой онъ скорбный въ эту минуту и какія подъ нимъ клокочатъ нелестныя для него, опасныя, революціонныя мысли.

— Я буду дома въ пять часовъ, какъ всегда! —сказалъ онъ уходя, своимъ невозмутимо-ровнымъ голосомъ.

Софья Львовна взглянула вслѣдъ ему, взглянула потомъ на себя въ зеркало и ненависть къ мужу пуще заклокотала въ ней.

Ну, не чурбанъ-ли осиновый, если онъ могъ не замѣтить, какъ она обольстительно хороша въ эту минуту, если онъ могъ видѣть эти чудныя плечи, эту лебяжью шейку, эту очаровательную талію, это одушевленное страстнымъ томленіемъ личико, такое бойкое и вызывающее, и—остаться къ нимъ деревянно равнодушнымъ?!

Такова женщина! Безъ сомнѣнія, Софья Львовна была-бы крайне непріятно афраппирована, если-бы нелюбимый, постылый мужъ, прельщенный ея красотою, пустился нѣжничать съ нею и любезничать; но теперь она еще болѣе была озлоблена и оскорблена тѣмъ, что онъ остался равнодушенъ къ ея прелестямъ и не за-

мѣтилъ, что въ данную минуту она была очаровательнѣе, чѣмъ когда-нибудь... Этого она ему не могла простить!

---

## «Дамочка» спохватывается, что она еще не жила.

---

Уже не съ сегодняшняго дня Софья Львовна—сама не своя отъ смущающихъ ее сомнѣній и вопросовъ, и просто отъ волненія горячей, молодой крови. Особенно часто сталъ одолѣвать ее этотъ неясный, мучительно-сладкій кошмаръ на дачѣ, гдѣ она по цѣлымъ днямъ остается одна, съ безконечнымъ досугомъ, предоставленная совершенно безпомощно власти скуки и праздной необузданной мечты.

Уже восьмой годъ, какъ она замужемъ. Дѣтей у нея, къ сожалѣнію, нѣтъ и не было. Тѣмъ не менѣе, ей многія женщины завидуютъ и считаютъ ее счастливой. Ея мужъ въ общемъ мнѣніи—прекрасный человѣкъ, видный человѣкъ, съ положеніемъ и блестящей будущностью. Онъ слыветъ еще за молодого человѣка, хотя ему уже за сорокъ, и въ томъ служебномъ міркѣ, гдѣ онъ вращается, на него смотрятъ, какъ на грядущую звѣзду.

Отчего-же онъ такъ антипатиченъ, такъ противенъ ей, Софьѣ Львовнѣ?

Въ ту минуту, какъ возвратившаяся горничная стала ей ловкими спорыми руками завивать кудерки на челкѣ, Софья Львовна вся ушла въ воспоминанія:—какъ и почему вышла она замужъ за своего Ивана Ивановича?

Никогда она не чувствовала къ нему особеннаго влеченія. Въ дѣвичествѣ кружилось за ней много молодыхъ людей, но почему изъ всѣхъ нихъ она безъ разсужденій отдала руку Ивану Ивановичу—она не могла себѣ отдать отчета. Уже и тогда она знала, что вовсе не потому, чтобы онъ больше всѣхъ ей нравился и чтобы онъ овладѣлъ ея сердцемъ. Были юноши, въ числѣ ея кавалеровъ на балахъ и семейныхъ вечерахъ, которыхъ она предпочитала во всѣхъ отношеніяхъ. Ивану Ивановичу она досталась просто потому, что онъ *первый* ангажировалъ ее на ту пожизненную, съ безконечными фигурами, мазурку, которая называется бракомъ. И ея родные и она сама нашли, что партія эта «приличная», которую не слѣдуетъ упускать.

Разсчеты въ этомъ отношеніи вполнѣ оправдались. Во-первыхъ, самъ Иванъ Ивановичъ оказался безупречно приличнымъ человѣкомъ, котораго рѣшительно не въ чемъ было упрекнуть. Если онъ дѣлалъ иногда свинства, то не иначе, какъ въ самой утонченной формѣ и, къ тому-жъ, съ простодушной увѣренностью, что онъ поступаетъ благородно и прекрасно. Всякія укоризны отъ него отскакивали, какъ горохъ отъ стѣны. Потомъ, что̀ въ жизни очень важно, онъ былъ превосходно обставленъ матеріально:—онъ получалъ хорошее жалованье, которое постепенно, по мѣрѣ его служебнаго движенія, увеличивалось, и, кромѣ того, имѣлъ порядочный доходъ съ не совсѣмъ еще оскудѣвшей вотчины, которую онъ могъ-бы, еслибы хотѣлъ и имѣлъ нужду, чрезвычайно выгодно заложить въ дворянскомъ банкѣ.

Согласитесь, что все это первостепенной важности

условія для счастливаго супружества, и Софья Львовна потому только фыркала на свое положеніе, что не имѣла понятія о нуждѣ и бѣдности.

Любилъ-ли ее Иванъ Ивановичъ?—Съ омерзеніемъ вспоминала она въ эту минуту его ласки, всегда какія то гигіенически разсудительныя, казенныя и вялыя... Никогда онъ не впадалъ въ восторгъ самозабвенія, котораго она всегда такъ жаждала, не сознавая даже съ ясностью—въ чемъ такой восторгъ долженъ заключаться?

О, конечно, онъ ее любилъ:—угождалъ ей всѣмъ, чѣмъ только могъ и умѣлъ, былъ ей безусловно вѣренъ, гордился ею, ея красотой, ея костюмомъ, ея изысканнымъ тономъ, если имъ случалось бывать въ обществѣ. Но въ этомъ вниманіи, въ этой любви, она стала въ послѣднее время подозрѣвать безсердечный эгоизмъ и то мелкое, суетное тщеславіе, съ какимъ пустые честолюбивые люди щеголяютъ драгоцѣннымъ брилліантовымъ перстнемъ, великолѣпной скаковой лошадью, дорогой породистой собакой или же красивой изящной женщиной—женою-ли, или любовницей...

Никогда она не забудетъ того почетнаго позора, какому однажды подвергъ ее Иванъ Ивановичъ, отправившись съ нею на царскосельскія скачки и выставивъ ее въ ложѣ ипподрома, нарочно, какъ она была въ томъ увѣрена, изъ презрѣннаго хлыщеватаго тщеславія, на зависть и наглое любованье своимъ пріятелямъ-спортсменамъ, тупымъ, грубымъ и нахальнымъ, отъ которыхъ такъ омерзительно несло запахомъ конюшни и коньяка.

За семь лѣтъ супружества, капля по каплѣ, нако-

пилось въ душѣ Софьи Львовны этихъ ѣдкихъ сомнѣній и разочаровывающихъ очевидностей столько, что для какой-нибудь успокоительной иллюзіи не было больше мѣста. Предъ нею съ ужасающей наготою раскрывалась гнусная, постыдная истина, что она всѣ семь лѣтъ отдавалась человѣку, котораго ни капли не любила и не уважала, что она глупо и безплодно загубила лучшіе годы своей жизни, что она до сихъ поръ еще не жила, какъ нужно и какъ стоитъ жить, и что она должна во что-бы то ни стало, пока не поздно, пока не очерствѣло сердце и кровь не перестала играть въ жилахъ, взять у жизни все то, на что она имѣетъ неоспоримое право.

Горничная въ это время окончила завивку, Софья Львовна въ послѣдній разъ взглянула на себя въ зеркало и болѣе, чѣмъ когда-нибудь увѣренная въ себѣ, въ томъ, что она хороша и что ея красота не можетъ, не должна увять въ тѣсной рамкѣ кисло-сладкаго супружескаго благонравія, поспѣшно одѣлась и вышла на балконъ своей дачи.

---

## «Дамочка» перестаетъ скучать.

— Скажите пожалуйста, зачѣмъ вы являетесь постоянно тогда, именно, когда мужа моего нѣтъ дома?— не болѣе, какъ черезъ полчаса спрашивала холодно и жестко Софья Львовна представшаго передъ нею гостя.

— Если хотите, изъ состраданія,—отвѣтилъ онъ съ небрежной искренностью.

— Кто-же васъ объ этомъ просилъ?

— Да чего вы волнуетесь, барынька? Ежели угодно, я сейчасъ-же испарюсь... Легче, вѣдь, вамъ отъ этого не станетъ. И зачѣмъ вы прикрываетесь мужемъ?

— Странный вопросъ!

— Нисколько не странный! Впрочемъ, что и говорить: мужъ у васъ прекрасный, образцовый для того, чтобы блаженно умереть съ нимъ отъ скуки... только успокойтесь—не скоропостижно, нѣтъ! а этакъ послѣ пятидесяти лѣтъ счастливаго супружества.

— Чего-же лучше?

— Хорошо, только не для васъ, сударыня!

— Почему-же?

— А потому, что вы и жить и грѣшить хотите. И сознайтесь—за одинъ добрый грѣшокъ, такой, чтобы до обморока закружилъ вамъ головку, вы отдадите не только пятьдесятъ, а и сто лѣтъ супружескаго счастья по вышепрописанному рецепту.

— Ужъ не воображаете-ли вы себя діаволомъ-искусителемъ?

— Ахъ, si vieillesse pouvait!

Въ самомъ дѣлѣ, въ искусители онъ не годился. Это былъ мужчина лѣтъ подъ пятьдесятъ, съ густой просѣдью въ русыхъ бородѣ и волосахъ, согбенный и изможденный бурнымъ прошлымъ, но въ его красивыхъ, карихъ глазахъ сверкалъ огонь не потухшихъ еще страстей. Онъ былъ очень друженъ съ Иваномъ Ивановичемъ, оказывалъ ему много существенныхъ услугъ и въ то-же время усердно ухаживалъ за его женою, нисколько

невозбуждая въ немъ ревности. Звали его Аполлономъ Петровичемъ.

— Дать вамъ все то, чего вы хотите и на что имѣете право по своей молодости и свѣжести, я, конечно, не могу и не въ состояніи,—говорилъ Аполлонъ Петровичъ:—но, если-бы вамъ понадобился преданный, безъ памяти любящій васъ менторъ, готовый на всякія вамъ услуги и въ то-же время опытный, вѣрный и проницательный, лучшаго, какъ я, вы не могли-бы найти.

— Это менторъ-то въ грѣхопаденіи?—весело засмѣялась Софья Львовна.—Покорно благодарю!

— Не смѣйтесь... И грѣшить надо умненько, чтобы соблюсти себя и оставить за собой корабли, а не жечь ихъ безразсудно. Предоставленная самой себѣ молодость этого не умѣетъ.

— Эхъ, вы не понимаете!—съ беззавѣтной удалью воскликнула Софья Львовна.—Губить себя явно, завѣдомо, для сладкаго грѣха, для любимаго человѣка, котораго нельзя и запрещено любить,—да что-же можетъ быть восхитительнѣе этого на свѣтѣ! Подите вы со своимъ мудрымъ менторствомъ, за которое, конечно, вы потребуете извѣстной платы... Знаю я васъ!

— Максъ!—непроизвольно, въ порывѣ хлынувшей вдругъ въ сердце радости, воскликнула молодая женщина и бросилась къ балюстрадѣ балкона.

Тамъ, съ улицы доносился топотъ лошадиныхъ копытъ. Передъ калиткой въ садъ показался всадникъ—молодой, свѣженькій, розовый офицерикъ въ дѣвственно-бѣломъ кителѣ. Онъ ловко соскочилъ съ лошади, при-

вязалъ ее поводомъ къ садовой рѣшеткѣ, вошелъ въ садъ и быстро взбѣжалъ, звеня шпорами, на балконъ.

— Рекомендую—мой кузенъ, Максимъ Семеновичъ Шаскольцевъ!—вся просіявшая отъ неудержимаго удовольствія, представила Софья Львовна молодого человѣка степенному и хмурому Аполлону Петровичу.

Офицерикъ былъ не менѣе счастливъ и собою, и прелестной кузиной, и пріятной погодой, и лестнымъ знакомствомъ съ Аполлономъ Петровичемъ, и своимъ свѣжимъ, съ иголочки, кителемъ, и своими звонкими шпорами, которыми онъ молодцовато щелкалъ при всякомъ движеніи.

—Ну, я здѣсь пока лишній!—съ досадой подумалъ Аполлонъ Петровичъ и сталъ искать глазами своей шляпы.

* * *

Не замѣтили-ли вы, господа, что обыкновенно, чуть гдѣ-нибудь окажется «бѣдная дамочка», неудовлетворенная семейнымъ очагомъ, несчастливая и скучающая, какъ тотчасъ-же, словно мухи на медъ, не вѣсть откуда являются утѣшать ее, съ одной стороны, разсудительные, многоопытные ветераны куртизантства—Аполлоны Петровичи, а съ другой, юные, розовые, но предпріимчивые и шустрые Фридолины, въ родѣ вышеизображеннаго офицерика?

Такова ужъ судьба, какъ говоритъ опереточная прекрасная Елена.

# АКТРИСА.

(Разсказъ стараго театрала).

---

Я зазналъ Маріанну Павловну Жемчугину, «нашу извѣстную любимицу публики», какъ ее потомъ величали, когда она еще не была ни «любимицей», ни знаменитостью, и когда ее звали не Маріанной, а Матреной и не Жемчугиной, а—Вертихвостовой.

Была она, какъ тысячи ей подобныхъ дочерей «бѣдныхъ, но благородныхъ родителей», барышня, ни къ какому дѣлу неподготовленная, безъ опредѣленнаго положенія и съ неопредѣленными мечтами на будущее, что авось волшебница-бабка наворожитъ ей жениха, какого-нибудь сказочнаго красавца и богача, который подставитъ ей руку кренделемъ и поведетъ ее, на законномъ основаніи, подъ торжественный звукъ «Исайе ликуй!» въ свой «чертогъ златой», и станетъ она заниматься любовью, нарядами, танцами и пріятной конверсаціей въ свѣтскомъ обществѣ, и заживетъ благо-

получно барыней. Дальше этого и ни въ какую другую сторону ея дѣвическіе разсчеты и надежды не простирались.

Но такъ какъ, къ сожалѣнію, мечтанія эти не осуществлялись и желанный женихъ слишкомъ долго заставлялъ себя ждать, то Маріаннѣ Павловнѣ настояла необходимость промыслить самой объ устройствѣ своей судьбы. На помощь ей пришелъ, всегда готовый къ услугамъ для избранниковъ фортуны, простой случай.

Никогда она не воображала себя актрисой и никогда не думала быть ею. Долго артистическая карьера даже отталкивала ее отъ себя и пугала. Случай и нужда, самая прозаическая нужда въ пропитаніи, толкнули ее на путь этой карьеры. Выбирать было не изъ чего, да и сценическое поприще у насъ тѣмъ хорошо, что идти на него можно, ровно ничего не имѣя за душой—ни образованія, ни знаній, ни подготовки.

Чтобы сдѣлаться швеей, кухаркой, прачкой, не говоря уже о высшихъ профессіяхъ женскаго труда, нужны извѣстныя способности, сноровка, опытъ. Поступить-же на сцену, и даже съ успѣхомъ, можно безъ всякаго въ этомъ отношеніи ценза,—были-бы только у дебютантки, такъ называемыя театральной критикой, «средства», т. е. натуральныя, Богомъ данныя качества, какъ-то: смазливое личико, статное тѣлосложеніе, хорошенькія ручки, стройныя ножки, пріятный голосокъ, даръ слова и, врожденный почти въ каждой женщинѣ, даръ всю эту свою «движимость» кокетливо показать... И больше ничего!

Не мудренъ, кажется, этотъ сводъ требованій и,

однако-жъ, сколько у насъ есть «знаменитостей», которыя даже на оныя отвѣтить сполна не въ состояніи! Сколько на моей памяти было «знаменитыхъ» уродовъ съ слоновьими лапами, съ дюжими руками ломовыхъ извозчиковъ, съ ужасными пастями отъ уха до уха, съ мелодическимъ органомъ музыкальной бѣлуги, и—мы ими восторгались!

У Маріанны Павловны были «средства» и она скоро смекнула, что при такомъ инвентарѣ сценическая дѣятельность—кладъ!

У цѣломудренной, скромной женщины—не артистки всѣ эти драгоцѣнные дары природы дѣлаются единоличнымъ достояніемъ избраннаго ею мужа, красятъ ея узенькій семейный очагъ и, слѣдовательно, совершенно пропадаютъ для «общества», на публичномъ рынкѣ живой женской красоты, на которую курсъ всегда «крѣпокъ»... Это глупо.

Маріанна Павловна разсудила, что если судьба не купила ея «средствъ» по достаточно высокой цѣнѣ для осчастливленія какого-нибудь одного тароватаго жениха-богача, то теперь она сама станетъ продавать ихъ раздробительно толпѣ, со сцены,—и въ убыткѣ не будетъ, да еще съ тою выгодой, что въ ея власти никому не давать исключительнаго права владѣнія собой.

Принадлежать толпѣ—значитъ, въ сущности, никому не принадлежать. Пусть эта толпа воспламеняется плотоядными вожделѣніями при видѣ ея обнаженныхъ, круглыхъ, мраморныхъ плечъ, пусть она замираетъ отъ сластолюбиваго предвкушенія, какъ эти прелестныя руки, съ длинными, лилейными кистями, могли-бы упасть на

плечи счастливца, конвульсивно скреститься вокругъ его шеи и прижать его къ трепетной, антично-прекрасной груди, пусть она шалѣетъ и неистовствуетъ, когда это стройное тѣло, съ едва скрадываемыми туникой, красиво-выпуклыми формами, раскинется, по ходу роли, въ вызывающей, безстыдной позѣ на сценѣ... Пусть! Маріаннѣ Павловнѣ это только и нужно, но, затѣмъ, это ее ровно ни къ чему не обязываетъ болѣе того, что она даетъ, какъ «артистка». Упалъ занавѣсъ и—всякія обязательства ея къ публикѣ окончились. Она разбудила звѣря въ этой ревущей, изступленной толпѣ,—что-жъ?—значитъ, она не глупо ведетъ свой промыселъ, высоко держитъ курсъ на свои «средства» и умѣло пользуется своимъ маленькимъ успѣхомъ.

Осмѣлится-ли кто-нибудь сказать, что это успѣхъ не таланта и не искусства, а дерзкаго, зазорнаго соблазна женской прелести, приспособленной, ради благовиднаго предлога, къ драматургіи?

Во-первыхъ, въ такой разборчивый анализъ очень немногіе способны вдаваться, а, во-вторыхъ, когда кто-нибудь рѣшался дѣлать въ этомъ смыслѣ выразительные намеки Маріаннѣ Павловнѣ, она, въ такихъ случаяхъ, принимала величественную позу королевы и съ горделивымъ достоинствомъ отвѣчала:

— Я—артистка, но можно быть артисткой и въ тоже время добродѣтельной женщиной.

И она, въ самомъ дѣлѣ, была, по-своему, добродѣтельна.

---

## II.

Случай, толкнувшій Маріанну Павловну на сцену, заключался въ томъ, что у нея былъ родственникъ артистъ, въ семействѣ котораго она жила въ отрочествѣ, сталкивалась съ актерской средой, освоилась съ театромъ и со сценой, приглядѣлась къ ихъ порядкамъ, обычаямъ и пріемамъ. Это была для нея, своего рода, школа, хотя очень ужъ импровизованная.

Когда ей стукнуло девятнадцать лѣтъ, а чаемаго жениха не являлось и положеніе ея на чужихъ хлѣбахъ изъ милости начинало становиться щекотливымъ, она заявила родственнику—артисту желаніе поступить на сцену.

Случилось это въ ту минуту, когда родственникъ былъ въ подпитіи, что съ нимъ случалось по вся дни почти, а иногда и по нѣсколько разъ въ день. Онъ тогда еще не совсѣмъ пропилъ свое дарованіе, зналъ толкъ въ искусствѣ, умѣлъ различать золото отъ мишуры и отличался, по праву «вольнаго художника», безграничной нецеремонностью языка, особенно, когда находился подъ парами.

Грубо и жестко встрѣтилъ онъ робкое заявленіе Маріанны Павловны.

— Ты въ актрисы? — вытаращилъ онъ на нее свои, воспламененные алкоголемъ, глаза, съ выраженіемъ уничтожающаго изумленія.

Маріанна Павловна подтвердила свое желаніе.

— Матрена, пощади! не огорчай родственника, не срами сѣдинъ его! Кто тебѣ сказалъ, что ты артистка? Ты—красивое дерево для мебели въ домашнемъ обиходѣ, ты—нюренбергская кукла, очень похожая на живую женщину, но совсѣмъ не женщина... Женщина!.. Знаешь-ли ты, что такое должна быть женщина-актриса?

Маріанна Павловна сослалась на извѣстныхъ ей артистокъ и выразила увѣренность, что она играла-бы не хуже ихъ.

— Да развѣ это актрисы?—съ трагическимъ сарказмомъ возразилъ родственникъ. — Это — ходячія вѣшалки для напяливаемыхъ на нихъ ролей, это—ученыя сороки, наметавшіяся передразнивать слова великихъ твореній искусства! И ты хочешь, чтобы я дошелъ до такой подлости, что взялъ-бы на свою совѣсть ангажементъ еще одной лишней такой сороки, такой вѣшалки? Матрена, «не искушай меня безъ нужды»! Никогда этого не будетъ, никогда!

Но у Маріанны Павловны въ характерѣ было одно драгоцѣнное свойство, которому она впослѣдствіи многимъ была обязана: настойчивое, чисто бабье упрямство. Какъ-бы ни казались, на сторонній глазъ, ея намѣренія и желанія несбыточными и нелѣпыми, сама она никогда отъ нихъ не отказывалась и, случалось, добивалась ихъ осуществленія, вопреки правдоподобію. Поэтому, спустя немного времени, она возобновила свою просьбу, чтобы родственникъ провелъ ее на сцену.

— Хочешь непремѣнно?—спросилъ онъ ее мрачно.

— Да,—застѣнчиво, но твердо отозвалась дѣвушка.

— Хорошо,—сказалъ родственникъ послѣ труднаго раздумья, — но только съ условіемъ. До сихъ поръ я въ тебѣ не вижу никакихъ актерскихъ задатковъ, но— почемъ знать? — можетъ быть, они таятся въ тебѣ, и нужно ихъ только вызвать. Такъ чтобы вызвать, тебѣ необходима своего рода школа. Если ты ее пройдешь и дарованіе въ тебѣ точно окажется, тогда—изволь — я поведу тебя на сцену! Школа будетъ такая, приблизительно: влюбись ты въ какого-нибудь отчаяннаго мерзавца, отдайся ему и пусть онъ тебя звѣрски бьетъ, тиранитъ и позоритъ; потомъ, пусть онъ увезетъ тебя съ собою куда-нибудь подальше, напримѣръ, въ среднюю Азію, и броситъ среди дороги въ ахалъ-текинской степи безъ денегъ, безъ дневного пропитанія и главное безъ паспорта. На прощанье онъ непремѣнно долженъ отлупить тебя до смерти нагайкой. Ты пойдешь назадъ домой пѣшкомъ, среди всякихъ невзгодъ и напастей; на пути тебя схватятъ, какъ безпаспортную бродягу, посадятъ въ острогъ и поведутъ на мѣстожительство по этапу. Возвращаешься ты къ намъ, послѣ длиннаго ряда испытаній, страданій и поруганій, съ разбереженными нервами, съ аневризмомъ, а еще лучше съ чахоткой... Ну, тогда мы посмотримъ—выработалась-ли изъ тебя женщина-артистка, способная чувствовать и передавать боренія страстей, трагическія положенія, удары судьбы? Надѣюсь, что выработается. Я знаю примѣры. Это—лучшая школа для актрисы...

Послѣ такого добраго родственнаго совѣта, съ пьяна преподаннаго, Маріанна Павловна больше не обраща, лась къ содѣйствію кузена. Она вскорѣ нашла другихъ-

болѣе сговорчивыхъ за себя ходатаевъ, при посредствѣ которыхъ мѣстный антрепренеръ (дѣло было въ одномъ губернскомъ городѣ) согласился дать ей дебютъ, да еще—ни много, ни мало — какъ въ «Маріи Стюартъ».

— Ты дебютируешь въ «Маріи Стюартъ»?!-съ мелодраматическимъ ужасомъ воскликнулъ родственникъ, когда Маріанна Павловна, съ торжествомъ и не безъ коварнаго умысла подразнить его, заявила ему о полученіи дебюта.

— Да, въ «Маріи Стюартъ» — не обезсудьте, дяденька!—лукаво потупивъ глазки, отвѣтила счастливая дѣвушка.

— Это невозможно! — волновался родственникъ.— Какъ ты себѣ хочешь, Матрена, но я до этого не допущу... Да что съ тобой разговаривать: чуть я только узнаю или—спаси Богъ!—самъ увижу, что ты осмѣлилась выступить въ этой отвѣтственной роли геніальнаго Шиллера, я тебя застрѣлю... убей меня Богъ, застрѣлю! Нарочно для этого куплю пистолетъ...

---

## III.

Не взирая на отчаянную угрозу родственника, Маріанна Павловна дебютировала и съ успѣхомъ, но что это былъ за успѣхъ и чего онъ ей стоилъ?

Каюсь, я самъ, вмѣстѣ съ другими театралами, былъ повиненъ въ грѣхѣ дутаго успѣха госпожи Вертихвостовой, превратившейся на афишкѣ въ Жемчугину, и до сихъ поръ, какъ вспомню, дивлюсь — откуда взялось

вдругъ у такой моледенькой, неопытной, наивной и порядочно таки глуповатой барышни (родственникъ безъ церемоніи называлъ ее дурой), столько практической ловкости и женской пронырливости, столько разсчетливаго кокетства и искусства лести! Всѣхъ, кого ей нужно было для обезпеченія успѣха за своимъ дебютомъ, она мастерски обошла, подмаслила, обворожила и поставила въ то, своего рода, «временно обязанное», по отношенію къ себѣ, положеніе, какое создается близкимъ знакомствомъ, галантерейностью, разными маленькими одолженіями.

— Да, конечно,—говорилъ тотъ или иной изъ «временно-обязанныхъ», послѣ того, какъ Маріанна Павловна выступила на сцену,—дарованія у нея немного, подготовки никакой и ужасная неразвитость; очевидно, она ни іоты не понимаетъ въ томъ, что играетъ, но, господа, она такая милая, такая прелестная и симпатичная... Надо поддержать!

— Всенепремѣнно,—подхватывалъ другой «временно-обязанный»,—и тѣмъ болѣе, господа, что она—дѣвушка бѣдная, сирота, безъ всякихъ средствъ...

— Ну, этого вы не говорите, чтобы безъ средствъ,—отзывался третій цѣнитель-каламбуристъ:—средства у mademoiselle Вертихвостовой есть и весьма недурныя... дай Богъ всякой... Талійка это, бюстикъ, рученки, глазки, а коса—замѣтили?—ниже пояса и что твой каскадъ волнистый... Своя-ли только?.. Нѣтъ, съ такими средствами умная женщина не останется сиротой и бѣдной назваться не можетъ!

Словомъ, всѣ, отъ кого зависитъ составленіе внѣш-

няго успѣха дебютантовъ, рѣшили, по тѣмъ или инымъ побужденіямъ и соображеніямъ, «поддержать» Маріанну Павловну и усердно дѣйствовали въ этомъ направленіи. Нѣкоторые изъ ея «временно-обязанныхъ» покровителей и друзей лѣзли изъ кожи и превосходили, какъ говорится, самихъ себя въ стараніи составить и муссировать ея успѣхъ. Особенно отличались въ этомъ отношеніи наши театральные Бобчинскіе и Добчинскіе, которыхъ, въ большемъ или меньшемъ числѣ экземпляровъ, всегда встрѣтите въ публикѣ любого театра. Это—одинъ изъ непремѣнныхъ и повсемѣстныхъ типовъ партера.

Богъ вѣсть, откуда взялись вдругъ и объявились пламенными театралами—изысканными цѣнителями искусства и покровителями талантовъ какіе-то присяжные повѣренные, нотаріусы, педагоги, поручики Кувшинниковы, студенты и просто не имѣющіе «опредѣленныхъ занятій» фланеры, которые взапуски пустились бѣгать «пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», ради подогрѣванія общественнаго мнѣнія въ пользу дебютовъ Маріанны Павловны.

Помню, сидѣлъ я утромъ у пріятеля — редактора одной изъ мѣстныхъ газетъ. Влетаетъ къ нему какой-то развязный брюнетъ съ зловѣщей физіономіей.

— Имѣю честь,—говоритъ,—представиться: я извѣстный ходатай по дѣламъ, преимущественно бракоразводнымъ, такой-то... Безъ сомнѣнія, мое имя вы хорошо знаете.

— Положимъ, вовсе не знаю,—отвѣчаетъ редакторъ.

— Какъ! Вы меня не знаете? Не можетъ быть!.. Это было-бы очень странно...

— Каюсь въ моемъ невѣжествѣ, но позвольте спросить—что вамъ угодно?

— А вотъ, изволите видѣть, я къ вамъ съ маленькимъ ходатайствомъ, только на этотъ разъ совершенно безкорыстнымъ. Я пришелъ просить васъ, чтобы вы оказали въ вашемъ органѣ просвѣщенное вниманіе одной милой, прекрасной дѣвушкѣ благороднаго семейства... Увѣряю васъ, я здѣсь ничѣмъ лично не заинтересованъ, какъ ходатай, и хлопочу исключительно изъ любви къ искусству и изъ участія къ молодому, начинающему таланту... Талантъ, я вамъ скажу, замѣчательный!

— Кто-же эта дѣвушка?

— Госпожа Жемчугина... слыхали? Это ея псевдонимъ, не безъизвѣстный, впрочемъ, въ печати. Она въ пятницу дебютируетъ на нашей сценѣ, такъ вотъ я и пришелъ васъ просить, чтобы вы послали вашего театральнаго критика—пусть онъ дебютъ этотъ поподробнѣе опишетъ... Пожалуйста, вы мнѣ сдѣлаете большое одолженіе!

— Напрасная просьба: то, что вы желаете, въ видѣ какого-то одолженія, было-бы сдѣлано у насъ само собой, по заведенному порядку.

— Благодарю васъ!—съ чувствомъ пожалъ руку редактора расторопный гость.—И будьте такъ любезны,—продолжалъ онъ,—внушите вашему критику... я знаю, господа эти любятъ придираться... внушите, чтобы онъ отнесся посочувственнѣе къ нашей дебютанкѣ, поделикатнѣе эдакъ ..

— Безъ сомнѣнія,—возразилъ редакторъ, — отзывъ будетъ данъ безпристрастный и справедливый.

— Э, справедливый! Знаю я эту справедливость... Нѣтъ, вы ужъ обѣщайте мнѣ поддержать Жемчугину, не поскупиться на поощренія и похвалы молодому дарованію... Пожалуйста! Что вамъ это стоитъ?

— На какомъ основаніи вы объ этомъ просите и чего ради мы непремѣнно должны заранѣе предрѣшить наше мнѣніе въ пользу госпожи Жемчугиной? Ради вашихъ прекрасныхъ глазъ, напримѣръ?

— А вы находите мои глаза прекрасными? Знаете, мнѣ многія дамы это говорили... Но что глаза? Васъ проситъ за дебютантку человѣкъ, смѣю думать, просвѣщенный, со вкусомъ, извѣстный и вліятельный... Странно, что вы моего имени не знаете; только извините, я этому не вѣрю...

Редакторъ всталъ, давая понять, что гостю пора испариться. Послѣдній тоже всталъ, нимало не измѣнивъ своей самоувѣренности, и благосклонно потрясъ руку хозяина съ такой ужимкой, какъ если-бы ходатайство его блистательно удалось.

— Такъ я буду надѣяться, — сказалъ онъ на прощанье,—что вы встрѣтите нашу прелестную дебютанку съ желаемымъ радушіемъ и поощреніемъ. Объ этомъ я,—подчеркнулъ онъ,—прошу васъ въ личное мнѣ одолженіе! Можетъ быть, я для васъ понадоблюсь и — въ долгу не останусь.

— Благодарю васъ,—отвѣтилъ редакторъ:—я пока не женатъ, слѣдовательно, бракоразводнаго дѣла у меня не предвидится.

— Какова у насъ юла—наша Маріанна Павловна!— разсмѣялся я по уходѣ назойливаго брюнета. — Всѣхъ,

кого только можно, завербовала она въ свои меценаты и клакеры!

— Да,—согласился пріятель-редакторъ, — барышня она оборотливая!

Оба мы были уже у нея на веревочкѣ, въ числѣ другихъ «временно-обязанныхъ» сочувственниковъ, такъ что пропаганда во славу ея вышеизображеннаго ходатая по бракоразводнымъ дѣламъ являлась уже излишней и не совсѣмъ благовидной.

---

## IV.

Потомъ я узналъ, что чернобровый ходатай съ зловѣщей физіономіей обѣгалъ всѣ редакціи, всѣ клубы и чуть не всѣ рестораны, изо всѣхъ силъ стараясь подготовить лестный пріемъ нашей дебютанткѣ. Меня заинтересовало, изъ-за чего онъ такъ усердствуетъ?

Особенной близости и пріязни съ Маріанной Павловной у него не было; принанять его, какъ ходатая на всѣ руки, за деньги она не могла. Чѣмъ-же она его такъ вдохновила? По справкѣ оказалось ничѣмъ инымъ, какъ вздорнымъ, грубымъ, но достаточно горячо преподнесеннымъ комплиментомъ его изящному вкусу, а, главное, его извѣстности и вліятельности, которыхъ очень хотѣлось честолюбивому ходатаю и изъ чего, конечно, еще не слѣдовало, чтобы онъ ихъ имѣлъ и на самомъ дѣлѣ. Находчивая барышня съ такой кошачьей вкрадчивостью влѣзла ему въ душу и такъ чувствительно ударила по самымъ отзывчивымъ ея струнамъ,

что въ одинъ пріемъ сдѣлала его своимъ рыцаремъ и трубадуромъ, готовымъ на всѣ услуги.

Впечатлительный ходатай сразу вообразилъ себя тонкимъ эстетикомъ и еще охотнѣе повѣрилъ, что онъ «громкая извѣстность», что онъ большая сила, которой ничего не стоитъ своимъ подавляющимъ вліяніемъ на печать и на театраловъ обезпечить удачный дебютъ для бѣдной, сиротливой, застѣнчивой дѣвушки, прибѣгающей къ его великодушному покровительству. Неужели онъ ей откажетъ въ немъ? Неужели онъ, могучій орелъ, не прикроетъ ее, робкую, слабую голубку, своимъ широкимъ крыломъ?

Онъ былъ покоренъ и обѣщалъ все, все, зависящее отъ его маленькой извѣстности, отъ его скромнаго вліянія и кое-какихъ связей. Онъ на короткой ногѣ со всѣми редакторами и непремѣнно съѣздитъ къ нимъ и расположитъ ихъ въ пользу своей кліентки; у него масса друзей въ свѣтѣ и стоитъ ему только замолвить слово въ нѣсколькихъ салонахъ, чтобы этотъ свѣтъ сталъ ей дружно апплодировать; онъ близокъ съ театральными антрепренерами и директорами, и у любого изъ нихъ можетъ доставить ей самый лестный пріемъ и самый выгодный ангажементъ.

Ничего этого, конечно, не было, а если и было, то въ весьма умѣренной дозѣ, но, подъ чарующимъ дѣйствіемъ комплиментовъ Маріанны Павловны, ходатай самымъ искреннимъ образомъ вообразилъ, что все это такъ и есть, ни на вершокъ менѣе. Оставалось доказать свою извѣстность и свою силу и, именно, на дѣлѣ

этой милой дѣвушкѣ, такъ высоко и по достоинству ихъ оцѣнившей.

Такимъ способомъ дебютъ Жемчугиной и его успѣхъ стали какъ-бы личнымъ дѣломъ принявшаго въ ней участіе ходатая. Въ нихъ былъ заключенъ вопросъ— жгучій вопросъ его собственнаго самолюбія: точно-ли онъ силенъ и вліятеленъ въ той мѣрѣ, въ какой представляетъ его себѣ это простодушное, симпатичное созданіе? И ради удовлетворительнаго рѣшенія этого вопроса ретивый ходатай забросилъ свои хлѣбныя бракоразводныя дѣла и, высунувъ языкъ, бѣгалъ по городу для вящшей рекламы Маріанны Павловны...

По истинѣ, какъ подумаешь, горами можетъ ворочать искусная игра на самолюбіяхъ, въ особенности когда эту вѣчно-новую симфонію разыгрываютъ эдакія маленькія, бѣленькія, хорошенькія и ловкія женскія ручки.

---

## V.

Посмѣялся я надъ ходатаемъ, превратившимся въ мецената, а самъ-то я и всѣ мы мѣстные театралы не ту-же-ли комедію разыгрывали подъ волшебную палочку нашей «любимицы публики»? Всѣ мы, сколько насъ ни было, исподволь впряглись въ ея тріумфаторскую колесницу и потомъ готовы были глотку разорвать каждому скептику, дерзавшему не признавать Маріанны Павловны великимъ, единственнымъ въ своемъ родѣ, талантомъ, какого въ ней, дѣйствительно,

какъ теперь я хладнокровно вспоминаю, была микроскопическая доля.

Талантъ въ ней былъ, тоже въ своемъ родѣ сценическій, только не художественный,—уловлять человѣческія сердца, да не какими нибудь добродѣтелями и внутренними красотами, а лестью, поблажкой дурнымъ инстинктамъ и мастерствомъ потрафлять въ слабыя струны самолюбій. Повторяю, для меня до сихъ поръ составляетъ предметъ глубокаго изумленія—откуда у нея это взялось? Гдѣ она набралась этого лисьяго чутья сердцевины нашихъ затаенныхъ побужденій, этого искусства брать насъ приступомъ и плѣнять съ нѣсколькихъ словъ, этой безоглядной наглости въ выборѣ средствъ для достиженія данныхъ цѣлей? Видно, счастливо одареннымъ женщинамъ это отъ природы дается, какъ своего рода талантъ.

Маріанна Павловна, по какому-то вдохновенію, съ перваго-же взгляда смекала съ какой, именно, стороны надо подойти къ нашему брату, нужному ей человѣку, заставить, чтобы онъ самъ подставилъ покорно и съ наслажденіемъ свою выю для уздечки и, затѣмъ, впречь его въ свою колесницу. Вы уже видѣли, съ какой стороны и какимъ способомъ взнуздала она и запрягла черняваго ходатая съ зловѣщей физіономіей.

Меня и другихъ, какъ я, искреннихъ меломановъ, дѣйствительно любившихъ искусство и кое-что въ немъ понимавшихъ, она взяла маской юношескаго увлеченія театромъ и какой-то чуть не религіозной готовностью учиться у *насъ*, знатоковъ par excellence, слушать наши совѣты и свято подчиняться имъ.

Помню, какой благоговѣйной смиренницей явилась она ко мнѣ, въ качествѣ начинающей неофитки-школьницы, съ трогательной мольбою, чтобы я былъ такъ добръ—и далъ наставленія, какъ ей играть...

Плутовка! могъ ли бы я, послѣ этого, быть строгимъ къ ней на сценѣ? Тѣмъ менѣе, что пріѣдетъ это, бывало, свѣжая, цвѣтущая, какъ майское утро, соблазнительная, какъ грѣхъ, въ эдакомъ какомъ-то наивно безстыдномъ нарядѣ, съ невзначай, будто-бы, распахнувшимся лифомъ на груди, съ обнаженными розовыми локотками, въ бархатныхъ туфелькахъ, едва держащихся на хорошенькихъ, маленькихъ ножкахъ, обутыхъ въ шелковые ажурные чулочки... Ну, понимаете, такое очарованіе, что тутъ и святой впалъ-бы въ искушеніе и самый непреклонно-суровый критикъ нашелъ-бы въ этомъ антуражѣ смягчающія вину бездарности обстоятельства!

И что въ ней особенно было коварно—такъ это то, что сама она, какъ будто-бы, съ дѣтскимъ простодушіемъ, вовсе не сознаетъ своихъ прелестей, вовсе не замѣчаетъ ихъ опьяняющаго на васъ дѣйствія, и совсѣмъ не изъ какого-нибудь разсчета (сохрани Богъ!) принарядилась она съ такой кокетливой небрежностью... Плутовка, и самая ехидная, какую только мнѣ случалось встрѣчать!

Этими-то качествами своими, въ связи съ чарующей фамильярностью обращенія, неизсякаемой лаской для всѣхъ и невыразимымъ умѣньемъ каждому встрѣчному польстить кстати и въ пору, Маріанна Павловна въ кратчайшее время заполонила толпы поклонниковъ и въ партерѣ, и въ ложахъ и въ райкѣ. Даже наши строгія,

взыскательныя дамы называли ее «милочкой» и находили въ ней задатки прекраснаго дарованія... И моглоли быть иначе, послѣ того, какъ Жемчугина, при встрѣчахъ съ ними въ обществѣ, стушевывалась съ такимъ аффектированнымъ подобострастіемъ, выразительно тѣмъ подчеркивая ихъ величіе, ихъ элегантное благородство и превосходство во всѣхъ отношеніяхъ передъ собою, ничтожной лицедѣйкой, обреченной на презрѣнное ремесло забавлять толпу съ подмостковъ!

---

## VI.

Съ неменьшимъ мастерствомъ обращалась Маріанна Павловна съ такъ называемыми «представителями прессы» и заставляла ихъ трубить ей славу. Разные тутъ были у нея пріемы, глядя по «представителю» и органу, въ которомъ онъ строчитъ свои критики.

Однимъ она безъ всякихъ церемоній платила гонораръ по столько-то копѣекъ за строчку похвалъ ея игрѣ; другихъ поила шампанскимъ и давала имъ цѣловать на закуску свои сахарныя ручки; третьимъ, болѣе строгимъ и опрятнымъ, дѣлала чинные визиты, разсыпалась въ комплиментахъ ихъ критическому таланту, остроумію и авторитетности, и нѣжно умоляла быть къ ней снисходительными, пощадить ее, замолвить о ней милостивое словечко.

Попадались «представители прессы», которые въ требованіи мзды за благопріятную «критику» заходили

слишкомъ далеко, но и такихъ Маріанна Павловна умѣла обуздывать и обезоруживать.

Разъ одинъ такой-то «критикъ», можно сказать, всероссійской извѣстности мерзавецъ, на ея просьбу написать о ней благосклонный отчетъ, на-отрѣзъ поставилъ такой ultimatum:

— Хорошо, — сказалъ онъ, — желаемый отчетъ вы получите, но съ условіемъ, когда онъ будетъ написанъ и отданъ въ печать, вы поѣдете со мной ужинать туда-то...

«Критикъ» назвалъ ресторанъ, пользовавшійся въ нашемъ городѣ весьма зазорной репутаціей. Маріанна Павловна на минутку опѣшила, но только на минутку. Она еще ни разу не ужинала en deux въ названной трущобѣ и, вообще, на ея дѣвственной репутаціи, какъ женщины, не было ни пятнышка.

— А если не поѣду—разругаете?—спросила она «критика».

— Само собой разумѣется... И спрашивать нечего!— отвѣтилъ онъ.

Жемчугина посмотрѣла съ омерзѣніемъ на эту циническую гадину, но гадина строчила свои рецензіи въ довольно распространенной газетѣ, слѣдовательно, могла сильно подпакостить своимъ лаяньемъ артистической репутаціи нашей героини. Она чуточку подумала и рѣшилась.

— Хорошо, — съ вызывающей смѣлостью сказала она,—поѣдемъ послѣ театра, но съ тѣмъ, чтобы рецензію я могла прочитать передъ ужиномъ въ корректурѣ.

«Критикъ» охотно согласился и все сдѣлалось по сказанному.

Прежде чѣмъ ѣхать ужинать, Маріанна Павловна имѣла въ своихъ рукахъ корректуру хвалебной о ней рецензіи и осталась ею довольна; «критикъ» распорядился, чтобы рецензія явилась назавтра. Потомъ они поѣхали на тройкѣ и, по капризному желанію Жемчугиной, очень долго катались по окрестностямъ.

Наконецъ, къ удовольствію давно истлѣвшаго нетерпѣливымъ вожделѣніемъ «критика», закатились они въ намѣченный притонъ ужинать. Взяли отдѣльный кабинетъ. Ужинъ поданъ, полилось шампанское, захмѣлѣвшій «критикъ» полѣзъ цѣловаться. Сперва цѣловалъ ручки и—это ему не воспрещалось; потомъ сталъ дерзать и дальше, но встрѣтилъ рѣшительную оппозицію. Онъ озвѣрѣлъ и превратился въ необузданнаго мандрила...

Маріанна Павловна была на сторожѣ. Въ критическую минуту она позвонила и, когда явилась прислуга, приказала подать счетъ и, выйдя изъ кабинета, стала снаряжаться въ обратный путь.

— Такъ вы вотъ какъ: надули, обманули!—мрачно сопѣлъ «критикъ», чувствуя себя одураченнымъ.—Хорошо-же!

— Я васъ не понимаю! — наивно возразила дѣвушка.—Вы хотѣли со мной ужинать tête-á-tête... Я вамъ сдѣлала это удовольствіе. Чего-жъ вамъ больше? Впрочемъ я въ другой разъ съ вами не поѣду, потому что вы не умѣете держать себя съ порядочными женщинами.

— Ладно, барышня! Посмѣялись вы надо мною, но—пословица гласитъ — хорошо смѣется тотъ, кто смѣется послѣдній...

Слуга принесъ счетъ и, какъ водится въ подобныхъ трущобахъ, безбожно преувеличенный. «Критикъ» и тутъ оказался гадиной. Онъ отказался платить за ужинъ.

— Меня одурачили, да я еще и платить стану... Покорно благодарю!—съ цинизмомъ пьянаго сапожника изъяснился онъ по этому поводу.

Маріанна Павловна заплатила одна. Дорогой «критикъ» ругался и грозилъ мстить обманщицѣ, но это сдѣлать ему было мудрено. На другой день въ газетѣ явилась его восторженная похвала таланту Маріанны Павловны, перейти отъ которой непосредственно къ порицанію и брани было-бы ужъ совсѣмъ несообразно.

---

## VI.

А что-же, — спроситъ любознательный читатель, — самые-то дебюты нашей героини? Каковы они были со стороны художественной? Обнаружила-ли дебютантка дарованіе и, вообще, какова изъ нея вышла артистка?

Хорошенько подумавъ, я не стану отвѣчать на эти вопросы. Не то, чтобы я оставлялъ ихъ открытыми, а просто потому, что считаю ихъ неумѣстными.

Такъ смотрѣлъ на это дѣло и знакомый намъ родственникъ нашей героини. Когда пошли ея дебюты, и что ни дебютъ, то все большій притокъ извѣстности и славы, родственникъ погружался все въ большую меланхолію и время отъ времени съ горечью говаривалъ:

— Малодушный я человѣкъ: духу у меня не хва-

таетъ застрѣлить тебя, Матрена, да и люблю я тебя породственному... А застрѣлить тебя—была-бы неоцѣненная услуга для родного театра! Молода ты, здорова, проживешь десятки лѣтъ и—чортъ знаетъ, сколько ты на своемъ вѣку испакостишь ролей, сколькихъ малоумовъ собьешь съ толку, сколько окажешь рьянаго содѣйствія поврежденію вкуса!

---

# НАПРАСЛИНА.

Онъ проснулся послѣ долгаго, глубокаго сна, какимъ спятъ люди, испытавшіе наканунѣ сильное душевное потрясеніе,—проснулся, вспомнилъ все, что было вчера, и сталъ спокойно думать. Благодѣтельный сонъ возвратилъ ему равновѣсіе духа, угомонилъ раздраженное и оскорбленное сердце, смягчилъ и какъ-бы отдалилъ куда-то въ глубь всепрощающаго забвенія позоръ и тяжесть удара, разразившагося надъ нимъ и — что всего было горче—надъ существомъ ни въ чемъ неповиннымъ, связаннымъ съ нимъ несчастной случайностью.

Теперь, въ эту минуту, на свѣжую голову, онъ могъ хладнокровно обсудить — что-же такое, въ сущности, случилось, какъ и почему? Вчера онъ не въ состояніи былъ-бы этого сдѣлать, да, вѣроятно, и сегодня—стоитъ ему только встать съ постели и формально начать день, съ довлѣющими ему злобами, какъ онъ тотчасъ-же утра-

титъ эту способность спокойнаго углубленія въ причину причинъ.

Что-же такое произошло?

Да, да,—вспомнилъ!

Вчера онъ былъ въ судѣ, сидѣлъ, въ качествѣ обвиняемаго, на скамьѣ подсудимыхъ, на которую ему прежде никогда и не снилось попасть, и ушелъ, послѣ долгаго, томительнаго судоговоренія, приговореннымъ къ тюремному заключенію. Вспомнились ему невольный, жуткій стыдъ и чувство глубокаго униженія, когда онъ всходилъ и усаживался на скамью подсудимыхъ, огороженную рѣшеткой; вспомнилась простодушно-тупая, бѣлобрысая, моложавая физіономія жандарма, съ шашкой наголо вытянувшагося у входа за рѣшетку. Усѣвшись въ смущеніи, онъ долго не могъ поднять глазъ и, когда ихъ поднялъ, ему стало еще стыднѣе и жутче оттого, что онъ почувствовалъ себя на виду у всѣхъ присутствовавшихъ въ судебной залѣ, и всѣ они—судьи, пристава, адвокаты и публика—пронизывали его холодно-любопытными, наглыми, подозрительными и недобрыми взглядами.

— Что такое я имъ сдѣлалъ? За что они всѣ ненавидятъ меня?—подумалъ онъ, сознавая свою жалкую безпомощность и свое жестокое одиночество среди этихъ чужихъ враждебно противъ него настроенныхъ людей, хотя ни съ кѣмъ изъ нихъ онъ прежде нигдѣ и никогда не встрѣчался и никому изъ нихъ не сдѣлалъ никакого зла.

Оскорбительность этого отношенія онъ испытывалъ вдвойнѣ—за себя и еще болѣе за сидѣвшую рядомъ съ

нимъ на той-же скамьѣ милую, невинную, никого въ своей жизни не обидѣвшую дѣвушку, обвиняемую теперь въ сообщничествѣ съ нимъ по «преступленію», вслѣдствіе казуистической придирчивости обвинительной власти.

Въ нахальномъ и злорадномъ любопытствѣ, обращенномъ къ ней изъ залы, его возмущала всего болѣе читавшаяся во всѣхъ глазахъ напраслина: въ ней видѣли и хотѣли видѣть его наложницу, жертву его адюльтера. Съ довѣрчивой слѣпотой наивной молодости, она сама не замѣчала этого грубаго на ея счетъ подозрѣнія и если испытывала стыдливое смущеніе, то только отъ неожиданной и непріятной новизны положенія «подсудимой», и это тогда, когда она ни въ чемъ себя не могла, по совѣсти, упрекнуть.

Сталъ онъ дальше вспоминать, съ чего началась и какъ произошла вся эта нелѣпая и обидная мистификація?

Ѣхалъ онъ изъ своего города въ Москву и уже дорогой узналъ, что въ одномъ съ нимъ вагонѣ ѣдетъ туда-же хорошая его знакомая, дѣвица Аничкина. Она ѣхала одна и въ первый разъ въ совершенно незнакомый ей большой городъ. Вполнѣ естественно, какъ водится въ общежитіи, онъ предложилъ ей свои услуги-въ качествѣ добраго товарища-попутчика и отчасти кавалера. Вслѣдствіе этого, по пріѣздѣ въ Москву, они остановились въ одной гостинницѣ и расположились въ ней сосѣдями по номерамъ. По заведенному порядку, у нихъ тотчасъ-же спросили «виды на жительство», но тутъ оказалось, что никогда дотолѣ не имѣвшая нужды въ этого рода документѣ, беззаботная провин-

ціальная барышня забыла захватить паспортъ. На всѣ резоны, что она тотчасъ напишетъ домой и что ей черезъ нѣсколько дней вышлютъ требуемую бумажку, альгвазилы гостинницы, ссылаясь на какіе-то ужасные штрафы, отвѣчали категорическимъ отказомъ въ гостепріимствѣ. Что было дѣлать и куда было дѣваться неосмотрительной провинціалкѣ?

Обязательный сосѣдъ выручилъ, и тѣмъ охотнѣе, что это стоило, казалось, такого пустяка. Въ его паспортѣ было прописано, что онъ женатъ, такъ вотъ—чего-же проще?—они сейчасъ-же переѣдутъ въ другую гостинницу и выдадутъ себя тамъ за мужа и жену. Сказано—сдѣлано, и сдѣлано было такъ весело, потому что эта маленькая комедія давала богатый матеріалъ для невинныхъ шутокъ, для забавной игры «въ мужа и жену». Имъ и въ голову не приходило, что они совершаютъ тяжкое «преступленіе».

И онъ вспомнилъ отвратительную сцену, которую, какъ онъ потомъ узналъ, устроила ему жалкая, постылая и злая тварь, испортившая ему жизнь,—его жена, по имени и по праву, но давно уже не по сердцу и сожительству!

Явилась, по указанію и подъ руководствомъ презрѣннаго ищейки-повѣреннаго со стороны этой потерявшей стыдъ женщины, полиція, началось «дознаніе», безъ всякой пощады для скромности бѣдной, ни въ чемъ неповинной дѣвушки, нагородили многословный протоколъ, пошли вслѣдъ затѣмъ вызовы къ слѣдователю, долгіе, изнурительные сеансы ожиданія, допроса, оскорбленія и униженія... И все это было нисколько не нужно ни для

правосудія, ни для торжества нравственности, какъ это хорошо понимали и ихъ формальные блюстители въ данномъ случаѣ, что, однако, не мѣшало имъ истощаться во всяческихъ крючкотворствахъ.

Такимъ порядкомъ выросло это грузное, нелѣпое «дѣло» по обвиненію его въ «пособничествѣ», а его молоденькой спутницы и сосѣдки по номерамъ въ гостинницѣ—въ «проживательствѣ по чужому виду»!

Положимъ, ее-то на судѣ оправдали, смиловались, снизошли къ ея молодости и неопытности, но чего стоила ей вся эта тягостная, мучительная «волокита», эта медленная пытка «подсудимости», этотъ публичный позоръ фигурированія передъ судомъ, въ роли «преступницы»?—Ужасно! Если не всего больнѣе, то всего возмутительнѣе было для него это натянутое, казуистическое и по существу безпощадно-жестокое, жестокое безъ всякой надобности, «привлеченіе къ отвѣтственности» его невинной и милой «соучастницы» въ «преступленіи».

Въ эту минуту, когда уже все кончилось, когда «фактъ совершился» и съ нимъ надо примириться, онъ сталъ думать и вникать въ отдаленныя, основныя причины постигшей его бѣды.

— Кто тутъ виноватъ?—спросилъ онъ себя.

Еще вчера у него были готовые, рѣшительные и злобные отвѣты на этотъ вопросъ. Онъ винилъ учрежденія—за ихъ несовершенство, и ихъ исполнителей—за близорукость, педантичность и безсердечіе, винилъ современное адвокатское сутяжничество и его пройдошливыхъ жрецовъ, а всего злѣе и желчнѣе винилъ ту, которая носила его имя и называлась его женой, и съ

такой бабьей безпардонностью эксплоатировала и преслѣдовала его, благодаря своимъ мнимымъ, ею-же самою попраннымъ, «правамъ»... Гадкая, безстыжая женщина!

Сегодня, въ эту минуту душевнаго спокойствія и проясненія, онъ уже не могъ удовольствоваться этими дешевыми и поверхностными отвѣтами, которыми онъ такъ легко и просто оправдывался самъ передъ собственной совѣстью. Какой-то заглушаемый до сихъ поръ внутренній упрекъ проснулся въ немъ и поставилъ ему вопросъ: «А самъ-то ты, любезный, правъ-ли и точно-ли невинная лишь жертва людской глупости и злобы?».

Нужно было себя провѣрить и для этого воскресить въ памяти свое прошлое.—Съ чего все началось?

Началось,—отвѣчалъ онъ себѣ,—съ моей несчастной, проклятой женитьбы! — Слѣдовательно, — логически заключилъ онъ,—подлинный виновный найденъ... Виновный этотъ—я самъ, по крайней мѣрѣ—виновнѣе всѣхъ, кто дѣлалъ мнѣ зло и отравлялъ мнѣ жизнь, благодаря, именно, женитьбѣ. Это безспорно!

Зачѣмъ я женился?..

Сколько разъ съ досадой и, случалось, съ бѣшенствомъ задавалъ онъ себѣ этотъ вопросъ съ той поры, какъ сталъ не ладить съ женою и даже гораздо раньше. Теперь онъ вспомнилъ, что еще до брака онъ съ сомнѣніемъ спрашивалъ себя—зачѣмъ и *на комъ* онъ женится, и—никогда не могъ отвѣтить толкомъ. Да онъ просто обходилъ этотъ вопросъ, съ легкомысліемъ и малодушіемъ игрока, ставящаго на карту все свое со-

стояніе и не думающаго о гибельныхъ для него послѣдствіяхъ проигрыша.

Онъ не зналъ—ни на комъ онъ женится, ни зачѣмъ онъ женится. Это была слѣпая игра на счастье. Всю свою судьбу онъ ввѣрялъ глупому, капризному случаю. Случай, въ качествѣ банкомета, могъ дать и могъ убить поставленную карту. Онъ ее убилъ и потянулъ къ себѣ всю ставку. Понтеру осталось нелѣпое утѣшеніе пенять на свою судьбу, на свое несчастье, тогда какъ еще за минуту въ его полномъ распоряженіи было спасти себя отъ проигрыша, слѣдовательно въ его власти были и судьба и счастье. Кто-же виноватъ, если онъ такъ безсмысленно рискнулъ и своей властью и своей независимостью?—Онъ, онъ одинъ—и никто больше!

Онъ зналъ сочиненную нравоописателями ироническую сентенцію, что бракъ есть величайшая глупость, и—тѣмъ не менѣе—повторилъ ее на собственномъ опытѣ!

Вспомнилъ онъ прологъ своего злосчастнаго, трагикомическаго романа... Какъ это было безразсудно, пошло и отнюдь не граціозно! Какъ весь вопросъ рѣшился легкомысленно и скоропалительно! Что всего хуже и непростительнѣе—ни съ чьей стороны не было даже достаточно пылкаго, искренняго увлеченія, которое могло-бы если не оправдать, то хотя объяснить возможность его женитьбы.

Встрѣтились они въ городскомъ саду, на гуляньѣ. Въ качествѣ независимаго и холостого губернскаго фланера, онъ сидѣлъ на скамейкѣ и съ дерзкой развязностью пялилъ глаза сквозь пенснэ на всѣхъ мимо проходившихъ молодыхъ барынь и барышень. Прошла она, въ

сопровожденіи матери, нарядная и кокетливая. Онъ подмѣтилъ розовую щечку, бѣлую шейку, прекрасносформированный бюстъ, маленькую ножку, затянутую въ щегольской башмачекъ... Все это произвело на него впечатлѣніе, но когда она кинула на него томный взглядъ и улыбнулась, онъ былъ уже почти влюбленъ. Сорвавшись со скамейки, онъ пошелъ ее преслѣдовать и успѣлъ въ теченіи гулянья обмѣняться съ нею нѣсколькими выразительными взглядами, хотя по ближайшемъ разсмотрѣніи она и оказалась дѣвицей весьма ординарной, пошловатой наружности. Самая способность ея заинтересовывать собой молодыхъ, падкихъ до волокитства людей была весьма примитивна и малоизобрѣтательна, какъ онъ вскорѣ имѣлъ возможность убѣдиться.

Во всякомъ случаѣ, у нихъ началось знакомство. Онъ узналъ, кто она, «изъ чьихъ», по провинціальному выраженію, и сталъ искать встрѣчи съ нею. Это было легкое, отъ скуки, романическое приключеніе свободнаго и галантнаго молодого человѣка. Ближе познакомился онъ съ нею на вечерѣ у общихъ знакомыхъ: они танцовали, болтали, взаимно другъ передъ другомъ кокетничали и одинъ съ другимъ заигрывали...

Кончилось тѣмъ, что ея мать пригласила его бывать у нихъ. Домъ былъ изъ категоріи «порядочныхъ», на взыскательный и чопорный губернскій аршинъ. Онъ охотно принялъ приглашеніе и сталъ «заѣзжать», а мѣсяца черезъ полтора не успѣлъ онъ и опомниться, какъ они уже были «женихъ» и «невѣста». Какъ это случилось—онъ никогда не могъ отдать себѣ вполнѣ обстоятельнаго отчета.

Аннета (имя его суженой) ни одной минуты не нравилась ему въ той превосходной степени, когда человѣку и жизнь не въ жизнь безъ избраннаго существа. Безспорно, она была мила, но ея смазливую наружность портили, во-первыхъ, кривые и гнилые зубы, а потомъ, разныя дурныя привычки, показывавшія, что она плохо воспитана. Минутами она его совершенно отталкивала, напр., своей наклонностью къ неряшеству. Никогда онъ не могъ забыть омерзительнаго впечатлѣнія, когда она, стоя съ нимъ у себя дома у окна, стала вдругъ давить своимъ хорошенькимъ, розовымъ пальчикомъ бившихся объ стекло комаровъ. Избѣгая назвать это дѣйствіе настоящемъ именемъ, онъ упрекнулъ ее въ жестокости... Она, въ отвѣтъ, сдѣлала большіе глаза — что ей особенно шло — и спросила съ наивностью балованнаго ребенка.

— Такъ вы хотѣли-бы, чтобы эти противные кусаки безнаказанно меня терзали и не давали мнѣ спать?!

Кончилось тѣмъ, что онъ тутъ-же облобызалъ тотъ самый пальчикъ, который за минуту возбуждалъ въ немъ отвращеніе своимъ неряшливымъ убійствомъ.

Ему вспомнилось, что, вообще, въ эти медовые дни своего жениханья и первыхъ мѣсяцевъ своей женитьбы Аннета постоянно вызывала въ немъ какое-то фальшивое, двойственное къ себѣ отношеніе — одновременно любви и презрѣнія, восхищенія и отвращенія, вражды и привязанности... И это бывало въ самыя горячія, патетическія минуты взаимнаго милованья и любовной нѣги!

Никогда онъ не могъ съ нею забыться тѣмъ слад-

кимъ, страстнымъ забвеніемъ, какое даетъ молодая, счастливая, удовлетворенная любовь. Всегда такъ случалось, что она портила чѣмъ-нибудь гармонію такихъ моментовъ—какой-нибудь неграціозной, вульгарной или глупой выходкой, ухваткой, манерой, движеніемъ. Короче сказать, онъ никогда, ни одной минуты не любилъ ея вполнѣ, всѣмъ сердцемъ, безъ отчета и безъ памяти: всего же чаще, лежа даже въ ея объятіяхъ и страстно прижимая ее къ своей груди, онъ внутренно былъ холоденъ и до того остро чувствовалъ рознь между собою и ею, что ему иногда хотѣлось грубо оттолкнуть ее отъ себя и убѣжать.

Горькія, тяжелыя, позорныя минуты, отъ которыхъ даже теперь, спустя нѣсколько лѣтъ, его бросаетъ въ краску стыда—стыда за свое легкомысліе и малодушіе, за свою фальшь и свою порочность! Да, теперь онъ ясно понимаетъ (да уже и тогда понималъ), что его бракъ былъ не тотъ прекрасный, святой человѣческій союзъ двухъ пылающихъ, одно въ другомъ совмѣщающихся сердецъ, а—попросту—дикое, безобразное недоразумѣніе, съ одной стороны, и голый развратъ,—съ другой!

Потомъ онъ оправдывался, что его «обошли», что его «женили», благодаря безстыдному кокетству дочки и сватовскимъ хитростямъ мамаши. Это, правда, было, но развѣ могли-бы его женить, если-бы онъ самъ относился серьезнѣе къ браку и не поступилъ въ данномъ случаѣ, какъ безхарактерный пошлякъ, поддавшійся впечатлѣнію минуты и убаюканный грубымъ хмѣлемъ чувственности? Въ немъ разгорѣлся слѣпой, нечистый капризъ темперамента овладѣть тѣломъ этой смазливой дѣвушки,

хотя онъ отлично зналъ заранѣе, что она будетъ дурная жена. Онъ видѣлъ насквозь ея умственное и нравственное ничтожество, онъ даже во внѣшности ея находилъ многое некрасивымъ, неграціознымъ и отталкивающимъ.

И онъ женился, съ такою-же безоглядностью, съ какою на паркетѣ молодые люли приглашаютъ дамъ на кадриль. Оправдывало его одно — не онъ первый, не онъ послѣдній такъ легкомысленно женится!

Передъ его смятенной совѣстью встаютъ теперь глупыя, постыдныя и безобразныя картины его супружеской жизни. Быстро проходитъ чадъ чувственнаго опьяненія и на его мѣстѣ выступаютъ пустота, холодъ и взаимная непріязнь счастливыхъ супруговъ. Слѣдуютъ сцена за сценой, распри и столкновенія. Обнаруживаются во всей красѣ вся своенравная взбалмошность, вся расточительная хищность и вся бездушная пустопорожность этой опостылѣвшей куклы, носящей названіе его жены. И онъ безсиленъ передъ нею. Сначала, изъ эгоистическаго страха скандала и ради домашняго спокойствія, онъ избѣгаетъ разрыва, потакаетъ ея глупымъ прихотямъ и капризамъ, смотритъ сквозь пальцы на ея вѣтренныя похожденія, на ея куртизанство... Но всему есть конецъ, да и глупо было-бы играть роль страуса, спрятавшаго голову подъ хвостъ, когда весь городъ узналъ объ адюльтерѣ его жены и всѣ чуть не пальцами стали тыкать въ него, какъ въ печатнаго рогоносца.

Они разъѣхались, но этимъ отнюдь не кончилась его расплата за «ошибку молодости», за легкомысленный бракъ. Онъ ей назначилъ пенсію, но вскорѣ затѣмъ не-

ожиданно получилъ довольно крупное наслѣдство. Она предъявила претензію на участіе въ этомъ презентѣ судьбы. Онъ отказалъ. Отсюда возникъ цѣлый рядъ наглѣйшихъ приставаній и подвоховъ, тяжебъ и ябедъ, преслѣдованій и шантажей. Однимъ изъ плодовъ этой хитрой механики, заправляемой адвокатской изобрѣтательностью, явился этотъ безсмысленный, ненужный процессъ о совершенномъ имъ паспортномъ «подлогѣ» и о проживательствѣ по подложному паспорту злополучной барышни, въ лицѣ которой его жена и ея «повѣренный» стремились изобличить, якобы, его предметъ незаконной любви.

Все это онъ пережилъ, все выстрадалъ, и, вспоминая теперь пройденный искусъ, со всѣми его досадными и тяжкими послѣдствіями, онъ, по совѣсти, могъ обвинять только одного себя. Безъ сомнѣнія, онъ является козломъ искупленія за всѣхъ, за всю ту общую безнравственную и суетную легкость, которая лежитъ въ основѣ отношеній половъ и заключаемыхъ браковъ въ интеллигентной средѣ, но это—ему теперь казалось—нисколько не умаляетъ его личной отвѣтственности.

Вспомнивъ все это и обдумавъ, онъ бодро всталъ съ постели съ твердой рѣшимостью безропотно покориться приговору суда, который еще вчера возмущалъ его до глубины души.

---

# ТАКЪ ЧТО-ЖЪ НАМЪ ДѢЛАТЬ?

Хмурый, какъ глядѣвшая въ окна глубокая осенняя ночь, вошелъ Сухаревъ въ свою спальню, озаренную блѣднымъ свѣтомъ теплившейся передъ образомъ лампадки, мелькомъ взглянулъ на спавшую жену и торопливо принялся раздѣваться. Онъ былъ доволенъ, что она спитъ и что онъ избѣжитъ особенно тягостной для него въ эту минуту необходимости говорить съ нею и объясняться по совершившемуся сейчасъ, обоимъ имъ близкому, «извѣстному» дѣлу. Чтобы не разбудить жены, Сухаревъ старался, раздѣваясь, не шумѣть и поскорѣе юркнуть на свою кровать

На этотъ разъ, однако, молодая женщина спала очень чутко. Истомившись долгимъ, нетерпѣливымъ ожиданіемъ мужа, она вздремнула, но «извѣстное дѣло» камнемъ лежало на ея сердцѣ и во-снѣ, свозь который она все вслушивалась смутно и тревожно:—не позвонилъ-ли ко-

локольчикъ, не возвратился-ли, наконецъ, Костя? Какъ онъ позвонилъ и вошелъ—она не дослышала, но теперь на его шорохъ въ спальнѣ она вмигъ очнулась.

— Что? что такое?—испуганно, съ просонья, заговорила она, схватившись съ подушки и облокотясь на локоть, и смотрѣла на мужа широко раскрытыми, оторопѣлыми глазами. — Ахъ, это ты, Костя! — опомнилась она.—Что-же? что-же?... Говори!.. Все кончено?—съ тоской и болью въ голосѣ спросила она.

Сухаревъ что-то такое сердито и невнятно буркнулъ, отвернувшись отъ жены, какъ человѣкъ, совершившій свирѣпое дѣло, о которомъ ему жутко и тяжело вспоминать и говорить.

Молодая женщина такъ, именно, его и поняла.

— Конечно,—для собственнаго ободренія промолвила она:—такъ нужно было сдѣлать... Ты правъ, Костя, ты совершенно правъ; но все-же жаль... Ахъ, какъ жаль, Костенька!—вздохнула она и чуть всхлипнула отъ подступившихъ слезъ.

— Молчи!—сурово и съ досадой отозвался онъ уже съ своей постели и, желая прекратить непріятный разговоръ, а также заглушить муки раскаянія, повернулся къ стѣнѣ и закуталъ голову одѣяломъ.

Немного и неспокойно спали въ эту ночь супруги.

*
* *

«Извѣстное дѣло» заключалось въ слѣдующемъ:

Константинъ Ивановъ Сухаревъ еще на школьной скамьѣ, въ ранней юности (ему теперь около тридцати лѣтъ) прослылъ за убѣжденнаго, примѣрнаго безсреб-

ренника и всегда горячо проповѣдывалъ на товарищескихъ бесѣдахъ о растлѣвающемъ дѣйствіи богатства, о возмутительности всякой эксплоатаціи, о вопіющей несправедливости неравномѣрнаго распредѣленія земныхъ благъ между людьми и о тому подобныхъ вѣковѣчныхъ кривдахъ, воспламеняющихъ юныя сердца чувствомъ міровой и гражданской скорби.

Сухаревъ возвышался почти до героизма и порывался дѣйствовать въ духѣ своей человѣколюбивой проповѣди. За нимъ извѣстны были подвиги самоотверженія и стоической брезгливости къ презрѣннымъ металламъ и, вообще, къ достатку.

Разъ, идя въ кухмистерскую обѣдать на послѣдній двугривенный, онъ встрѣтилъ нищенку, попросившую у него «на хлѣбъ», безъ колебанія отдалъ ей двугривенный и самъ остался въ тотъ день безъ обѣда, сытый духовно своей жертвой.

Разъ, когда ему до зарѣзу нужны были деньги, онъ нашелъ на улицѣ чей-то кошелекъ съ десятью рублями и не только не воспользовался ими, какъ поступилъ-бы на его мѣстѣ всякій менѣе безкорыстный человѣкъ, но, снесши въ полицію, отказался даже отъ третьей части находки, причитавшейся ему по закону, и привелъ въ изумленіе своимъ подвигомъ квартальнаго надзирателя.

Разъ ему представились выгодные уроки, но онъ отказался отъ нихъ въ пользу товарища, потому что тотъ былъ еще бѣднѣе его и въ буквальномъ смыслѣ голодалъ, тогда какъ великодушный Сухаревъ имѣлъ возможность ѣсть каждый день хлѣбъ съ колбасою и пить чай, хотя и безъ сахара, но все-же это былъ чай.

Разъ его видѣли, какъ онъ, изъ сочувствія къ какой-то встрѣчной трудолюбивой прачкѣ, самоотверженно тащилъ на себѣ въ гору ея салазки, тяжело нагруженныя мокрымъ бѣльемъ, чѣмъ навлекъ на себя и на бѣдную, честную женщину градъ насмѣшекъ и грязныхъ двусмыслицъ со стороны злыхъ и глупыхъ прохожихъ.

Подвиговъ въ такомъ родѣ было не мало, но бывали, конечно, и увлеченія и отклоненія отъ исповѣдуемаго катехизиса, заставлявшія совѣстливаго Константина Ивановича казниться и терзаться титаническими угрызеніями совѣсти. Былъ онъ, вообще, недоволенъ собой и своей дѣятельностью на поприщѣ подвиговъ не только потому, что иной разъ, вмѣсто того, чтобы помочь неимущему, страждущему брату-человѣку, онъ, напримѣръ, пропивалъ заводившуюся въ карманѣ копѣйку на пиво съ товарищами, но и потому, что самые подвиги казались ему слишкомъ мелкими и недостаточными.

— Вотъ ужо начну новую жизнь!—говорилъ онъ самъ себѣ въ утѣшеніе:—окончу курсъ, получу мѣсто, выступлю самостоятельнымъ дѣятелемъ на гражданскомъ поприщѣ и тогда... О, тогда начнется настоящее дѣло—дѣло вырыванія корней хищничества и эксплоатаціи и насажденія сѣмянъ братства и равноправія!

*
* *

«Новая жизнь» началась, но опять не совсѣмъ по тому плану, какой предначерталъ себѣ еще на школьной скамьѣ Константинъ Ивановичъ.

По какой-то ехидной ироніи отвратительной судьбы,

Сухаревъ—безсребренникъ, Сухаревъ—пылкій антогонистъ всякой наживы, пристроился, по окончаніи курса, къ тому самому дѣлу, которое онъ въ особенности считалъ не подходящимъ къ его катехизису. Ненавистникъ денегъ, онъ вдругъ сталъ около ихъ средоточія и барышническаго обращенія, въ роли дѣятельнаго пособника ихъ накопленія и роста. Короче сказать, Сухаревъ поступилъ на службу въ одинъ изъ большихъ банковъ и добросовѣстнѣйшимъ манеромъ содѣйствовалъ его «эксплоататорскому» обогащенію.

Эта ни съ чѣмъ несообразная, жестокая игра судьбы произошла, впрочемъ, по весьма извинительной причинѣ. Константинъ Ивановичъ влюбился со всѣмъ пыломъ молодости, у которой обыкновенно такого сорта любовь въ кратчайшее время вывѣтриваетъ безъ остатка—если это жертвоприношеніе ей необходимо—всякія «бредни» и «иллюзіи» по предмету наилучшаго переустройства міра по программѣ послѣдней статьи радикальнаго органа. Мой герой влюбился вскорѣ по окончаніи курса и до того нестерпимо возжелалъ обладать предметомъ своей страсти (его теперешнею женою), что ради этого блаженства готовъ былъ не только банкократомъ сдѣлаться, но даже продать чорту душу въ вѣчное потомственное владѣніе.

Восемнадцатилѣтняя Соня (имя героини), чудесный бутончикъ, распускавшій свои благоуханные лепестки для того, именно, чтобы возбуждать неодолимое желаніе впиться въ нихъ и замереть въ сладкомъ чувствѣ обладанія такою прелестью, согласна была послѣ нѣсколькихъ пріятныхъ встрѣчъ упасть въ объятія пылкаго Ко-

сти; но, къ величайшей досадѣ шаловливаго божка Амура, за ея спиной стояли зоркіе, бдительные и ревнивые къ сокровищу дочери родители. Они поставили Сухареву ультиматумъ:—бутончика-Соню они отдадутъ ему только въ томъ случаѣ, когда онъ получитъ служебное мѣсто, достаточно прочное и въ мѣру обезпечивающее семейный бытъ, съ безпрепятственнымъ срываніемъ медовыхъ супружескихъ поцѣлуевъ, не возмущаемымъ досадными вопросами о завтрашнемъ обѣдѣ.

Сухаревъ напрягъ всѣ свои связи и протекціи и нашелъ что отъ него требовалось для обладанія любимымъ сюжетомъ. Въ банкѣ—такъ въ банкѣ, у милліонщика-ли Разуваева—такъ у Разуваева, у самого-ли чорта, врага рода человѣческаго, на побѣгушкахъ — такъ у чорта... Онъ на все былъ согласенъ, только-бы дали ему возможность сейчасъ, сію минуту заграбастать возлюбленнаго бутончика въ свои алчныя лапы и умереть въ поцѣлуѣ его розовыхъ, благоуханныхъ лепестковъ—свѣжихъ губокъ, при одной мысли о которыхъ Константинъ Ивановичъ впадалъ въ телячій восторгъ.

Дали ему мѣсто въ банкѣ и настолько обстоятельное и обезпеченное, что разсчетливые родители Сони, ни минуты болѣе не колеблясь, отдали ему любимую дочку въ полное его, пожизненное плотоядное распоряженіе.

* *
*

Прошли, какъ скоротечныя грезы, медовые мѣсяцы. Бутончикъ завялъ, пресытившійся имъ Сухаревъ опомнился и въ одно прескверное утро почувствовалъ вдругъ

клокочущій притокъ невообразимо острыхъ и мучительныхъ угрызеній совѣсти.

— Хорошъ, нечего сказать! Ха-ха-ха!—адски хохотала въ немъ проснувшаяся злая колотовка—совѣсть.—Гдѣ-же твоя «новая жизнь»? гдѣ твои «подвиги»? гдѣ твои клятвенные обѣты положить всѣ свои силы, свои способности, свое положеніе, свою службу на ниспроверженіе міровой кривды и торжество правды?—Показывай, хвастайся!

Константину Ивановичу до того стало не по себѣ, что, когда Соня, желая ему добраго утра, взбросила ему на шею свои бѣлыя, нѣжныя ручки, и протянула свои розовыя губки для поцѣлуя, онъ грубо отстранилъ ее и сердито буркнулъ:

— Отстань! У тебя только и на умѣ, что лизаться... Пора-бы намъ съ тобой, матушка, серьезно подумать о жизни! До сихъ поръ мы съ тобой только гнусно самоуслаждались и паразитствовали. Неужели тебѣ не гадко?

Соня на первый разъ совсѣмъ не поняла закапризничавшаго, какъ она полагала, супруга.

— Ей должно быть «гадко»?

Отчего?—Напротивъ, до сихъ поръ ей было очень, очень хорошо, и она думала, думаетъ и всегда будетъ думать, что ни одна женщина не въ состояніи лучше и честнѣе исполнить свое благородное призваніе. Она любитъ мужа, она готова цѣловаться съ нимъ искреннѣйшимъ образомъ во всякое время, и право на ея поцѣлуи принадлежитъ безраздѣльно одному ему,—значитъ, она вѣрная жена и честная женщина. Что она хорошенькая и повсечастно старается пріумножать свои пре-

лести при посредствѣ туалета — такъ что-жъ въ этомъ дурного? — Милый, умный мужъ долженъ за это еще больше любить жену, цѣнить ее и доставлять ей побольше средствъ для возвышенія ея красоты, для ея счастья и удовольствія... Нѣтъ, этотъ скверный Костя, очевидно, раскапризничался или съ ума сошелъ!

Константинъ Ивановичъ дѣйствительно чуть съ ума не сходилъ въ эти минуты отъ мучительныхъ сомнѣній въ праведности своей жизни и отъ презрѣнія къ своей бездѣятельности на поприщѣ подвиговъ.

— Боже мой!—покаянно исповѣдывался онъ передъ своимъ неумолимымъ судьею—совѣстью:—прошелъ уже почти годъ, какъ я близко стою къ кассѣ нашего банка, гдѣ ворочаются милліоны, и до сихъ поръ я не очистилъ этой проклятой копилки систематическаго хищничества для того, чтобы хотя въ тысячной долѣ уменьшить несправедливое на землѣ распредѣленіе богатствъ!

Онъ мечталъ, какъ-бы онъ, укравши милліонъ изъ кассы, сталъ ходить по улицамъ и уменьшать неравномѣрное распредѣленіе капиталовъ, раздавая деньги направо и налѣво неимущимъ. Конечно, его-бы поймали и посадили на скамью подсудимыхъ.

— Подсудимый, — спросилъ-бы его предсѣдатель суда,—признаете себя виновнымъ?

— Нѣтъ, не признаю!—твердо и убѣжденно отвѣтилъ бы онъ, Константинъ Ивановичъ.

— Куда вы дѣвали унесенный вами милліонъ?

— Господинъ предсѣдатель, я употребилъ его весь, до послѣдней копѣйки, на уменьшеніе той возмутитель-

ной кривды, которая называется неравномѣрнымъ распредѣленіемъ богатствъ!

Тутъ-бы онъ,—мечталъ далѣе Сухаревъ,—сказалъ блестящую оправдательную рѣчь, указалъ-бы на всю неправедность существующихъ въ мірѣ отношеній, открылъ-бы чудную, яркую картину блаженства человѣчества при осуществленіи его, Сухаревскихъ плановъ, и, въ заключеніе, до того прожегъ-бы сердца своими глаголами, что весь судъ, въ полномъ составѣ, не исключая судебныхъ приставовъ, расплакался-бы навзрыдъ, а прокуроръ отказался бы отъ обвиненія.

Когда всѣ хорошенько выплакались-бы и прочувствовали-бы выслушанныя истины, онъ, подсудимый, сказалъ-бы:

— Господинъ предсѣдатель, потрудитесь исполнить вашъ долгъ предъ закономъ! Пожалуйста, осудите меня на ссылку въ мѣста отдаленныя, потому что еще не приспѣло время для торжества правды на землѣ и потому, въ особенности, что я непремѣнно хочу быть мученикомъ идеи!

* * *

Не смотря, однако, на отчаянные вопли совѣсти и на пламенныя мечтанія о «мученическомъ вѣнцѣ», Константинъ Ивановичъ не только не покушался на расхищеніе банковской кассы, но все болѣе и болѣе выказывалъ усердія къ ея огражденію и пріумноженію, такъ что его, какъ примѣрнаго служащаго, постепенно повышали и въ рангѣ и въ окладѣ.

Мало этого: къ его неизреченному ужасу и отвра-

щенію, онъ сталъ понемножку наживаться. Деньги глупы и, обыкновенно, валятъ туда, гдѣ ихъ не ждутъ и не особенно стараются объ ихъ накопленіи. У Сухарева капиталъ сталъ составляться какъ-то самъ собою. Началось съ откладыванія лишковъ отъ жалованья; на эти лишки былъ купленъ билетъ внутренняго съ выигрышами займа; на билетъ въ ближайшемъ тиражѣ палъ выигрышъ въ пять тысячъ; пользуясь банковыми секретами, Сухаревъ купилъ однажды на эти пять тысячъ бумажекъ «на повышеніе», и отъ этой операціи черезъ мѣсяцъ чуть не удвоился его капиталъ, а тамъ и пошло... Что ни день, то какая-нибудь подлѣйшая прибыль, что ни мѣсяцъ, то омерзительный лишекъ дохода надъ расходомъ, и—ничего не остается, какъ его, подлеца, внести на текущій счетъ въ банкъ или купить выгодную процентную бумагу... Тьфу!..

Соня, взглядывая время отъ времени въ книжку текущаго счета, радостно ахала и сангвинически хлопала своими розовыми ладошками; зато Константинъ Ивановичъ становился все мрачнѣе и задумчивѣе.

— Чего ты, дурачекъ, все хмуришься?—шаловливо ласкаясь, какъ балованная кошечка, спрашивала его Соня.

— Развратила ты меня, погубила ты меня!—трагически возражалъ Сухаревъ и уединялся въ кабинетѣ, гдѣ онъ вытаскивалъ изъ секретнаго ящика въ своемъ письменномъ столѣ апокрифическую брошюру графа Льва Николаевича: «Такъ что-жъ намъ дѣлать?» и—погружался въ пожирающее ея чтеніе.

* * *

Константинъ Ивановичъ рѣшился...

Долѣе сносить это мучительное и преступное противорѣчіе въ своей жизни онъ былъ не въ состояніи. Жизнь его сложилась совсѣмъ вопреки его планамъ и идеаламъ. Его планы и идеалы диктовали ему самоотверженіе и подвиги во имя братства и всечеловѣческой любви, а между тѣмъ онъ съ женой сладко ѣлъ и вкусно пилъ, жилъ почти роскошно, тратилъ деньги на щегольство, на наряды и удовольствія и, за всѣмъ тѣмъ, каждый мѣсяцъ откладывалъ еще порядочный кушъ въ кубышку... Вѣдь, это-же подло! вѣдь, это возмутительно!

— Соня, поди сюда!—позвалъ онъ однажды молоденькую жену въ кабинетъ.

По хорошо запечатлѣвшимся въ ея памяти прежнимъ примѣрамъ, Соня скорехонько явилась со всей готовностью цѣловаться съ мужемъ хотя до обморока. Каково-же было ея непріятное удивленіе, когда мужъ, вмѣсто поцѣлуевъ, сталъ ей съ серьезнымъ лицомъ читать какую-то прескучную, пренелѣпую тетрадку подъ заглавіемъ «Такъ что-жъ намъ дѣлать»?

Гм... точно она маленькая—не знаетъ, что ей нужно дѣлать?

Константинъ Ивановичъ читалъ долго и внушительно; Соня слушала и зѣвала. Кончивъ чтеніе, Сухаревъ сложилъ тетрадку и серьезно спросилъ жену:

— Поняла?

— Понимать тутъ нечего!—возразила она, мечтательно откинувъ кудрявую головку на спинку дивана.

— Значитъ, ты теперь знаешь, что намъ нужно дѣлать?

— Я и прежде это знала!

— Ну, ужъ и знала...

— Конечно.

— Что-жъ, по твоему, намъ нужно дѣлать?

— А вотъ что!

Съ этими словами она порывисто отдѣлилась отъ спинки дивана, размахнула свои прелестныя ручки надъ головою мужа, моментально обвилась ими вокругъ его шеи и, плотно прильнувъ къ нему своей упругой, теплой грудью, впилась въ его губы своими нѣжными, жаркими устами.

Какъ ни сильно было это дьявольское искушеніе, но Сухаревъ устоялъ противъ него. Онъ твердо уклонился отъ обольстительныхъ лобзаній Сони, заставилъ ее сидѣть смирно и жгучимъ, проповѣдническимъ языкомъ сталъ развивать передъ нею картину ужаснаго нравственнаго безобразія ихъ эгоистической любви, ихъ сытости и роскоши, ихъ возмутительной наживы, тогда какъ тысячи... нѣтъ! не тысячи, а милліоны братьевъ, по человѣчеству, не имѣютъ и сотой доли подобныхъ благъ, страдаютъ въ нуждѣ, голодѣ и холодѣ.

Соня, при всей своей «кисейности» и благодаря отчасти ей, способна была впечатляться сразу, безъ всякихъ подготовокъ, самыми несообразными съ ея голубинымъ міросозерцаніемъ идеями и внушеніями, былибы они только внѣдрены въ нее достаточно сильнымъ гипнотическимъ способомъ.

Константинъ Ивановичъ умѣлъ ее гипнотизировать, и—на этотъ разъ въ такой степени поработилъ своей проповѣдью ея душу и ея сердце, что она признала

вполнѣ правильнымъ его героическое рѣшеніе сейчасъ-же, немедленно освободиться отъ бремени ненавистнаго капитала и отдать его «на народныя нужды», а также и впредь приносить на алтарь тѣхъ-же нуждъ всѣ излишки отъ своихъ доходовъ.

Послѣ этого-то разговора, подъ неотразимымъ вліяніемъ апостолическаго ученія графа Толстого, Сухаревъ, съ согласія жены, въ одно прекрасное утро вынулъ съ «текущихъ счетовъ» свои капиталы съ тѣмъ, чтобы отдать ихъ всѣ сполна на пополненіе фонда на учрежденіе женскихъ врачебныхъ курсовъ. Онъ ушелъ съ этимъ рѣшеніемъ утромъ и возвратился домой, какъ мы видѣли, очень поздно, къ немалому безпокойству своей милой жены.

«Извѣстное дѣло» совершилось и Соня, хотя съ грустью и жалостью въ сердцѣ, должна была примириться съ безразсуднымъ, героическимъ самоотверженіемъ мужа.

Но каковъ-же былъ для нея неожиданный, восхитительный сюрпризъ, когда она, вставъ утромъ раньше мужа и снѣдаемая свойственнымъ прекрасному полу любопытствомъ, заглянула въ бумажникъ Кости!

Тамъ, въ числѣ разныхъ бумагъ, она нашла свѣженькую, съ непросохшими еще чернилами, закладную на каменный домъ, данную его владѣльцемъ на имя Кости какъ разъ подъ ту, именно, сумму, которая, какъ она хорошо помнила, составляла ихъ благопріобрѣтенный капиталъ.

— Такъ вотъ что нужно намъ дѣлать!—разразилась молодая женщина веселымъ, ликующимъ, по птичьему щебечущимъ хохотомъ.

# ВѢРНАЯ ЖЕНА.

## I.

Косяковы съ тѣмъ и на дачу переѣзжали, чтобы какъ нибудь «перебиться» на счетъ добрыхъ и робкихъ людей, при крайней неопредѣленности и сомнительности своихъ собственныхъ рессурсовъ.

Въ городѣ, особенно въ Петербургѣ, мародерствовать вообще гораздо труднѣе, чѣмъ за чертой его—на просторномъ лонѣ природы, хотя-бы и засиженномъ дачниками въ такой непроходимой степени, какъ засижены разныя Коломяги, Парголовы, Заманиловки и т. п.

Къ тому-жъ у Косяковыхъ такъ въ обрѣзъ подошли дѣла, что имъ необходимо было съ возможной поспѣшностью эмигрировать куда-нибудь на вольный воздухъ. Въ городѣ у нихъ, какъ они выражались, окончательно «истощился кредитъ», и какъ говорили ихъ грубые, нецеремонные кредиторы,—они «кругомъ изшаромыжничались». Мало того, что имъ никто уже не вѣрилъ ни на

одну копѣйку,—ихъ самымъ досаднымъ манеромъ непрерывно безпокоили требованіями платежей, вызовами къ мировому судьѣ, исполнительными листами, скандалезными визитами судебныхъ приставовъ и тому подобной совершенно вздорной для людей обстрѣлянныхъ и смѣтливыхъ, но все-же непріятной дребеденью. Непріятна она тѣмъ, что отрѣзываетъ ходы и способы для продолженія впредь безпрепятственнаго мародерства въ мѣстѣ жительства героевъ съ окрестностями.

Надо было искать новаго поприща и новыхъ «дураковъ», и Косяковы тѣмъ охотнѣе и скорѣе рѣшили воспользоваться текущимъ дачнымъ сезономъ со всѣми его буколическими удовольствіями, что домовладѣлецъ, которому они задолжали за нѣсколько мѣсяцевъ за городскую квартиру, потерявъ всякую надежду получить долгъ и всякое терпѣніе, но убоясь судебной волокиты, явилъ примѣръ самоотверженнаго, хотя и не рѣдкаго, говорятъ, среди петербургскихъ домовладѣльцевъ, великодушія.

— Господинъ Косяковъ,—ласково сказалъ онъ нашему герою, пригласивъ его къ себѣ и даже папироской поподчивалъ:—вы мнѣ должны за квартиру столько-то... Правда?

— Совершеннѣйшая правда!—торжественно согласился Косяковъ. Благородный человѣкъ, онъ никогда и ни въ какомъ случаѣ не отпирался отъ своихъ долговъ, никогда даже не забывалъ ихъ.

— Не хотите-ли поквитаться со мною съ двухъ словъ?

— Весьма быль-бы радъ, но...

— Знаю: вы не при деньгахъ... Денегъ и не нужно. Я вамъ сейчасъ-же выдамъ ро списку, что получилъ съ

васъ все сполна, но, Бога ради, умоляю васъ—очистите квартиру немедленно, сегодня-же, сію-же минуту! Я буду сердечно вамъ за это благодаренъ,—и великодушный домовладѣлецъ съ чувствомъ пожалъ руки своего неисправнаго квартиранта.

Косяковъ, однако, не былъ этимъ ни тронутъ, ни удивленъ; напротивъ, выразительная физіономія его изобразила озабоченность и неудовольствіе.

— Позвольте! Какъ-же такъ?—обиженнымъ тономъ возразилъ онъ.—Я дѣйствительно, какъ вы изволили выразиться, теперь не при деньгахъ. Куда-же я безъ денегъ переберусь? На улицу, что-ли? Покорно васъ благодарю! Вы забыли, что я—человѣкъ благородный, у меня, наконецъ, семейство... Такъ, милостивый государь, нельзя! Вы извините меня, но очистить квартиру я не могу.

— Да, вѣдь, я васъ прошу,—взмолился домовладѣлецъ,—на условіи не считать за вами вашего долга... Вѣдь, нѣсколько сотъ рублей чего-нибудь стоютъ? Поймите вы это!

— Я васъ очень хорошо понимаю, но поймите и вы меня, что не могу-же я съ семействомъ, ради вашего удовольствія, выбраться на улицу, чортъ знаетъ куда и какъ!

Домовладѣлецъ понялъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и у него дотого загорѣлось желаніе поскорѣе избавиться отъ нецеремоннаго мародера-квартиранта, что онъ, кромѣ уничтоженія долга, оплатилъ еще Косяковымъ изъ своего кармана издержки по переѣзду и задатокъ за дачу—въ сложности нѣсколько десятковъ рублей. У Косякова это

былъ не единственный случай такой остроумной раздѣлки съ домовладѣльцами за квартиры. Онъ нарочно выбиралъ среди нихъ людей богатыхъ, балованныхъ и брезгливыхъ, заживался въ ихъ домахъ, не платя ни гроша, до послѣдней крайности и съѣзжалъ не иначе, какъ на выше означенныхъ, безобидныхъ для него условіяхъ. Это былъ одинъ изъ многочисленныхъ фортелей его хозяйственно-дѣловой политики.

---

## II.

Дарованному или ворованному коню въ зубы не смотрятъ. Элегантный мародеръ никогда не торгуется и никогда не стѣсняется принимать на себя какія угодно обязательства. Для него ничего нѣтъ слишкомъ дорогого, и никакими цѣнами его невозможно ни удивить, ни смутить. Да и стоитъ-ли обращать вниманіе на такіе пустяки? Дорого-ли, или дешево съ него запрашиваютъ— вѣдь, онъ все равно ничего не заплатитъ въ концѣ-концовъ, а, между тѣмъ, до поры до времени у ограбленныхъ «дураковъ» есть забавка въ иллюзіи, что они совершили необыкновенно выгодныя для себя продажи. Надоже и жертвамъ мародерства оставлять какое-нибудь утѣшеніе.

У Косяковыхъ на этотъ предметъ была выработана цѣлая, весьма обстоятельная система. Кромѣ сейчасъ отмѣченнаго политико-экономическаго основанія, они имѣли въ виду своей сговорчивостью въ цѣнахъ, своей тароватостью на обѣщанія и выборомъ себѣ на потребу

всего лучшаго и дорогого производить впечатлѣніе какихъ-то роскошныхъ Крезовъ, какихъ-то «большихъ господъ».

Надо отдать справедливость, они были мародеры со вкусомъ и съ манерой:—любили хорошо и широко пожить и умѣли во всемъ поддержать тонъ того дешеваго, поверхностнаго джентльменства, легко озадачивающаго близорукихъ и простыхъ людишекъ, которымъ ослѣпляютъ васъ обыкновенно, при первомъ знакомствѣ, высшаго полета шуллера и кокотки.

Впрочемъ, по своему происхожденію и прошлому, Косяковы принадлежали къ классу «бархатниковъ» и имѣли право гордиться своей «бѣлой костью», да и не взирая на всю ихъ захудалость, отчаянность и систематическую безсовѣстность, находились ими же обобранные, хорошо ихъ знавшіе простаки, которые не только благодушно имъ все прощали, но, кромѣ того, питали къ нимъ какую-то низкопоклонную преданность, почтительно смотрѣли на нихъ снизу вверхъ, какъ на привилегированныхъ существъ высшаго порядка, холопски восхищались ими.

Таковы люди въ большинствѣ! Надо имъ только импонировать нагло, не краснѣя, своей разнузданностью, показать, что «мы такъ *хотимъ*», что «намъ такъ *можно*» и все это, разумѣется, съ подобающимъ аппломбомъ своего волчьяго права и вѣры въ себя, чтобы у самаго отъявленнаго негодяя этого высокаго полета тотчасъ-же нашлись и поклонники и приспѣшники.

Косяковы мастерски умѣли себя такъ выгодно поставить, а широкимъ, барскимъ розмахомъ своей жизни, изысканностью требованій и аристократическимъ презрѣ-

ніемъ къ цѣнамъ производили вездѣ на первыхъ порахъ положительно волшебное впечатлѣніе на весь окружающій людъ, промышляющій довольствіемъ «господъ» и всяческими имъ услугами. На весь околотокъ разносилась крылатая вѣсть, что проявились-де «большіе баре», «безпремѣнно богатые и тароватые», потому что требуютъ всего много, о цѣнахъ не спрашиваютъ—бери, что хочешь,— и счетовъ не провѣряютъ—обвѣшивай, обмѣривай и присчитывай сколько совѣсти хватитъ!

Призракъ богатства, ловко брошенный въ глаза алчной, раболѣпной толпѣ, гипнотизируетъ ее нерѣдко до совершенной потери осторожности и чувства самосохраненія. Это такая ходкая, благодарная фальшивая монета, въ родѣ чародѣйскаго неразмѣннаго червонца, которая въ проворныхъ рукахъ мастера дѣла всегда даетъ превосходный, бѣшеный дивидендъ, а для профессіональнаго мародерства, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, болѣе надежнаго орудія и представить себѣ нельзя!

---

## III.

Съ такимъ именно престижемъ переселились Косяковы на дачу, чтобы, по ихъ выраженію, «перебиться».

Въ сущности, они всегда «перебивались», въ чаяніи какихъ-то совершенно фантастическихъ одолженій со стороны судьбы, въ родѣ, напримѣръ, выигрыша двухсотъ тысячъ на лотерейный билетъ, купленный въ разсрочку у обязательнаго г. Клима, или полученія концессіи на постройку чебоксаро-тетюшинской линіи, никому

ненужной и никѣмъ не проектированной, или-же, наконецъ, ограбленія «дворянскаго банка» посредствомъ явно обманнаго перезаклада въ немъ давно свыше мѣры задолженной и заложенной «вотчины», не дающей никакого дохода.

Надо замѣтить, что Косяковы никогда не имѣли своей постоянной дачной резиденціи, а каждое лѣто ее мѣняли по весьма понятной причинѣ. Они любили перемѣну воздуха, а главное—перемѣну антуража и состава самихъ «дураковъ», на счетъ которыхъ они располагали «перебиться» въ критическій моментъ своего существованія. Каждое лѣто они избирали новую, по возможности живописную мѣстность въ окрестностяхъ Петербурга, гдѣ ихъ еще не знали.

Въ описываемый разъ они расположились въ Шуваловѣ. Безъ торга заняли роскошную, меблированную, со всѣмъ обзаведеніемъ, дачу, принадлежавшую богатому молодому купчику. Тутъ былъ тонкій разсчетъ и цѣлый планъ, выполненіе котораго всецѣло падало на madame Косякову.

Трудно было-бы найти пару болѣе гармоническую, болѣе дружную, по воззрѣніямъ, наклонностямъ и вкусамъ, какую представляли собою monsieur и madame Косяковы. Онъ, конечно, главенствовалъ и игралъ роль кормчаго въ управленіи ихъ утлой семейственной ладьей, но стоило ему только взглянуть на жену, туда или сюда повести кудрявымъ усомъ или бровью, чтобы она моментально, съ проникновеніемъ, свойственнымъ однѣмъ женщинамъ, входила въ его остроумные намѣренія и

планы, и тотчасъ-же начинала вдохновенно дѣйствовать въ интересѣ ихъ скорѣйшаго успѣха.

Купчикъ-дачевладѣлецъ, рыхлый, сырой увалень, съ наклонностями къ кутежу и распутству, но и съ фанаберной претензіей на порядочность, лично явился къ дачникамъ за «должкомъ». Интересовалъ его, въ сущности, не «должокъ», а сами жильцы—бонтонные господа, какими онъ себѣ ихъ вообразилъ. Ему страстно хотѣлось свести съ ними пріятное, почетное для него, какъ онъ думалъ, знакомство, а потому, вмѣсто того, чтобы послать за деньгами дворника, онъ заблагоразсудилъ явиться самолично.

Косяковъ, со свойственной ему быстрой смѣтливостью, съ перваго-же взгляда понялъ—съ кѣмъ его свела благосклонная судьба. Утонченная любезность съ ревнивымъ сохраненіемъ собственнаго достоинства, обольстительная фамильярность и дипломатичное обозначеніе черты близости—«до сихъ поръ, милый другъ, а дальше не смѣть забываться!», готовность якшаться «съ тобой, мужланомъ», но и настойчивое требованіе соотвѣтственнаго за это гонорара—все здѣсь было пущено въ ходъ для обработки подвернувшагося «пижона». Въ довершеніе сеанса, Косяковъ, постигнувъ сластолюбивыя наклонности купчика, сдалъ его съ рукъ на руки женѣ, только-что вышедшей изъ уборной въ очаровательномъ утреннемъ дезабилье.

И мужъ и жена Косяковы были люди уже не первой молодости, но здоровые, породистые и красивые. Madame Косякова могла еще весьма нравиться своими черными, огневыми глазами, своими пышными формами,

маленькой, щегольски обутой ножкой и прелестными, бѣлыми, съ синими жилками, ручками, а главное, своимъ чарующимъ кокетствомъ высшей школы.

— Ужъ больше мѣсяца, какъ мы у васъ живемъ на дачѣ, а вы до сихъ поръ не вздумали сдѣлать мнѣ визита... Ахъ, какой вы нелюбезный кавалеръ!—закативъ глазки отъ кокетливаго негодованія, пеняла madame Косякова увальня-купчика.

— Ну, что-жъ вы не цѣлуете, тюфякъ!—сказала она ему, суя свою ручку къ его губамъ, послѣ того, какъ онъ только неловко пожалъ ее.—Чего вы боитесь!—Видите, мужъ ушелъ... мы съ вами одни здѣсь... Вы должны испросить у меня прощеніе за свою нелюбезность...

«Тюфякъ», до корней волосъ очарованный, по-медвѣжьи облапилъ протянутую ему нѣжную, пахучую ручку и впился въ нее, какъ вампиръ, своими толстыми, мокрыми губами.

Madame Косякова должна была употребить усиліе, чтобы вырвать у него свою руку и, освободивъ ее, стала безцеремонно, съ нескрываемымъ чувствомъ брезгливости, обтирать ее своимъ батистовымъ платочкомъ. Гость ей былъ до-нельзя противенъ въ эту минуту: — онъ покраснѣлъ, весь покрылся испариной и сопѣлъ, какъ кузнечный мѣхъ, отъ эротическаго волненія... Таившійся въ немъ звѣрь проснулся.

— Какой вы, однако, нетерпѣливый и наглый!— играя своими огневыми глазами, промолвила Косякова и, съ дѣланнымъ, напускнымъ ужасомъ, какъ бы убѣгая отъ опаснаго для ея цѣломудрія преслѣдованія, бро-

силась въ противоположный уголъ дивана и раскинулась тамъ въ граціозной позѣ, какъ кошечка.

Опьяненный и озвѣрѣвшій купчикъ потянулся къ ней...

— Цыцъ! не смѣть! — погрозила ему пальчикомъ обольстительная барыня.—То, чего вы хотите, нужно заслужить... Понимаете, медвѣдь вы этакій!

И съ этой минуты онъ сталъ «заслуживать»... Мало того, что о платежѣ за дачу онъ никогда ужъ больше не смѣлъ и заикнуться, онъ потерялъ мужество отказывать господину Косякову въ его безстыдныхъ требованіяхъ денегъ въ долгъ. Косяковъ искусно игралъ роль обманутаго мужа такимъ родомъ, что это льстило самолюбію распутнаго балбеса-купчика.

На самомъ дѣлѣ, купчикъ не имѣлъ ни малѣйшаго права хвастать побѣдой надъ madame Косяковой, по нотамъ de la haute école разыгравшей свою комедію; но его завлекала самая эта комедія и покоряла, если не сладость обладанія этой плѣнительной кокеткой, этой шикарной «барыней», то хоть молва, слѣпая и глупая, что онъ, будто-бы, пользуется ея полной благосклонностью... А Косяковъ подъигрывался подъ эту молву и, маскируясь ролью обманутаго мужа, вытягивалъ изъ кармана дураковатаго купчика кушъ за кушемъ.

---

## IV.

«Перебиваться» при такихъ условіяхъ было не трудно.

Главная статья лѣтняго бюджета была какъ-бы погашена, да еще съ преміей и процентами, прелестями madame Косяковой—то есть, платежъ за дачу. Благодаря тому-же источнику, въ видѣ заимообразныхъ одолженій у влюбленнато дачевладѣльца, Косяковы могли поддерживать о себѣ въ околодкѣ престижъ людей богатыхъ и тароватыхъ.

Всѣ окрестные лавочники, всѣ многочисленные разносчики всячески подличали и интриговали, чтобы сдѣлаться ихъ поставщиками, а, разъ, добившись этого счастья, старались только о томъ, чтобы они у нихъ какъ можно больше забирали. Такую торгашескую политику легко понять, если принять во вниманіе, доведенную до послѣдней крайности, конкурренцію безчисленныхъ дачныхъ торгашей, другъ у друга отбивающихъ заработки и барыши.

Косяковы, натурально, пользовались этимъ, выгоднымъ для нихъ, положеніемъ рынка и своимъ обольстительнымъ престижемъ, вовсе не думая о разсчетѣ.

Была въ числѣ ихъ поставщиковъ одна вдова-крестьянка съ кучей дѣтворы—малъ-мала меньше, бѣдная труженица-баба, промышлявшая молокомъ и скопами отъ своей единственной кормилицы-коровы и стиркой бѣлья. Обольщенная престижемъ богатства и барственности Косяковыхъ, она, какъ особеннаго счастья, добилась воз-

можности и чести стирать на нихъ бѣлье и поставлять имъ свои молочные продукты. Для разсчетовъ съ нею Косяковы выдали ей книжку (на этотъ счетъ они всегда были до-нельзя сговорчивы), въ которую или сама Косякова, или ея прислуга безъ малѣйшаго торга вписывали все, что ни заблагоразсудила вдова диктовать за свои поставки и работу.

Прошелъ мѣсяцъ. По книжкѣ у вдовы накопилась порядочная сумма, и возымѣла она желаніе получить разсчетъ тѣмъ настоятельнѣе, что у нея приходилъ срокъ какого-то неотложнаго поземельнаго долга, за неисправный платежъ котораго волостное начальство грозило конфисковать у нея корову и продать ее съ аукціона.

Вдова въ одинъ изъ приносовъ своихъ молочныхъ продуктовъ попросила чрезъ прислугу Косяковыхъ платежа за свою поставку и стирку. Ей отвѣтили: «приходи завтра!» Пришла завтра—тотъ-же разговоръ.

«Завтра», да «завтра», такъ и прокормили бѣдную бабу «завтраками» до той поры, пока не явились къ ней во дворъ волостные «фараоны» и не увели отъ нея «буренушку»—единственную кормилицу ея и ея дѣтворы.

Взвыла баба и озлобилась. Рѣшила она «дойти» до самихъ «господъ»—до этихъ великолѣпныхъ «богачеевъ» и сибаритовъ Косяковыхъ. Выждала она ихъ однажды у подъѣзда ихъ роскошной дачи, когда они выходили съ узорчатаго крыльца, чтобы сѣсть въ щегольскую коляску и ѣхать кататься на свѣжемъ воздухѣ.

Бросилась она къ нимъ въ ноги со вдовьими рыданіями, и, суя имъ въ руки свою книжку, умоляла сжалиться надъ нею и уплатить ей долгъ по чести.

Оба Косяковы были чрезвычайно непріятно изумлены этой скандалезной, мелодраматической сценой. Косяковъ укоризненно посмотрѣлъ на провожавшаго ихъ лакея—какъ, молъ, онъ не предусмотрѣлъ и не устранилъ такого возмутительнаго инцидента?

Лакей понялъ упрекъ и бросился убирать надоѣдливую, несообразную бабу. Косяковы садились въ эту минуту въ коляску и торопились уѣхать; но отчаянная вдова успѣла вырваться изъ рукъ лакея, подбѣжала къ коляскѣ и, глядя на благообразныхъ, щегольски одѣтыхъ «господъ» изступленно-негодующими глазали, завопила не своимъ голосомъ:

— Кровопійцы! разорители! мою кровь, труды и слезы вдовьи высосали... А еще «господами» называетесь!

Въ это мгновеніе коляска двинулась съ мѣста.

— На-те-же! Возьмите! Пускуй вамъ сиротскія деньги на гробъ пойдутъ... Будьте вы прокляты!

Madame Косякова почувствовала на своей пухленькой щечкѣ рѣзкое, непріятное прикосновеніе какого-то грязнаго ошметка, который, шлепнувшись объ ея лицо, упалъ къ ея ногамъ. Это была разсчетная книжка вдовы-молочницы и прачки, которою она швырнула въ нихъ, когда они тронулись въ путь.

— Мерзавка!—разсердилась m-me Косякова, опомнившись отъ грубаго и дерзкаго покушенія бѣшеной «мужички».—Этого ей нельзя простить. Надо сказать уряднику, чтобы онъ ее какъ слѣдуетъ наказалъ...

— Э, ma chére, на всякое чиханье не наздравствуешься!—съ хладнокровной разсудительностью сказалъ супругъ-Косяковъ.

— Однимъ непріятнымъ разговоромъ у насъ меньше... Отдѣлались и—слава Богу! А документикомъ пренебрегать не годится... Мы его подберемъ!—и, сказавъ это, онъ нагнулся, подхватилъ грязную, обтрепанную разсчетную книжку вдовы и бережно спряталъ ее въ боковой карманъ.

---

# СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО.

## I.

Къ Петру Ивановичу Сѣмечкину пріѣхалъ въ Петербургъ отецъ. Онъ тридцать пять лѣтъ учительствовалъ въ провинціи, вышелъ въ отставку съ ничтожнымъ пенсіономъ и, недавно потерявъ жену, остался на чужбинѣ одинъ, какъ палецъ. Родни у него только и было, что сынъ, къ которому онъ теперь и пріѣхалъ, на его радушный зовъ — дать у себя спокойный пріютъ отцу въ его сиротливой старости. Много лѣтъ они не видались. Петръ Ивановичъ въ послѣдній разъ навѣстилъ старика по окончаніи курса наукъ, а тому прошло лѣтъ двадцать. Съ той поры онъ, прочно основавшись въ Петербургѣ, успѣлъ и карьеру отлично сдѣлать, и нажиться, и семьей обзавестись и респектабельное брюшко отростить.

Немудрено, что, послѣ такой долгой разлуки, и отецъ и сынъ почувствовали себя теперь, при встрѣчѣ, почти

чужими другъ другу и оба были внутренно смущены какъ этимъ, такъ и мгновенно осѣнившимъ ихъ инстинктивнымъ сознаніемъ рѣзкой разницы между ними въ положеніяхъ, въ средствахъ, даже во внѣшности и въ томъ, наконецъ, что одинъ изъ нихъ былъ столичный человѣкъ послѣдняго чекана, а другой—скромный, отсталый провинціалъ.

Плотный, цвѣтущій блондинъ, съ розовыми щеками и пунцовыми мясистыми губами, свѣжій, выхоленный и щегольски одѣтый, Сѣмечкинъ младшій, въ своей нарядной гостинной, просто подавлялъ и уничтожалъ уже однимъ своимъ великолѣпнымъ видомъ Сѣмечкина старшаго, съ его ветхостью, бѣднотою и невзрачностью. Это былъ сухопарый старичекъ, съ густою щетиной сѣдыхъ волосъ на головѣ, съ впавшими, застѣнчивыми глазами на поблекломъ, морщинистомъ лицѣ, и—Петру Ивановичу показался онъ такимъ нескладнымъ, грубоватымъ и крайне непредставительнымъ, что у него тутъ-же мелькнула малодушная забота: какъ онъ его, *этакого* вотъ, покажетъ здѣсь своимъ столичнымъ знакомымъ? Всего непріятнѣе поразила его заношенность бѣлья и платья родителя, и этотъ чудовищнаго покроя черный сюртукъ, изветшавшее сукно котораго съ особенной рѣзкостью лоснилось и отливало рыжеватымъ оттѣнкомъ на выдавшихся, заостренныхъ лопаткахъ костлявой фигуры старика.

Все это однимъ взглядомъ подмѣтилъ, оцѣнилъ и принялъ къ свѣдѣнію Петръ Ивановичъ, встрѣчая отца, и старался шумнымъ, суетливымъ выраженіемъ сыновней радости замять и скрыть свое черствое впечатлѣніе.

— Какъ-же я вамъ радъ, дорогой папенька! — въ десятый разъ кидался онъ лобызать старика и, любовно обнявъ его, водилъ изъ комнаты въ комнату, точно не зналъ — гдѣ найти достаточно удобное и почетное для него мѣстечко?—Машенька! дѣти! гдѣ-же вы? Ступайте сюда—дѣдушка пріѣхалъ!—спохватывался онъ, бѣжалъ и звалъ ликующимъ голосомъ семью раздѣлить его радость; потомъ торопливо возвращался къ родителю и снова прижималъ его къ сердцу.—Ахъ, папочка! праздникъ-то какой вы намъ сдѣлали!.. Чмокъ... чмокъ... Ба! а багажъ-то вашъ гдѣ? Приказали-ли вы его внести?—и, не ожидая отвѣта, бросался въ переднюю къ слугѣ:—Эй, Семенъ! ты что-же здѣсь? Поди, прими скорѣе вещи папеньки, да чтобъ самоваръ сейчасъ былъ готовъ и завтракъ.—И опять:—Милый, милый папенька!

Словомъ, Петръ Ивановичъ на радостяхъ поднялъ весь домъ на ноги и огласилъ его шумнымъ ликованіемъ, къ вящему смущенію Сѣмечкина старшаго, конфузливо мявшаго въ рукахъ свою старенькую, порыжѣвшую сивую смушковую шапку, пока сынъ, украдкою гадливо косившійся на нее и мысленно обрекшій ее на немедленную замѣну новою, болѣе приличною (можно-ли носить такое безобразіе?—возмущался онъ про себя), не вынулъ ее у него изъ рукъ.

Въ гостинную вошла статная, съ роскошнымъ бюстомъ, молодая женщина, въ изящномъ утреннемъ нарядѣ, съ красивымъ, но нѣсколько соннымъ лицомъ, въ сопровожденіи кучи дѣтей—двухъ мальчиковъ и двухъ дѣвочекъ, лѣтъ отъ десяти до трехъ, такихъ-же розовыхъ, плотныхъ, красивыхъ и нарядныхъ.

— Ну, вотъ,—рекомендую вамъ, папенька: моя половина и мой приплодъ!—съ живостью представилъ отцу Петръ Ивановичъ жену и дѣтей.—Прошу любить и жаловать!

Произошло довольно холодное и церемонное знакомство.

— Цѣлуйте ручку у дѣдушки! — приказалъ Петръ Ивановичъ дѣтямъ, желая подогрѣть эту семейную сцену родственной теплотой.

Дѣти, кобенясь и воззрясь на дѣдушку любопытными, удивленно-недовѣрчивыми глазенками, пошли было къ ручкѣ, но онъ имъ ея не далъ, а, вмѣсто того, всѣхъ ихъ расцѣловалъ.

— Какову семейку Богъ послалъ, папенька? — сіяя супружеской и родительской гордостью, воскликнулъ Петръ Ивановичъ.

— Прекрасная! — сказалъ старикъ, дѣйствительно восхищаясь цвѣтущимъ видомъ невѣстки и внуковъ.

— И тутъ не вся еще... Въ люлькѣ еще одинъ карапузъ пищитъ... Мы съ моей Марьей Андреевной, папаша, не теряемъ время втунѣ! — игриво промолвилъ Петръ Ивановичъ и, съ любовной лаской обхвативъ жену за талію, пододвинулъ ее къ отцу, какъ-бы на показъ.—Вы посмотрите-ка на нее:—мать многочисленнаго семейства, что ни годъ, почитай, то ребенокъ, а еще бабенка хоть куда! Смотрите,—продолжалъ онъ, поворачивая жену во всѣ стороны:—формы чудесно сохранила—не уколупнешь, станъ, какъ у восемнадцатилѣтней дѣвушки, на лицѣ ни морщинки... просто влюбиться можно, да и влюбляются...

— Полно тебѣ глупости болтать!—апатично уронила Марья Андреевна, видимо, однако, польщенная аттестаціей мужа.

— Ей Богу, папенька! знаете, случается, въ театрѣ сидимъ, въ ложѣ, такъ мою Машеньку весь партеръ лорнируетъ... Мужу, конечно, это лестно, а иной разъ ревность возьметъ, право!.. Только она у меня, папенька, добродѣтельная; образцовая супруга, папенька... Лѣнивы мы, вотъ, немножко, ну, да славу Богу, по нашимъ достаткамъ и полѣниться не грѣхъ.

— Будешь лѣниться, ежели изъ интереснаго положенія почти не выходишь!—съ легкимъ неудовольствіемъ, оттопыривъ нижнюю губку, возразила Марья Андреевна.

— Да, да! на этотъ счетъ она у меня, папаша, молодецъ,—что ни годъ, то крестины справляемъ. Теперь у насъ уже пятеро, а если Господь продлитъ вѣку, такъ я заранѣе гарантирую вамъ, папенька, на худой конецъ еще дюжину внуковъ.:.

— Типунъ тебѣ на языкъ!—стыдливо разсердилась молодая женщина, ударивъ своей бѣлой пухлой рукою мужа по плечу.

— И вы поглядите, папочка, какихъ мы вамъ внучковъ производимъ! — обратился Петръ Ивановичъ къ смирно, кучкою стоявшимъ дѣтямъ.—Вѣдь, первый сортъ; ежели и на выставку племенныхъ ребятъ выставить... ныньче, папенька, и такія выставки въ просвѣщенныхъ странахъ происходятъ... такъ навѣрно моя Машенька получила-бы большую золотую медаль... Посмотрите-ка!— тутъ Петръ Ивановичъ подхватилъ на руки младшаго сына и, вертя его въ своихъ сильныхъ рукахъ, какъ

перышко, сталъ показывать старику, точно купецъ товаръ свой.—Троньте-ка, папенька, рукой на ощупь:—вѣдь, какъ есть, огурецъ! Кольните его булавкой, такъ изъ него кровь фонтаномъ брызнетъ... сѣмечкинская кровь, папенька!

— Очень здоровый мальчикъ! — согласился Сѣмечкинъ старшій, поласкавъ рукою ребенка.

— Потому питаніе и воспитаніе у меня для нихъ раціональное, кромѣ счастливой природы... Всѣ они у меня гимнастикой занимаются. Ну-ка, Ваня,—обратился Петръ Ивановичъ къ старшему сыну,—покажи дѣдушкѣ свое искусство!

И съ этими словами Петръ Ивановичъ оперъ свою ногу на кресло, горизонтально ее вытянулъ, а Ваня тотчасъ-же съ разбѣгу кинулся на нее, съ ловкостью опытнаго гимнаста, и, какъ на шестѣ, завертѣлся на ней колесомъ.

Гостю оставалось только удивляться.

— Однако, пѣснями соловья не кормятъ!—сказалъ хозяинъ.—Мамочка,—отнесся онъ къ женѣ,—распорядись, чтобы завтракъ и чай давали скорѣе... Папенькѣ съ дороги нужно подкрѣпиться!

Марья Андреевна, сопровождаемая дѣтьми, плавно выплыла изъ гостинной, волоча свой пышный шлейфъ.

— Что-же вы, папаша, не сядете?.. Будьте, какъ дома!—и, употребляя деликатное, родственное насиліе, Сѣмечкинъ младшій усадилъ Сѣмечкина старшаго въ удобное кресло.

Бухнувъ сразу въ кресло, старикъ, съ непривычки

къ пружинной, эластической мебели, очень неловко вскочилъ:—ему показалось, что онъ проваливается.

— Ха-ха-ха!—добродушно разсмѣялся Петръ Ивановичъ.—Чего вы, папенька, испугались? Не привыкли къ мягкой мебели... Ахъ, вы бѣдный, бѣдный! Садитесь смѣло—не провалитесь! У меня не такая мебель, на которой проваливаются, не рыночная, не мочальная... Самъ заказывалъ у лучшихъ мастеровъ. Посмотрите — это упругость стали, въ соединеніи съ пушистостью лебяжьей перины!—и, въ доказательство своихъ словъ, онъ сталъ, съ искусствомъ обойщика, показывать руками—въ какой степени подушки въ его креслахъ въ своемъ родѣ превосходны.

Старикъ, все съ тѣмъ-же смущеннымъ, застѣнчивымъ видомъ, смотрѣлъ и слушалъ, поддакивая изъ вѣжливости.

— Простите, папенька—спохватился Петръ Ивановичъ, присѣвъ возлѣ отца,—мы все вамъ до сихъ поръ о себѣ докладывали; ну, а вы-то что, вы-то какъ поживали—я и не спросилъ.

— Да какое-же мое житье?—Все одно и то-же было: служилъ, потомъ мнѣ предложили въ отставку подать...

— Ахъ, вы бѣдный, бѣдный!—нѣжно пожимая колѣнку отца, промолвилъ меланхолически Петръ Ивановичъ.

— Да почему-же я бѣдный?—возразилъ старикъ съ тономъ нѣкоторой обиды.

— Какъ-же! Служили, цѣлый вѣкъ служили, трудились, здоровье надрывали, и—до чего дослужились?—съ состраданіемъ сказалъ Петръ Ивановичъ и тутъ ему

живо представилась и ужасная смушковая шапка старика, и протертые рыжіе блики на лопаткахъ его сюртука.

— Что-жъ! Служилъ, честно сдѣлалъ, въ мѣрѣ силъ, свое дѣло... Чего-жъ больше?—Я думаю, что моя жизнь прошла не безплодно... Ну, да что обо мнѣ?—Моя пѣсня спѣта; ты-то, вотъ, что дѣлаешь и какъ живешь?—спросилъ старикъ, желая отклонить разговоръ о себѣ, очевидно ему непріятный.

— Мои занятія, папенька, будутъ немножко поприбыльнѣе вашихъ. Я служу въ одномъ большомъ акціонерномъ обществѣ, получаю одного жалованья десять тысячъ и, кромѣ того, имѣю еще дѣла на сторонѣ—на биржѣ, по коммиссіямъ... Не могу жаловаться на Бога. Живу я,—какъ вы видите,—безъ нужды и могу доставлять моему семейству приличное существованіе.

— Значитъ, ты счастливъ?

— По совѣсти сказать—вполнѣ счастливъ, папенька! Другіе ропщутъ и въ одномъ личномъ благосостояніи не находятъ полнаго для себя удовлетворенія:—и то имъ дай, и сё и это... «Мнѣ хорошо, такъ почему-де другимъ худо?»—А я, папаша, держусь такого мнѣнія:—своя рубашка всего ближе къ тѣлу и моя хата съ краю... Какое мнѣ дѣло до другихъ?—Правильно? Вообще, папенька, могу васъ серьезнымъ образомъ успокоить: вашъ сынъ счастливъ, совершенно счастливъ, дай Богъ, чтобы ваши внуки были такъ-же счастливы!

— Ну, и очень радъ!

— Отъ души благодарю васъ, папочка! Я зналъ заранѣе, что вы будете рады моему счастью, и предвку-

шалъ, такъ сказать, ваше родительское, навѣки нерушимое благословеніе моимъ успѣхамъ...

Старикъ промолчалъ.

---

## II.

Дѣйствительно, Петръ Ивановичъ Сѣмечкинъ—вполнѣ счастливый человѣкъ, но главная отличительная черта его заключается въ томъ, что онъ счастливъ, какъ говорится, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти.

Людей счастливыхъ, слава Богу, немало на свѣтѣ, въ особенности теперь—въ наши тихіе, мирные, благополучные дни. Но въ то время, какъ иной баловень фортуны отращиваетъ себѣ брюхо, здравствуетъ и благоденствуетъ втихомолку, «при закрытыхъ дверяхъ», съ чувствомъ большей или меньшей стыдливости,—Петръ Ивановичъ дѣлаетъ изъ своей сытости, изъ своего личнаго счастья и цвѣтущаго состоянія какой-то торжественный культъ, повсечасно стремясь возбуждать направо и налѣво удивленіе къ себѣ и умиленіе, а на худой конецъ хотя-бы только завистливую оторопь.

Недостатокъ-ли это деликатности, или послѣдствіе ожиренія—не знаю, но только господинъ Сѣмечкинъ, при всей своей незлобивости и простосердечіи, въ состояніи безпардонностью своего счастья и самодовольнымъ его выказываніемъ привести иного нервнаго мизантропа въ бѣшенство. При всемъ томъ, онъ любитъ противупоставлять свои блага, удачи и цвѣтущія качества чужимъ недостаткамъ, неудачамъ и изъянамъ, и

дѣлаетъ это всегда очень образно, даже художественно, но—что всего обиднѣе—съ неувядаемо-веселымъ добродушіемъ.

— Слышите?—не преминетъ онъ, напримѣръ, послѣ хорошаго обѣда возвѣстить собесѣднику съ пустымъ или хворымъ желудкомъ, щелкая себя пальцами по круглому животу.

— Что такое?—освѣдомится тотъ.

— Барабанъ! Развѣ не слышите?—съ ликующей миной, пояснитъ Петръ Ивановичъ, искусно извлекая съ поверхности своего сытаго чрева гулкіе тимпаническіе звуки.—Могу дверь высадить съ одного натиска, какъ тараномъ...

— Пресытились?

— Д-да-съ... А часика, эдакъ, черезъ три опять за столъ съ удовольствіемъ сяду... Желудокъ у меня, батенька, лучше всякой паровой круподерни.

Похваляясь сытостью, емкостью и исправностью своей утробы, Иванъ Петровичъ также любитъ тщеславиться своимъ здоровьемъ и тѣлесной крѣпостью, и—опять-таки безъ всякаго злого умысла досадить кому нибудь, а просто изъ какого-то непосредственнаго, натуральнаго кокетства, конечно, немножко грубоватаго и глуповатаго въ такомъ наивно-откровенномъ проявленіи.

— Пощупайте-ка, милый другъ!—непремѣнно улучитъ онъ минуту, разговаривая съ вами, подставить вамъ на обозрѣніе свою развитую ручную мышцу.

— Вѣдь, желѣзо... бессемеровская сталь... не правда-ли?—гимнастически сгибая и разгибая руку въ локтѣ, похвалится онъ.

Также точно онъ заставитъ васъ щупать сукно на его новой визиткѣ, мѣхъ на его шубѣ, золотую цѣпочку на его часахъ и проч., и непремѣнно, при этомъ, удивляться необыкновенной добротности и цѣнности всей этой движимости. Гости въ домѣ Петра Ивановича, какъ-бы въ видѣ пошлины за угощеніе, обязуются обозрѣвать подробно всѣ его благопріобрѣтенія по части домашней утвари, изумляться и ахать, какъ все это хорошо и изящно.

— Вы еще то возьмите—дешево-то какъ? За полцѣны купилъ по случаю! Тутъ одинъ прогорѣвшій баринъ продавалъ, такъ я воспользовался!—уже весь сіяющій отъ блаженства, возвѣститъ Сѣмечкинъ.

Въ немъ это характерная подробность: — благопріобрѣтать все стоющее, хорошее, но чтобы дешево, задаромъ.

— Кушайте, покорно прошу! Поросенокъ-то удивительный! Красненькую-бы нужно дать, а мнѣ вотъ (понизивъ голосъ, на ухо шепчетъ Петръ Ивановичъ довѣренному гостю) за пять рублей, по знакомству, уступили!

Такова, обыкновенно, приправа всѣхъ его радушныхъ угощеній, неудивительно, что онѣ становятся иногда поперегъ горла гостямъ. Даже жену и дѣтей обратилъ онъ, какъ мы уже видѣли, въ объекты своей кичливости, въ рекламу своего счастья и совершеннаго довольства своей судьбою.

— Экой счастливый и удачливый человѣкъ этотъ Петръ Ивановичъ!—завидуютъ ему друзья и соперники, не столь преуспѣвающіе въ достиженіи мѣщанскаго счастья.

— Экая свинья!—скрыпя зубами, негодуютъ на него несчастливцы ипохондрическаго образа мыслей.

---

## III.

Прошло съ мѣсяцъ со времени пріѣзда Сѣмечкина старшаго и водворенія его на сыновнихъ хлѣбахъ у Сѣмечкина младшаго. Хлѣба были сытные и даже изысканные; уголъ теплый и удобный, не менѣе оставались теплыми и родственныя чувства сына и его семьи... Чего-бы больше?—А, между тѣмъ, старикъ все какъ-то жался и конфузился и, точно улитка, держался въ своей жесткой, шероховатой скорлупѣ, не выказывая никакихъ признаковъ искренности, сердечности и благодарности. Стали о немъ думать въ семьѣ Петра Ивановича, что онъ просто засохшая, отъ старости, деревяшка безъ всякихъ чувствъ. Самому Петру Ивановичу казалось поведеніе отца страннымъ и, какъ-то, выбравъ минуту, онъ зазвалъ его къ себѣ въ кабинетъ, усадилъ въ удобное кресло и спросилъ:

— Папенька, скажите пожалуйста откровенно, чѣмъ вы у насъ недовольны?

— Помилуй, другъ мой, чѣмъ-же я могу быть недоволенъ?—возразилъ озадаченный старикъ. — Напротивъ, я болѣе, чѣмъ доволенъ твоимъ и милой Марьи Андреевны вниманіемъ ко мнѣ... Я даже не знаю, какъ васъ благодарить!

— Нѣтъ, папенька, вы извините меня, но—въ васъ явно таится неудовольствіе... Это всѣ замѣтили.

— Можетъ быть, ты и правъ, но если во мнѣ есть неудовольствіе, то развѣ только самимъ собою — ни больше, ни меньше!

— Отчего-же вы недовольны самимъ собою?— Скажите искренно: я, какъ любящій васъ сынъ, употреблю всѣ зависящія отъ меня мѣры...

— Никакихъ особенныхъ мѣръ не нужно! А вотъ что: ты нанимаешь для своихъ дѣтей учителей... Скажи пожалуйста, отчего ты не пригласилъ меня заняться съ ними? Я, вѣдь, старый педагогъ, кое-что знаю и несовсѣмъ еще изъ ума выжилъ... Это было-бы для меня такое святое дѣло и такая неоцѣненная отрада!

Петръ Ивановичъ, вообще не привыкшій отъ чего-бы то ни было смущаться, невольно поникъ взорами передъ вспыхнувшими глазами отца, едва-ли не впервые съ пріѣзда заговорившаго искренно, отъ души. Петръ Ивановичъ не узналъ даже его голоса, зазвучавшаго вдругъ такой крѣпкой силой любви и желанія добра.

— Я, папенька, очень тронутъ вашимъ благорасположеніемъ къ моимъ дѣтямъ,—замямлилъ Сѣмечкинъ младшій:—но, видите-ли...

— Твои дѣти прекрасны, полны силъ и способностей, и—повѣрь—я съумѣлъ-бы направить ихъ на путь истины и идеаловъ...

— Вотъ это-то, папенька, меня и останавливаетъ: ваши идеалы! Я, вѣдь, знаю ваши идеалы... Вы, вѣдь, такъ называемый, человѣкъ пятидесятыхъ годовъ, застыли въ вашихъ идеалахъ и, безъ сомнѣнія, стали-бы внѣдрять ихъ моимъ дѣтямъ; ну, а я того мнѣнія, что они намъ теперича не ко двору... Зачѣмъ-же засорять

умовоззрѣніе грядущаго поколѣнія неподходящимъ и лишнимъ мусоромъ? Вы меня извините, папаша: цѣлый вѣкъ вы исповѣдывали ваши идеалы и, можно сказать, горѣли ими, а что-же они вамъ дали?

— Честное имя и чистую совѣсть...

— Э!—съ нищенской сумой на придатокъ...

Старикъ всталъ, лицо его пылало негодованіемъ и чувствомъ личнаго достоинства, съ высоты котораго онъ считалъ даже унизительнымъ для себя отвѣчать сыну.

Петръ Ивановичъ и огорчился и испугался.

— Папенька, Бога ради, не сердитесь на меня!—кинулся онъ къ отцу съ объятіями.—Простите, что сорвалось у меня такое жесткое, скверное слово... Хотите—я на колѣняхъ буду молить васъ о прощеніи! Бѣдный вы, бѣдный мой,—и я осмѣлился поставить вамъ это въ упрекъ! Казни мнѣ нѣтъ!

— Успокойся, милый сынъ! Кто тебѣ сказалъ, что я—бѣдный? Я лично, по крайней мѣрѣ, того убѣжденія, что если между нами двумя есть бѣдный, то ужъ, конечно, не я...

Петръ Ивановичъ разинулъ ротъ, плохо понимая иронію отца.

— Во всякомъ случаѣ; папенька, успокойте меня—скажите, что вы меня простили и не сердитесь на меня!—остановилъ онъ отца, когда тотъ уходилъ изъ кабинета.

— Прощать мнѣ тебя не въ чемъ, ибо я нисколько и ровно ничѣмъ не чувствую себя оскорбленнымъ съ твоей стороны. Воззрѣнія у насъ только разныя—вотъ и все!—сказалъ старикъ и вышелъ.

Спустя недѣлю послѣ описанной сцены, Сѣмечкина старшаго позвали къ семейному завтраку. Завтракъ уже былъ поданъ на столъ, а старикъ не шелъ и отвѣтилъ на зовъ прислуги, что ему некогда. Петръ Ивановичъ рѣшился самъ, персонально, идти просить его.

— Папенька!—входя къ нему въ комнату, возвѣстилъ онъ.—У насъ сегодня сосиски отъ Гофмана, а вы замѣшкались—простынутъ... Сосиски, знаете, такой фруктъ, что ихъ только горячими и можно ѣсть...

Но, въ своей краснорѣчивой репликѣ о сосискахъ, Петръ Ивановичъ былъ сокращенъ неожиданнымъ для него зрѣлищемъ: Сѣмечкинъ старшій, напрягая свои старческія силы, впихивалъ колѣнями подушку въ свой доплона набитый, обтерханный и пузатый чемоданъ.

— Что это вы дѣлаете, папенька?—спросилъ онъ съ оторопѣлымъ видомъ.

— Какъ видишь, укладываю свой скудный пожитокъ!

— Вы уѣзжаете отъ насъ?

— Да, милый другъ.

— Куда и зачѣмъ?

— Да еще не знаю—куда; мѣстечко, чай, найду себѣ гдѣ нибудь.

— Но позвольте, папенька, какая-же надобность вамъ съѣзжать отъ насъ? Развѣ мы васъ гонимъ? Развѣ мы васъ чѣмъ нибудь обидѣли, огорчили?

— Полно! Кромѣ благодарности къ вамъ, я ничего не чувствую, а только—прости меня—жить я у васъ не могу.

— Отчего-же?

— Во-первыхъ, оттого, что не умѣю быть дармоѣдомъ, а во-вторыхъ, оттого, что вы слишкомъ для меня счастливы...

— Я полагалъ, вы, какъ отецъ, будете радоваться нашему счастью...

— Я и радуюсь, а только ни понять его не могу, ни приспособиться къ нему не въ состояніи... Ты вѣдь самъ сказалъ какъ-то, что я—человѣкъ «застывшій» на извѣстныхъ понятіяхъ. Такъ ужъ прости старика, что онъ не можетъ себя переломить.

Никакія просьбы и убѣжденія не могли остановить Сѣмечкина старшаго въ его рѣшеніи. Онъ съѣхалъ отъ сына.

— Экой упрямый старикашка!—съ горестью пожаловался Петръ Ивановичъ женѣ, когда отецъ уѣхалъ.

— Знать, ему завидно стало на наше счастье смотрѣть,—замѣтила сентенціозно Марья Андреевна.

— Ну, нашего счастья отъ этого не убудетъ... Поцѣлуй меня, мамочка моя!

И супруги слились въ нѣжномъ, долгомъ и блаженномъ поцѣлуѣ.

---

# ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТАМАРА [1]).

Эту исторійку разсказалъ мнѣ одинъ старый художникъ, самъ много пожившій, много испытавшій всякихъ треволненій. Несчастный герой исторійки былъ его товарищъ и другъ; самая исторійка произошла на его глазахъ и хорошо сохранилась въ его памяти. Она тогда-же произвела на разскащика такое потрясающее впечатлѣніе, что и спустя тридцать пять лѣтъ, когда онъ мнѣ разсказывалъ ее, его пронимала дрожь отъ волненія.

Дѣло было приблизительно такъ.

* *
*

[1]) Извѣстна легенда о грузинской царицѣ Тамарѣ, которая заманивала къ себѣ въ замокъ молодыхъ, красивыхъ путниковъ, обольщала ихъ и, удостоивъ любовью, губила потомъ, сбрасывая ихъ въ Терекъ со скалы. Легенда эта, какъ мотивъ, нашла себѣ нѣкоторое отождествленіе въ предлагаемомъ правдивомъ разсказѣ.

Въ разгаръ петербургскаго блестящаго зимняго сезона 185... года, товарищъ разскащика, молодой художникъ—назовемъ его Чигиринскимъ (онъ былъ малоросъ родомъ)—получилъ однажды раздушенную записку на французскомъ языкѣ, набросанную искаженнымъ, чтобы не быть узнаннымъ, женскимъ почеркомъ, такого содержанія:

«Вы давно нравитесь одной хорошенькой, но не свободной, связанной условіями свѣта и, къ тому-же, эксцентричной женщинѣ. Съ вами ищутъ интимной встрѣчи... Угодно?—Если да,—выходите завтра въ 10 часовъ ночи къ Лѣтнему саду со стороны Невы. Тамъ васъ будетъ ждать карета и въ ней довѣренное лицо. Вы подойдете и назовете ваше имя—только имя. Вамъ предложатъ извѣстныя условія и, если вы ихъ примите, свиданіе состоится. Будьте сговорчивы — не раскаетесь!» (Подписи никакой не значилось).

— Съ этой заманчивой цидулой Чигиринскій прибѣжалъ ко мнѣ самъ не свой,—пояснялъ мой разсказчикъ.—И смѣется, и конфузится, и польщенъ, видно, очень, и глаза искрятся этакимъ, знаете, романтизмомъ... Тогда, вѣдь, мы всѣ романтики были и о неземныхъ идеалахъ фантазировали. А Чигиринскій и по натурѣ былъ мечтатель. Парень молодой, пылкій, сердечный и даже, пожалуй, сентиментальный немножко. Это была настоящая художественная душа, рвущаяся въ эмпиреи и падкая до всего изящнаго, тонкаго, поэтическаго и оригинальнаго. Пуще всего на свѣтѣ не терпѣлъ онъ и боялся пошлости, какъ въ своемъ творчествѣ, такъ и въ жизни. А ко всему этому свѣжее еще обаяніе дивной

Италіи, изъ которой онъ незадолго передъ тѣмъ возвратился со своей первой картиной, давшей ему имя. Можно сказать—онъ весь сверкалъ юношеской, мечтательной восторженностью и бредилъ красотой и искусствомъ. Ему было тогда съ небольшимъ двадцать лѣтъ и, хотя по свѣту онъ помыкался не мало, но свѣжъ, наивенъ, неопытенъ и стыдливъ былъ еще, какъ красная дѣвушка. Только-что жить начиналъ и во вкусъ житейской прелести и радости входить. Во всемъ была ему удача. Картина его быстро сдѣлала ему славу, и стали его заваливать заказами портретовъ — все больше свѣтскія барыни. Женскіе портреты писалъ онъ удивительно: самое пошлое лицо онъ умѣлъ одухотворить, сообщить ему что-то идеальное, женственно-благородное, согрѣвалъ его искрой Божіей... Художники упрекали его за это, обзывали льстецомъ, но я знаю, что иначе онъ не могъ-бы писать. Я только боялся, что барыни его избалуютъ. Онъ входилъ въ моду, его преувеличенно захваливали, ласкали, дамы на него заглядывались. Красавцемъ его нельзя было назвать, но онъ не могъ не нравиться женщинамъ. Высокій, стройный, съ вдохновеннымъ блѣдно матовымъ лицомъ и горячими карими глазами, съ каштановыми «кудрями до плечъ», онъ былъ очень «интересный» юноша; но, сколько мнѣ извѣстно, до разсказываемаго случая любовныхъ интрижекъ у него не водилось. И въ этомъ дѣлѣ онъ боялся впасть въ пошлость, мечталъ объ «идеальной» красотѣ и искалъ любви романической, во вкусѣ какой нибудь старинной итальянской новеллы... Вдругъ эта цидула... Можете представить себѣ, какое впечатлѣніе произвела она на

моего мечтателя! Тутъ было все, чтобы вскружить ему голову: и невѣдомая свѣтская, да еще «эксцентрическая» красавица, и смѣлая страстность вызова, и обаятельная романическая тайна, и тонкіе духи, которыми пахла записка... Хоть на кого, такія, понимаете, условія, что голову потеряешь. Далъ онъ мнѣ прочитать записку и спрашиваетъ, что дѣлать, а я ужъ по глазамъ вижу, что онъ непремѣнно побѣжитъ, какъ дурень, на назначенное мѣсто.

— Смотри, братъ,—говорю,—не мистификація-ли какая-нибудь, а если и взаправду, такъ не ввязаться-бы въ какую-нибудь скверную исторію?

— Волка бояться—въ лѣсъ не ходить,—отвѣчаетъ.

— Такъ-то оно такъ... Трусость не достойна мужчины, а все-же разсудка не надо терять. Да ты,—спрашиваю,—не догадываешься-ли, кто такая эта «эксцентрическая» барынька?

— Ума не могу приложить.

— Если не шутка, такъ, разумѣется, который нибудь изъ свѣтскихъ оригиналовъ твоихъ портретовъ.

— Я самъ такъ догадываюсь, да только ни на одну не смѣю подумать...

— Поди, чай, замужняя женщина?

— Можетъ быть.

— Не хорошо, братику, а впрочемъ,—закончилъ я—дѣлай, какъ тебѣ ретивое велитъ! Совѣтовать тутъ нельзя и глупо.

— Да ты—спрашиваетъ—на моемъ мѣстѣ какъ бы поступилъ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, сошелъ-бы съ ума и побѣжалъ-бы на зовъ...

Онъ пожалъ мнѣ руку и мы разстались.

* * *

Въ назначенный часъ Чигиринскій пошелъ на набережную Лѣтняго сада. Зимою и по ночамъ мѣсто это безлюдное — рѣдко, рѣдко проѣдетъ экипажъ или протащится на санкахъ «ванька» съ сѣдокомъ. Чигиринскій прошелся по набережной — видитъ, дѣйствительно, стоитъ у самого сада карета со спущенными занавѣсками въ окнахъ. Сердце у него екнуло, но не радостно. Стыдно ему стало и какъ-то вся эта исторія представилась вдругъ и банальной и глупой. Онъ радъ былъ-бы теперь, чтобы ничего этого съ нимъ не случилось, и уже подумывалъ — не отказаться-ли отъ вызова, не бѣжать-ли? Раза три прогулялся онъ по набережной и, наконецъ, любопытство и гордость взяли верхъ. Самъ же онъ говорилъ: «волка бояться—въ лѣсъ не ходить».

Молодой человѣкъ смѣло подошелъ къ каретѣ и отперъ дверцу. Внутри, насколько онъ могъ различить при свѣтѣ фонарей, сидѣла какая-то дама въ шубѣ и съ густымъ чернымъ вуалемъ на лицѣ.

— Ваше имя?—спросила она его по-французски.

— Аполинарій,—отвѣтилъ Чигиринскій.

— Садитесь въ карету и заприте дверцу!

Чигиринскій исполнилъ требованіе и, едва онъ сѣлъ рядомъ съ незнакомкой, кучеръ тронулъ лошадей и карета покатилась.

— Васъ ждутъ,—начала таинственная дама,—и отъ

васъ зависитъ быть счастливымъ. Отъ васъ требуютъ прежде всего глубокой тайны и скромности. Вы обязаны не спрашивать и не стараться узнать, гдѣ и у кого вы будете. Вы не будете знать ни имени, ни лица дамы, сдѣлавшей вамъ честь своимъ выборомъ, и никогда ихъ не узнаете. Согласны вы на эти условія?

— Пожалуй!—отозвался онъ.

— Смотрите, если вы вздумаете ихъ нарушить, вамъ этого не простятъ. На первый разъ позвольте вамъ завязать глаза! Такъ нужно.

Чигиринскій засмѣялся, но покорился требованію. Дама плотно завязала ему глаза чернымъ шелковымъ платкомъ. Больше онъ отъ нея не услышалъ ни слова и они продолжали путь въ молчаніи. Карета быстро катилась и часто дѣлала повороты изъ улицы въ улицу, очевидно, съ цѣлью спутать направленіе дороги. И Чигиринскій, плохо знавшій планъ Петербурга, дѣйствительно, скоро потерялъ представленіе о томъ, въ какую сторону и по какимъ улицамъ его везутъ.

Послѣ получасовой ѣзды, карета вкатилась съ грохотомъ подъ какой-то сводъ, повернула и остановилась. Спутница молодого человѣка первая вышла изъ кареты, подала ему руку и, когда онъ вышелъ, повела за собой. Они поднялись по какой-то каменной лѣстницѣ, вошли въ теплые покои, гдѣ съ Чигиринскаго чьи-то невидимыя руки сняли шляпу и шинель. Потомъ опять пришлось взбираться по узкой спиральной лѣсенкѣ и, наконецъ, нашъ искатель приключеній почувствовалъ подъ ногами мягкій, пушистый коверъ, а въ воздухѣ тотъ особый, ласкающій и раздражающій ароматъ тон-

кихъ духовъ, холенаго тѣла и влажнаго запаха цвѣтовъ, который Чигиринскій не разъ встрѣчалъ въ роскошныхъ будуарахъ своихъ свѣтскихъ патронессъ.

Проводница, не выпускавшая до сихъ поръ его руки, сняла съ глазъ у него повязку, но отъ этого виднѣе ему не стало — гдѣ онъ и что съ нимъ? Въ комнатѣ, гдѣ они остановились, было темно; только сверху, изъ затѣйливаго, слабо мерцавшаго фонаря, разливался голубоватый, матовый свѣтъ, вовсе не разсѣевавшій окружавшаго мрака, а только сообщавшій ему какой-то таинственный, причудливый тонъ. Въ этомъ фантастическомъ полумракѣ нельзя было различить ни предметовъ, ни ихъ формы и физіономіи. Все это, точно, облекалось въ густую темносинюю дымку.

— Ждите здѣсь! — шепнула Чигиринскому его проводница и незамѣтно выскользнула куда-то изъ комнаты.

Прошло минутъ пять томительнаго ожиданія въ этой темной, таинственно-пышной западнѣ, среди мертвой тишины. Молодой человѣкъ испытывалъ сильное волненіе и смущеніе. Положеніе его казалось ему и глупымъ и страннымъ, но въ то же время его начинала интриговать эта романическая таинственность приключенія. Онъ и сгоралъ отъ нетерпѣнія поскорѣе увидѣть, узнать сманившую его въ свой волшебный чертогъ чаровницу, и его застѣнчивый страхъ разбиралъ — какъ все это выйдетъ и чѣмъ кончится? А, вдругъ, вмѣсто ожидаемой поэзіи, все разрѣшится пошлой прозой...

Чтобы оріентироваться сколько-нибудь въ окружавшемъ его мракѣ, Чигиринскій сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, на что-то грузное наткнулся, опроки-

нулъ стулъ, чуть самъ не упалъ и, съ досады, громко выругался по хохлацки:

— А бисъ бивъ-бы твоего батька! Оце-жъ комиссія!

Едва онъ это произнесъ, какъ вдругъ тутъ-же, гдѣ-то очень, очень близко раздался чей-то хохотъ—женскій хохотъ, молодой, серебристый, веселый, лукавый и въ то-же время симпатичный. Чигиринскій оторопѣлъ, таращилъ глаза, прислушивался и—никого не видѣлъ.

— Какой вы медвѣдь!—отозвался голосокъ, продолжая хохотать.

— Кто тутъ? — совсѣмъ уже подурацки спросилъ Чигиринскій.

— Такъ вамъ сейчасъ и скажутъ... Угадайте!

— Я не могу знать, — отвѣчалъ растерявшійся художникъ.

— Ну, подите сюда — можетъ быть, узнаете! — кокетливо позвалъ голосокъ. — Только чуръ, мебели не ломать!

Чигиринскій сталъ на ощупь пробираться по слуху, а голосокъ дразнилъ его:—Не туда! Направо! Налѣво! Тутъ столъ! Назадъ!.. Э, никогда вамъ до меня не добраться! Медвѣдь!...

Молодой человѣкъ путался по комнатѣ и чувствовалъ себя въ очень неловкомъ положеніи шута поневолѣ. Онъ уже отчаялся найти въ этомъ лабиринтѣ его шаловливую хозяйку, какъ внезапно нѣжная, жаркая женская ручка взяла его за руку и потянула къ себѣ. Онъ крѣпко ухватился за нее и во всѣ глаза смотрѣлъ впередъ себя, но ничего не могъ различить, кромѣ неясныхъ, смутныхъ очертаній стоявшей передъ нимъ жен-

ской фигуры. Была-ли она молода или стара, красива или дурна, статна или уродлива — разобрать въ полумракѣ было невозможно; но по температурѣ руки, которую онъ держалъ въ своей, по гибкости и нѣжности ея кожи, онъ инстинктивно почуялъ энергію, свѣжесть и пылкость молодого существа. Остальное договаривало воспламененное воображеніе художника. Съ того мгновенія, какъ къ нему прикоснулась эта незримая рука, онъ уже любилъ ее со всѣмъ огнемъ юношеской страсти, любилъ и то нѣчто, тотъ призракъ, которому эта рука принадлежала.

— Ну, подите сюда! Жалко васъ дольше мучить... Сядьте возлѣ меня, — поболтаемъ! — и этотъ обольстительный призракъ усадилъ Чигиринскаго на крошечный диванчикъ и, сѣвъ, онъ вдругъ очутился въ такой безграничной, тѣсной, пожирающей близости съ незнакомкой, въ какой, ему казалось, онъ отродясь еще не чувствовалъ себя ни къ кому. Сердце упало у него отъ трепета и муки знойной страсти...

---

## II.

— На другой день, — повѣствовалъ мой разсказчикъ,—послѣ таинственной интриги съ Чигиринскимъ, я отправился къ нему—не утерпѣлъ:—очень меня заинтересовало его приключеніе! Прихожу — лежитъ на диванѣ и мечтаетъ. Любопытствую: что и какъ?—Молчитъ и, видимо, самые разспросы ему непріятны. Вглядываюсь въ него—совсѣмъ, какъ-бы, пьяный: и въ гла-

захъ лихорадочный огонекъ, и лицо подурацки-блаженное, какъ у пьянаго, и безчувственность какая-то ко всему, словно-бы онъ весь внутрь себя ушелъ...

— Да ты, друже, — спрашиваю, — не хлебнулъ-ли лишнее отъ большой радости?

— Хлебнулъ?—переспросилъ онъ меня.—Не только хлебнулъ, а захлебнулся,—говоритъ.

И вдругъ вскочилъ и, какъ съумасшедшій, обнимать меня началъ.

— Другъ мой!—кричитъ въ изступленіи:—никогда я не былъ такъ мучительно счастливъ; даже не воображалъ, что это возможно въ такой мѣрѣ!

— Ну, поздравляю,—говорю. — Кто-жъ такая эта, осчастлививщая тебя, «эксцентрическая» дама?

— Не знаю,—отвѣчаетъ.

— Какъ такъ?

— Такъ, что не знаю...

— Изъ скромности назвать не хочешь... Это хорошо.

— Ей-Богу-же не знаю,—откровенно говорю!

— Барынька не только «эксцентрическая», но и тонкая, какъ видно, съ разсчетцемъ! Ну, имени тебѣ не сказали, а какъ изъ себя она—брюнетка, блондинка, молода, хороша собой?

— И этого не знаю.

— Что такое? Да, вѣдь, ты-же видѣлъ ее?

— Нѣтъ, не видѣлъ.

— Тьфу, чортъ!—разсердился ужъ я.—Ты, въ самомъ дѣлѣ, не пьянъ-ли?

— И капли во рту не было.

— Что-же ты меня морочишь?

— Самъ я, братъ, обмороченъ до безумія!

И разсказалъ онъ мнѣ тутъ всю обстановку и тѣ условія, при которыхъ произошло у него это таинственно-романическое rendez-vous. Выслушалъ я его и говорю:

— Оригинально-то оно, положимъ, и романтично, но въ то-же время, сдается, какъ будто немножко и скверно.

— Чѣмъ-же скверно?—спрашиваетъ Чигиринскій.

— А тѣмъ, что тебѣ не только не довѣряютъ, но даже не считаютъ достойнымъ лицезрѣть себя и свою красу. Это какой-то обиднѣйшій, сатанинскій аристократизмъ! Такъ римскія патриціанки съ рабами обращались. Ты ей приглянулся, но будь счастливъ тѣмъ, что ты удостоился высокой чести стать игрушкой знатной аристократки, и—не смѣй даже въ помыслахъ владѣть ею... Чудесный способъ избавляться отъ той неизбѣжной, естественной зависимости, какую даетъ мужчинѣ надъ женщиной всякая любовная связь!

Я замѣтилъ, что мысль моя поразила и уколола Чигиринскаго.

— А, вѣдь, пожалуй, ты и правъ,—сказалъ онъ мнѣ, подумавъ.—Какая-же это мерзость, если это такъ!

Признаюсь въ своемъ малодушіи:—мнѣ вдругъ, почему-то, стало жаль его расхолаживать; но, чтобы не дѣлать скачка и быть послѣдовательнымъ въ роли ментора, я сдѣлалъ другое предположеніе, такого-же скептическаго свойства.

— Это вздоръ!—сказалъ я.—Наши русскія барыни совсѣмъ не похожи на римскихъ патриціанокъ... А вотъ

что всего вѣроятнѣе:—твоя дама—уродъ, лягушка въ кринолинѣ (тогда кринолины только что стали въ моду входить), и вся эта мистификація съ ея стороны ничто иное, какъ подлогъ. Можетъ быть, если-бы она тебѣ показалась при свѣтѣ,—ты-бы съ отвращеніемъ убѣжалъ отъ нея.

— Не правда!—сказалъ съ силой мой коллега.—Я люблю ее, кто-бы она ни была!

— Да кого-же ты любишь—дай себѣ отчетъ! Какъ любить то, о чемъ ты не имѣешь и не можешь составить себѣ пластическаго представленія?

— А, вотъ, люблю-же, люблю, люблю всего сильнѣе на свѣтѣ!

— Не понимаю!

— Потому, что ты—олухъ въ этомъ вопросѣ! Я не знаю, кто она, не знаю ея лица, но потому-то здѣсь полный просторъ для моего воображенія. Я люблю въ ней мою мечту, мой идеалъ, во всей ихъ чистотѣ и прелести, въ какихъ они невозможны въ дѣйствительности!

— Ну, ежели такъ, цацкайся со своимъ идеаломъ и да благословятъ боги твою краденую любовь!—заключилъ я нашу бесѣду.

* * *

«Краденая» любовь Чигиринскаго, какъ ее назвалъ его пріятель, продолжалась съ полгода и кончилась для него трагически. Свиданія съ осчастлившей его дамой происходили у него неизмѣнно въ томъ-же порядкѣ, въ какомъ совершилась первая встрѣча. Онъ получалъ

время отъ времени записки, извѣщавшія его, что въ такой-то день и часъ тамъ-то его будетъ ждать карета; онъ приходилъ, садился, ему завязывали глаза, везли невѣдомо куда, свиданіе неизмѣнно происходило въ темной комнатѣ, послѣ котораго ему опять завязывали глаза, сажали въ карету и отвозили домой. Гдѣ и у кого онъ блаженствовалъ — оставалось для него неразрѣшимой тайной!

Свѣжаго, пылкаго и впечатлительнаго юношу эта романическая интрига поглотила всего. Съ искренностью и беззавѣтностью неиспорченнаго сердца, онъ безпамятно полюбилъ завлекшую его куртизанку и для него стало вопросомъ жизни — сдѣлать эту связь неразрывной, вѣчной. Мучило его безконечно и въ тоже время все болѣе завлекало то, что онъ не зналъ — *что* она, какой у нея образъ, какіе глаза, какія черты лица?.. При всемъ блаженствѣ и полнотѣ торжествующей любви, у него постоянно оставалась еще недостигнутой, неизвѣданной огромная доля счастья — знать, видѣть, обожать, носить въ сердцѣ живой обликъ любимаго существа! Онъ пользовался, повидимому, самой пламенной взаимностью; его сладкая дрожь пробирала, когда онъ, оставшись одинъ, вспоминалъ съ сердечнымъ замираніемъ огненные поцѣлуи и объятія, которыми его душила *она*... Но кто *она*? — Никто! какой-то плѣнительный, съ нѣжными, теплыми руками, призракъ, какой-то миражъ, съ гибкой таліей, съ упругой грудью и жаркимъ дыханіемъ, вдругъ, безслѣдно ускользающій изъ рукъ!

Онъ сталъ умолять, чтобы она вскрыла эту несно-

ную маску, сняла съ себя вуаль инкогнито и хотя на минуту позволила взглянуть на себя при свѣтѣ.

— Нѣтъ! нѣтъ! — наотрѣзъ отвѣчала она. — Этого никогда не будетъ!

— Да почему-же?—приставалъ онъ.

— Потому, что тогда ты меня разлюбишь.

— Невозможно!

— Но весьма вѣроятно. Я—не уродъ; но если ты меня узнаешь всю, цѣликомъ, увидишь мое лицо—чтожъ тогда останется для тебя новаго и интереснаго во мнѣ, чего ты еще не знаешь?

— Отъ этого моя любовь стала-бы только полнѣе, удовлетвореннѣе...

— Вотъ, вотъ! Удовлетворенность... Этого то, вотъ, я и боюсь въ тебѣ. Я знаю васъ, мужчинъ. Когда у васъ въ любви настаетъ удовлетворенность — вы перестаете любить. У меня съ тобой этого не будетъ...

Такъ она и осталась таинственной незнакомкой для Чигиринскаго; но это-то и было для него пыткой. Онъ сознавалъ, что имѣетъ дѣло съ эгоистической, безжалостной кокеткой, но не въ силахъ былъ отвязаться отъ нея и разлюбить ее. Страсть легковѣрна—онъ все не переставалъ надѣяться, что, авось, сломитъ ея упрямство своей преданной нѣжностью и возметъ ее всю, безъ остатка, какъ она есть.

Она какъ-то обмолвилась, что ея физіономія должна быть ему хорошо извѣстна, такъ какъ онъ однажды писалъ портретъ ея и—очень схожій. Онъ горячо ухватился за это признаніе. Тутъ для него было почти открытіе. Онъ сталъ вспоминать и воспроизводить всѣ женскіе пор-

треты, которые ему приходилось писать. Но такъ какъ ихъ были десятки и онъ не имѣлъ никакихъ данныхъ остановиться на которомъ-нибудь изъ нихъ, какъ подлинно принадлежащемъ предмету его сердца, то это только усложнило болѣзненность его душевнаго настроенія.

— Въ это время,—разсказывалъ пріятель Чигиринскаго,—онъ написалъ, хотя и удивительную, но совершенно сумасшедшую картину. Онъ изобразилъ Психею, влюбленную въ Амура, котораго она не видитъ и не знаетъ. Амуръ — стройный, прекрасный юноша; онъ нѣжно сжимаетъ въ своихъ объятіяхъ Психею; она тянется къ нему съ страстно открытыми губами, чтобы поцѣловать его, и, вмѣсто лица, накалывается на шипы терновника, торчащаго вихристымъ кустомъ изъ его торса... Ужасъ, печаль и недоумѣніе Психеи написаны были безподобно,—ихъ испытывалъ въ такой-же мѣрѣ самъ авторъ.

— Пришлось мнѣ,—продолжалъ разсказчикъ,—махнуть на Чигиринскаго рукою, до того онъ ополоумѣлъ отъ своей нелѣпой страсти. Ничѣмъ онъ больше не интересовался, ни о чемъ другомъ не думалъ и не говорилъ. Весь онъ былъ поглощенъ нетерпѣливымъ ожиданіемъ, когда его позовутъ на новое свиданіе. Между тѣмъ, свиданія становились все рѣже и рѣже... Прекрасная незнакомка, очевидно, стала охладѣвать къ моему пріятелю, да должно быть онъ и наскучилъ ей порядочно своимъ нѣжничаньемъ и приставаньемъ, чтобы она открылась ему. Наконецъ, его и совсѣмъ перестали звать .. Прошелъ мѣсяцъ, другой—ни вѣсточки! Было очевидно, что романъ конченъ, но не для свихнувша-

гося юноши. Онъ положилъ въ эту странную любовь всю свою душу и, когда его бросили, какъ выжатый лимонъ, когда онъ убѣдился въ этой горькой и ужасной для него истинѣ, — разсудокъ его не выдержалъ. Помѣшательство его заключалось въ томъ, что онъ ходилъ и искалъ свою жестокую сирену. Стали съ нимъ приключаться очень неловкія и даже скандалезныя сцены, на одной изъ которыхъ его накрыла полиція и попалъ онъ, бѣдняга, на одинадцатую версту по петергофской дорогѣ.

— Спустя годъ, Чигиринскаго не стало. Я его похоронилъ съ честію на одномъ изъ петербургскихъ кладбищъ,—закончилъ мой разсказчикъ. — Похоронилъ я его зимою, а весною, въ чудный майскій день, пошелъ посмотрѣть на его могилу. Подхожу и вижу—какая-то высокая, стройная, изящно-одѣтая женщина положила на могилу вѣнокъ изъ бѣлыхъ розъ и задумчиво, этакъ, пригорюнилась. Я замедлилъ шаги; она оглянулась, увидѣла меня и, быстро опустивъ на лицо вуаль, удалилась въ противоположную сторону. Для меня этого довольно было: я узналъ ее и узналъ тайну моего бѣднаго друга, которая его сгубила. Въ лицѣ дамы я узналъ извѣстную тогда всему Петербургу знатную куртизанку, которая на своемъ безпутномъ вѣку много загубила молодыхъ жизней.

---

# КРАСАВИЦА.

У Верстиныхъ были гости на дачѣ. Собралось человѣкъ десять мужчинъ и дамъ разнаго возраста. Хлѣбосольные хозяева позвали къ себѣ «на ботвинью»; послѣ обѣда взяли двѣ ложи въ мѣстномъ загородномъ театрѣ и угостили гостей спектаклемъ, а по его окончанiи пригласили ихъ къ себѣ на чай.

Чай послѣ театра—въ петербургскомъ обычаѣ, хотя и соблюдаемомъ только зимою, но на этотъ разъ хозяева были такъ милы и компанiя такая дружная, что жаль было расходиться. Всѣ на этотъ случай охотно поступились дачнымъ режимомъ съ его гигiеническими рецептиками—рано ложиться и вставать, которые для того, вѣдь, и предписываются, чтобы ихъ нарушать.

Было, впрочемъ, еще не поздно; ночь стояла прекрасная, на рѣдкость въ петербургскомъ лѣтѣ: теплая и тихая; полная луна высоко глядѣла съ неба и сво-

имъ сіяньемъ усиливала и, какъ-бы, серебрила блѣдный полумракъ этой нашей іюньской *бѣлой* ночи.

Компанія только-что возвратилась изъ театра и расположилась на широкой верандѣ, со стеклянными стѣнами и лишь съ фронта открытой въ садъ, со спускающейся въ его цвѣтникъ лѣстницей. Дача Верстиныхъ стояла на возвышеніи и съ ея веранды былъ недурной видъ, особенно въ эту минуту:—въ прозрачной дымкѣ, сотканной изъ свѣта и мрака, дремала синѣющая даль и терялась въ куревѣ тумана; ближе сверкало неподвижное озеро, перерѣзанное какъ поясомъ по стальной бронѣ, золотымъ столбомъ луннаго свѣта; подъ ногами темнѣли кудрявыя кучи деревьевъ и изъ-за нихъ поднимались то тамъ, то здѣсь щеголеватые фронтончики и вышки сосѣднихъ дачъ... Въ воздухѣ пахло сиренью и влажнымъ дыханіемъ древесной листвы, еще молодой и свѣжей.

Было, словомъ, хорошо, и—пріятное чувство мягкой, теплой погоды, чудеснаго вечера, красиваго пейзажа, милаго общества и, ко всему, вкуснаго чая, снабженнаго обильной закуской и веселящими сердце графинчиками, сообщилось всѣмъ участникамъ компаніи. Она непринужденно разсѣлась вокругъ большого круглаго стола, освѣщеннаго яркой лампой подъ розовымъ абажуромъ, отсвѣтъ котораго придавалъ всему на столѣ и около стола какой-то веселый, игривый колоритъ.

Лилась живая бесѣда. Говорили о видѣнномъ сейчасъ спектаклѣ и, въ особенности, объ его главной, существенной приманкѣ, ради которой по преимуществу дачники и собрались на этотъ разъ въ театрѣ. Играла

французская труппа изъ «Аркадіи»—на подборъ посредственные и безголосые бульварные актерики. Шла оперетка, по обыкновенію, глупая и пустая, съ избитыми и банальными мотивчиками. И пьеса и ея исполненіе не стоили того, чтобы убить для нихъ славный лѣтній вечеръ, да еще заплатить за это деньги. Но въ афишѣ значилось, что въ спектаклѣ участвуетъ извѣстная, премированная на конкурсѣ красавица, и—многіе пожелали посмотрѣть на это чудо.

О ней-то и говорилось теперь за чаемъ у Верстиныхъ. Мужчины разбирали красавицу по косточкамъ; дамы больше молчали, но очень внимательно прислушивались.

— Какъ на чей вкусъ!—разсуждалъ съ апломбомъ знатока Пещеринъ, неопредѣленныхъ лѣтъ блондинъ, извѣстный въ своемъ кругу диллетантскимъ пристрастіемъ къ сценическимъ искусствамъ.—Я, напримѣръ, не поклонникъ рыжеволосыхъ женщинъ. Да и что за красавица съ такими широкими и приподнятыми, словно у гренадера, плечами? За одни эти плечи я не далъ-бы ей преміи... У настоящей красавицы плечи должны быть покаты, какъ у лебедя... Какъ это удивительно угадано въ русской пѣснѣ, величающей красавицу «лебедкой»!

— А вы серьезно повѣрили, что вамъ покажутъ идеальную красоту?—Вѣдь, тутъ не болѣе, какъ реклама, чтобы не сказать—надувательство,—рѣзко и рѣшительно отозвался о предметѣ критики писатель Сиверскій—человѣкъ, много пожившій и много видавшій.—Задобренные рецензентики раструбили, а опереточная чернь повѣритъ на слово чему угодно, за отсутствіемъ собственнаго разумѣнія и вкуса...

— Нѣтъ, зачѣмъ-же такъ строго?—Она безспорно красива, — вступился Верстинъ отчасти потому, что, вѣдь, онъ въ данномъ случаѣ *угощалъ* красавицей, и, какъ ревнивому въ своемъ хлѣбосольствѣ хозяину, ему было немножко обидно, что угощеніе не понравилось.

— Можетъ быть, была когда-то красива, въ ту минуту, какъ премію получила, а это, говорятъ, случилось лѣтъ двадцать тому назадъ,—оскаливъ вставные зубы, съязвилъ круглый и плѣшивый бонвиванъ Всеволодъ Ивановичъ Шульцъ.

— Все же она и до сихъ поръ еще моложава и свѣжа... Зачѣмъ злословить?—возражалъ Верстинъ.

— Француженки, какъ извѣстно, отлично сохраняются,—поддержалъ кто-то съ другого конца стола.

— Косметики у нихъ первый сортъ и никто, какъ онѣ, не умѣетъ такъ художественно ими пользоваться,—сказалъ Шульцъ и, очень довольный ѣдкой остротой своего замѣчанія, адресовалъ свою широкую улыбку въ сторону дамъ, какъ-бы отыскивая у нихъ одобренія.

— Ну, ужъ ты нѣмецъ-французоѣдъ!—съ добродушной грубостью попрекнулъ его старый пріятель, сѣдоусый полковникъ, любящій выражаться коротко и сильно.

Шульцъ поморщился. Онъ терпѣть не могъ, когда его называли нѣмцемъ, какимъ онъ на самомъ дѣлѣ и не былъ.

— Интересно знать ваше мнѣніе, Павелъ Петровичъ. Вы въ этомъ вопросѣ должны быть компетентнѣе всѣхъ,—обратилась хозяйка къ энергическому, задумчивому брюнету, съ сильной просѣдью въ густыхъ волосахъ и бородѣ.

— Почему-же я компетентнѣе?—возразилъ онъ.

— Вы—скульпторъ, художникъ, и, къ тому-жъ, въ вашихъ работахъ царствуетъ женщина, и такая все больше красавица.

— Да, вѣдь, моя глиняная женщина—не нынѣшняя, въ которой я. признаться, не знаю толку.

— Вотъ прекрасно! Но вы-же, чай, съ натуры лѣпите вашихъ вакханокъ и сильфидъ. Какъ-же можете вы не знать толку въ красотѣ нынѣшней женщины?—напустился на художника Пещеринъ.

—Я говорю про господствующій современный, модный типъ красоты, — хладнокровно отвѣчалъ Павелъ Петровичъ.—Въ немъ-то я ничего не смыслю и, кромѣ того, онъ мнѣ совсѣмъ не по вкусу. Что-же касается натуры, то, конечно, художникъ всегда можетъ найти въ ней для своихъ студій формы истинной, вѣчной красоты.

— Вѣчная красота... Какъ это громко сказано! Развѣ такая красота есть?—вмѣшался въ споръ Сиверскій.

— Безспорно,—тономъ глубокаго убѣжденія возразилъ скульпторъ.

— Гдѣ? Это не въ вашихъ-ли антикахъ?

— Да, въ антикахъ.

— Но развѣ вы не замѣтили — всѣ ваши антики безголовые и, поэтому, въ нихъ нѣтъ высшей человѣческой красоты. Что такое, напримѣръ, ваша распрославленная Венера медицейская? Безсмысленная кукла! Чудесное тѣло самки и несоразмѣрно съ нимъ малая, птичья голова, съ тупымъ и наглымъ выраженіемъ... И всѣ ваши хваленые антики въ этомъ же родѣ: чудо-

вищно гордые своимъ тѣломъ и его красотой, ограниченные, холодные и тупо-самодовольные въ своихъ одноформенныхъ лицахъ.

— Вы проповѣдуете... извините меня—совершенный барбаризмъ! — воскликнулъ Павелъ Петровичъ, теряя самообладаніе. — Двѣ тысячи лѣтъ весь міръ дивится поразительной, несравненной красотѣ антиковъ; мы, художники, цѣлыми поколѣніями напрасно истощаемся въ усиліяхъ постичь тайну этого воистину божественнаго творчества, уловить дивную гармонію и прелесть воспроизведеннаго рѣзцомъ этого творчества человѣческаго тѣла, а вы, вотъ, находите все это какимъ-то вздоромъ.

— Нѣтъ! Вздоромъ я нахожу не античное искусство, которое, безъ сомнѣнія, сказало свое слово изумительно и геніально полно. Древній аѳинянинъ, обезпеченный трудомъ рабовъ, отчего онъ не чувствовалъ ни малѣйшаго угрызенія совѣсти, былъ искренній, счастливый эпикуреецъ, и отсюда явился этотъ изящный культъ жизни, олицетворившійся въ цѣломъ сонмѣ прекрасныхъ боговъ—символовъ обожествленныхъ похотей и страстей набалованнаго, холенаго тѣла. Снаружи это было очень граціозное, но, по существу, грубое, бездушное, сластолюбивое язычество, и—первые проповѣдники христіанства имѣли полное основаніе называть его «проклятымъ еллинствомъ». Красота тутъ была, несомнѣнно, но слишомъ односторонняя и эмпирическая, слишкомъ тѣлесная, какъ это и отразилось на сохранившихся антикахъ. Я не ее называю вздоромъ, а ваше идолопоклонство, господа эстетики, передъ этимъ умершимъ безвозвратно цикломъ искусства, ваши нелѣпыя, рабскія усилія

идти по его слѣдкамъ и вашу слѣпоту передъ современной, несравненно высшей и плѣнительнѣйшей, чѣмъ античная, человѣческой красотой.

— Въ чемъ-же эта красота? Ужъ не въ каррикатурномъ-ли модномъ костюмѣ, скрадывающемъ и красоту и безобразіе тѣла? Не въ корсетахъ-ли и турнюрахъ, не въ тѣсныхъ-ли башмачкахъ, уродующихъ женскую ногу, не въ косметикахъ-ли, за штукатуркою которыхъ Божьяго образа не видно?

— Павелъ Петровичъ, зачѣмъ эти фразы, коль скоро мы съ вами собрались серьезно спорить? Но ежели вы меня не понимаете, то скажу вамъ, что современная, новѣйшая, христіанская красота, конечно, не въ турнюрахъ и корсетахъ, а — въ физіономіи, въ лицѣ. И знаете-ли, что составляетъ высшую, обворожительнѣйшую прелесть современнаго, особенно женскаго лица?

Сиверскій помолчалъ не столько въ ожиданіи отвѣта, котораго—онъ зналъ — никто не поторопится дать, сколько для произведенія эффекта своимъ опредѣленіемъ.

— Страданіе!—отчеканилъ онъ, послѣ паузы, и оглянулся кругомъ, ища въ лицахъ собесѣдниковъ одобрительнаго изумленія, какъ если-бы онъ возвѣстилъ впервые неслыханную, глубокую истину.

— И не то страданіе,—продолжалъ онъ,—которое изображаютъ ваши античные Лаокооны и Прометеи. Древній грекъ понималъ только физическое страданіе; по крайней мѣрѣ, не умѣлъ его иначе символизировать, какъ въ формѣ физической боли:—Лаокоонъ страдаетъ оттого, что его и сыновей его душатъ своими кольцами страшные змѣи; Прометей мучится тѣмъ, что орлы не-

престанно выклевываютъ изъ его груди сердце; Ніобея превращается отъ страданія въ камень оттого, что на ея глазахъ убиваютъ всѣхъ ея сыновей.

— Но, какъ вы-же сами признаете, это были только символы страданій, которыя, сами по себѣ, могли быть не эгоистическія, какъ, напримѣръ, у Прометея.

— Нѣтъ, душевное страданіе высшаго порядка не знакомо было сердцу грека. Онъ былъ, замкнутый стѣнами своего города, эгоистъ и ко всему, что было за рубежомъ его маленькаго отечества, онъ относился съ полнымъ равнодушіемъ и пренебреженіемъ. Онъ не зналъ, что такое «міровая скорбь», что такое любовь къ человѣчеству, вообще, и всечеловѣческая идея.

— А вы это знаете?

— Любезнѣйшій мой, самъ я могу быть лично естественной скотиной, если вамъ угодно, но это не мѣшаетъ мнѣ видѣть, что на небѣ свѣтитъ солнце, и знать, что на свѣтѣ были и есть прекрасные люди, съ возвышенной душою, черезъ которую проходитъ міровой экваторъ, какъ чудесно выразился Гейне. Такіе люди были и есть теперь, но ихъ не было въ вашемъ возлюбленномъ, чувственномъ, преклонявшемся передъ тѣломъ, античномъ мірѣ. И знаете-ли, вѣдь, это мы вамъ, фанатичнымъ эстетикамъ, обязаны этими жалкими опытами реабилитаціи публичнаго поклоненія женскому тѣлу, на манеръ того, какъ воздавалась восторженная честь въ Аѳинахъ обнаженной Фринѣ. Только вотъ въ чемъ разница, господа эстетики: — античный грекъ не зналъ и не чувствовалъ страма наготы, а для насъ она позорна и соблазнительна, потому что самый послѣдній,

презрѣннѣйшій современникъ инстинктивно понимаетъ, что истинная человѣческая и женская, въ частности, красота не въ безстыдно обнаженномъ, щеголяющемъ своими формами тѣлѣ, какъ-бы ни было оно красиво!

Художники, обыкновенно, не мастера спорить и діалектически отстаивать свои убѣжденія. Не былъ силенъ съ этой стороны и Павелъ Петровичъ. Сиверскій легко бралъ надъ нимъ верхъ самоувѣренностью тона и рѣзкой опредѣленностью доводовъ; но такъ какъ онъ сталъ нападать на эстетиковъ вообще, то въ защиту ихъ и на помощь скульптору счелъ своимъ долгомъ выступить Пещеринъ, выдававшій себя за эстетика par excellence.

— Позвольте!—обратился онъ къ Сиверскому, сверкая стеклами своего пенснэ. — Вы находите какой-то стыдъ, какой-то позоръ и соблазнъ въ поклоненіи нагой красотѣ, нагому тѣлу... Долженъ за себя лично вамъ покаяться, я ничего такого въ этомъ не нахожу и не чувствую; совсѣмъ—напротивъ...

— Что-жъ? и на здоровье... Впрочемъ, вы не вполнѣ вѣрно редактируете мою мысль, — началъ-было возражать литераторъ, но Пещеринъ его уже не слушалъ.

— Въ этомъ-то лицемѣрномъ стыдѣ и заключается величайшее зло! — возвысивъ голосъ, понесся онъ съ торопливымъ азартомъ, спѣша высказаться.—Вы нападаете на эстетиковъ, а вы, господа моралисты, что натворили? На прекраснѣйшее созданіе Божіе вы наложили вѣковую фарисейскую опалу, предали проклятію человѣческое тѣло, а восхищеніе его непрекрытой красотою сдѣлали смертнымъ грѣхомъ... И вы достигли цѣли: красиваго тѣла, съ совершенными формами, теперь

нельзя почти найти... Павелъ Петровичъ совершенно правъ, что ищетъ такихъ формъ только въ антикахъ. Натура большею частью или груба и вульгарна, или изуродована безобразнымъ современнымъ воспитаніемъ, нелѣпымъ, каррикатурнымъ костюмомъ, нездоровыми привычками, а главное — забросомъ благороднаго культа тѣла. Красивое тѣло, вслѣдствіе наложенной на него многовѣковой опалы, выродилось въ культурныхъ классахъ и — не удивительно, что теперь его награждаютъ преміями и возятъ показывать за деньги, какъ феноменальную рѣдкость.

— Ну, я думаю,—вставилъ Верстинъ, — что совершенная красота всегда была и будетъ рѣдкостью. Это то-же, что талантъ, да, безъ сомнѣнія, талантъ и есть въ своемъ родѣ. Мало — быть красивымъ, надо умѣть своей красотой производить изящное впечатлѣніе, а это уже искусство.

— Дамское, по преимуществу! — галантно отнесся Шульцъ къ хозяйкѣ, принимая отъ нея стаканъ чая.

— Совершенно справедливо!—подхватилъ Пещеринъ, отвѣчая Верстину.—Я-же и говорю про культъ красоты, который у античнаго грека былъ полнымъ и гармоническимъ, тогда какъ на современный, вотъ, вкусъ, какъ понимаетъ его г. Сиверскій, о красотѣ тѣла нѣтъ даже вопроса и самое возбужденіе его позорно и безнравственно, была-бы только *физіономія* (иронически подчеркнулъ онъ это слово), красивая не сама по себѣ, а выраженіемъ *страданія*...

— Да, физіономія! — отчеканивая слова, какъ-бы для большей ихъ вѣскости, заговорилъ Сиверскій.—Да,

господинъ Пещеринъ, я продолжаю думать, что у человѣка, со стороны внѣшности, физіономія выше всего и что ничто такъ не краситъ ее, какъ печать благородныхъ чувствъ и мыслей! Для меня можетъ быть красивымъ только тотъ, у кого есть физіономія, а когда ея нѣтъ или она пошла и антипатична—одно красивое тѣло не представляетъ для меня никакого смысла и никакой прелести.

— Позвольте спросить, о какомъ собственно тѣлѣ вы говорите? — съ напускной наивностью освѣдомился Шульцъ.—Если о женскомъ, то...

Онъ на минуту остановился и обвелъ лица собесѣдниковъ лукаво-смѣющимися глазками, но, видно, не встрѣтивъ въ нихъ сочувствія чесавшейся у него на языкѣ пикантной остротѣ, вдругъ сконфузился и растерянно залепеталъ:

— Пожалуйста, продолжайте! Извините, что я васъ перебилъ...

— Осѣкся, нѣмчура!—поддразнилъ его сѣдоусый полковникъ и, должно быть въ утѣшеніе, плеснулъ пріятелю въ стаканъ изъ графинчика, но и себя, при этомъ, не забылъ.

— Какая односторонность! Какое странное презрѣніе къ тѣлу, точно оно, въ самомъ дѣлѣ, въ опалѣ! — сказалъ художникъ, относясь къ Сиверскому.—По моему, красота вездѣ остается красотой и во всемъ имѣетъ одинаковыя права... Не знаю, кто это очень умно сказалъ, что правда и красота—одно и то-же.

— Ну, ужъ извините!—рѣзко возразилъ писатель.— Уже и среди вашихъ антиковъ были такъ-называемые

«отвратительные красавцы» и красивые негодяи, а о позднѣйшихъ феноменахъ всякой мерзости и лжи подъ красивыми формами и оболочками и разсказывать скучно... Да и кто вамъ сказалъ, что я проповѣдую какое-то презрѣніе къ тѣлу и его красотѣ? Когда я это говорилъ?.. Вотъ такъ мы всегда споримъ!

— Вы не станете, во всякомъ случаѣ, отрицать, — сказалъ Пещеринъ, — что такое презрѣніе къ тѣлу и такой душеспасительный страхъ къ его красотѣ, какъ къ соблазну, внушались безконечному ряду поколѣній позднѣйшей этикой, вытекавшей изъ аскетическаго воззрѣнія на жизнь и человѣка. Древній грекъ этого не зналъ и потому ему чужды были лицемѣріе и фальшь, какими отличаются новѣйшія хваленыя времена въ трактованіи этого вопроса. Искушеніе осталось и его нельзя убить въ человѣкѣ; но, осужденный суровой, придирчивой моралью, естественный, свободный культъ тѣла нашелъ себѣ исходъ въ тайной порнографіи, въ хитроумной системѣ всякихъ безстыдныхъ намековъ и псевдонимовъ, какими, напримѣръ, такъ богатъ... passez le mot, mesdames, — мелькомъ извинился Пещеринъ передъ слушательницами, — такъ богатъ модный женскій нарядъ. Мы всѣ на словахъ формально стыдимся наготы и осуждаемъ ее, но охотно, въ запуски подглядываемъ ее во всякія, остроумно придуманныя, скважины и прорѣхи, подобно тѣмъ шалунамъ, которые для этой цѣли эксплоатируютъ щелки въ купальняхъ.

— Кажется, теперь вы можете уже не жаловаться,— язвительно замѣтилъ Сиверскій.—Какъ мы сами видѣли отчасти интересный опытъ на сегодняшнемъ спектаклѣ,

любезный вамъ культъ откровенной красоты безъ всякихъ деморализующихъ псевдонимовъ возстановляется помаленьку въ наши толерантные дни. И въ наши дни, нѣтъ сомнѣнія, дѣло это получаетъ несравненно болѣе широкую и обстоятельную постановку. Живая, особенно женская красота всегда была дорога, тѣмъ дороже нынче, когда денегъ стало много, а самая красота, какъ вы сами сейчасъ сказали, сдѣлалась большой рѣдкостью. Въ античныя времена ею могли наслаждаться немногіе избранники; теперь-же, въ угоду демократическимъ требованіямъ, она дѣлается общедоступной и популярной: — ею восхищаются съ театральныхъ подмостокъ безчисленныя толпы ротозѣевъ по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ, благодаря примѣненію кооперативнаго начала въ пользованіи этимъ роскошнымъ зрѣлищемъ...

— Да и самой красотѣ показывать себя несравненно выгоднѣе большой публикѣ, чѣмъ немногимъ избранникамъ! — живо подхватилъ Шульцъ, всегда чуткій и свѣдущій тамъ, гдѣ рѣчь шла о деньгахъ. — Какъ можно!—быстро сообразилъ онъ въ умѣ: — и сравнивать даже нельзя! Вонъ, извѣстный художникъ... какъ, бишь его... ну, тотъ, что знаменитую «Нану» нарисовалъ...

— Сухоровскій,—подсказалъ кто-то съ другого конца стола.

— Да, да! Такъ, вотъ, я хочу сказать, если-бы онъ продалъ эту самую свою «Нану» въ однѣ руки,—много-ли бы ему дали? — Пустяки, разумѣется. А между тѣмъ, говорятъ, онъ нажилъ цѣлое большое состояніе отъ двугривенныхъ, которые собиралъ съ публики за посмотрѣніе его «Наны»... Подумайте, какую гору де-

негъ собралъ-бы онъ еще тогда, еслибы его «Нана», да была живая? — Я объ этомъ думалъ и, признаться, болѣе блестящаго гешефта и представить себѣ не могу... О, женская красота, если ее умненько пустить въ оборотъ, превосходный капиталъ!—и въ восторгѣ отъ этого открытія Шульцъ даже зажмурилъ сластолюбиво глаза.

— Вотъ вамъ!—съ иронической усмѣшкой указалъ Сиверскій на Шульца Пещерину.—Еще два, три шага въ сторону проповѣдуемаго вами направленія, и—красивое тѣло станетъ котироваться на биржѣ, наряду съ саломъ и пенькою.

— Смѣйтесь, сколько вамъ угодно,—отвѣтилъ эстетикъ,—а рано или поздно должна наступить эмансипація человѣческой пластики во всей полнотѣ отъ наложенныхъ на нее веригъ и проклятій. И часъ этотъ, дѣйствительно, близокъ.

— Вы ошибаетесь, Пещеринъ! — вмѣшался Верстинъ. — Никогда этого не будетъ и быть не можетъ. Исторія не повторяется. Развѣ вамъ неизвѣстно, что уже были, къ тому-жъ, въ широкомъ масштабѣ, пробы произвести эту, какъ вы выразились, эмансипацію по античному образцу, вмѣстѣ съ возобновленіемъ всего псевдоклассическаго быта? И что-жъ — вышла только каррикатура и безвкусица... То, чѣмъ мы живы и будемъ жить, не позади насъ, а впереди. Совсѣмъ не тѣ у насъ идеалы, нравственныя требованія и жизненныя условія, чтобы была желательна и возможна проповѣдуемая вами реставрація. Конечно, вы совершенно справедливо осуждаете новѣйшую опалу на нашу физику и вѣрно указываете на происшедшія оттого нелѣпости

и фальши; но то, что вы называете эмансипаціей въ этомъ отношеніи, граничитъ съ полной уже разнузданностью... Богъ съ нею!

— Позвольте намъ по крайней мѣрѣ,—сказалъ Пещеринъ,—уповать, что наступитъ время, когда пластика красиваго тѣла возвратитъ себѣ утраченныя права.

— Не позволямъ! — стукнувъ кулакомъ по столу, гаркнулъ вдругъ полковникъ, не принимавшій до сихъ поръ участія въ спорѣ.—Господа, дайте мнѣ слово!— обратился онъ къ компаніи.

Со всѣхъ сторонъ, конечно, послѣдовали изъявленія полнаго согласія выслушать предлагаемое «слово». Энергическое вмѣшательство полковника въ споръ всѣхъ заинтересовало.

— Я скажу вамъ напрямикъ, посолдатски, сударки мои и сударики, — началъ онъ, положивъ локти на столъ и выставивъ на свѣтъ свою сѣдую голову: — красота, въ особенности женская красота, это — несчастье! И сама красавица, коли она не пустая кокетка и не развратница, а добрый, честный человѣкъ —всегда несчастна, и кругомъ нея всегда всѣ несчастны... Я, сударки мои и сударики, человѣкъ жестокій и дикій, поэтому не удивляйтесь, если я вамъ заявлю, что, по моему разумѣнію, лучше всего и резоннѣе распорядился съ красавицей восточный человѣкъ. Можетъ быть, если вамъ угодно, не очень разумно и не весьма либерально, за то совершенно логично и послѣдовательно. Разсудивъ основательно, что женская краса на виду—соблазнъ и грѣхъ, какъ этому и насъ учили св. отцы, восточный человѣкъ взялъ, да и заперъ эту красу, чтобы ни она

никого не искушала, ни ее самое никто не искушалъ на погибель рода человѣческаго. Доставайся только одному, Богомъ посланному тебѣ, законному мужу! Можетъ быть, это грубо и дико, но, ей Богу-же, удивительно логично и просто.

— Еще проще и логичнѣе, если угодно, былъ гетеризмъ или, такъ называемый, общинный бракъ, пережитый человѣчествомъ на первыхъ ступеняхъ гражданственности,—замѣтилъ Сиверскій.

— Видите,—продолжалъ полковникъ, — я съ вами спорить на почвѣ, какъ говорится, философской не буду и не умѣю. Я—не философъ, не ученый. Но, мыкаясь по свѣту много лѣтъ, я кое-что видѣлъ, кое-что подмѣтилъ, и на этомъ основываю мои сужденія. Я, вотъ, изъ моихъ наблюденій вывелъ такое заключеніе, что женская красота—несчастье. Позвольте подкрѣпить себя живымъ примѣромъ, котораго я самъ былъ очевидцемъ и отчасти дѣйствующимъ въ немъ лицомъ! Примѣръ состоитъ въ томъ, что изъ-за женской красоты чуть не цѣлый полкъ сдѣлался несчастнымъ... д-да! Полкъ былъ отличный, образцовый, офицерство между собой жило душа въ душу... умирать было не надо! Я самъ въ немъ служилъ и всегда буду съ гордостью и удовольствіемъ вспоминать прослуженные въ его рядахъ годы... И вдругъ на такой великолѣпный полкъ наслалъ Богъ напасть и искушеніе! Явилась къ намъ эта напасть, въ видѣ этакой писанной, прелестнѣйшей бабенки... Давно это было, но и теперь, какъ вспомню о ней—чортъ знаетъ, старая кровь, какъ сусло, взбудоражится и размечтаешься, словно мальчишка... Явился къ намъ этотъ бѣсенокъ въ

юбкѣ такимъ манеромъ. Одинъ изъ нашихъ товарищей—молодой, тихій и небойкій поручикъ—съѣздилъ въ отпускъ и возвратился въ полкъ самъ другъ съ женою... этимъ, вотъ, самымъ бѣсенкомъ. Гдѣ онъ ее подцѣпилъ—не помню. Была она, впрочемъ, изъ хорошей семьи, отлично воспитанная и вышла за-мужъ по любви. По происхожденію, была она—полька—ну, и съ отличающими хорошенькихъ полекъ качествами—неотразимой обольстительностью, вѣтренностью и кокетствомъ. Не прошло и мѣсяца съ ея пріѣзда въ полкъ, какъ ужъ вся наша молодежь была въ нее поголовно влюблена... Да что молодежь! Самъ нашъ полковой командиръ, старый севастопольскій ветеранъ, передъ нашей кралей мелкимъ бѣсомъ сталъ извиваться... Сивые усы, грѣховодникъ, началъ подкрашивать и всячески молодиться; мужа крали адъютантомъ полковымъ сдѣлалъ нарочно для того, чтобы имѣть предлоги почаще съ женой его встрѣчаться. Это было тѣмъ изумительнѣе, что командиръ нашъ, безстрашно водившій въ Севастополѣ свой баталіонъ подъ англо-французскія штуцерныя пули и картечь, трепеталъ передъ своей супругой—естественной мегерой, сказать между нами... Даже, признаться по совѣсти, полкомъ командовала она, а не онъ, но, къ чести ея, командовала искусно, строго и справедливо. Мы ужъ такъ и величали ее своей командиршей, а солдатики чуть не за версту шапки передъ ней скидывали и во фрунтъ вытягивались. И не взирая на этакую-то строгую супругу, командиръ нашъ пустился ферлакурничать передъ очаровательной поручицей... Можете заключить по этому о силѣ обольстительности нашего бѣсенка.

Несчастье началось съ того, что всѣ наши полковыя дамы, на челѣ командирши, загорѣлись страшной ревностью къ мужьмъ и бѣшеной ненавистью къ «распутной полячкѣ». Полкъ нашъ стоялъ тогда въ дрянномъ бѣлорусскомъ городишкѣ и наши офицеры не имѣли другого общества, кромѣ своего, полковаго. Это обстоятельство, безъ сомнѣнія, имѣло большое значеніе въ накипаніи нашей полковой драмы. Всѣ семейные очаги въ полку превратились въ адскія кузницы. Самъ я былъ уже тогда женатъ и моя женка, смирная, по натурѣ, баба, царство ей небесное, тоже заразилась общимъ духомъ и начала мнѣ раздирательныя сцены дѣлать... Впрочемъ, что-жъ, нечего грѣха таить,—и я былъ одно время неравнодушенъ къ нашей полковой красавицѣ. Какъ скажетъ, бывало, своимъ медовымъ голосомъ: — «Пане капитане, проше до насъ на зразы!», да за руку возьметъ и пожметъ ее своими нѣжными, горячими пальчиками,—ну, голова и закружится, и скажи она въ эту минуту: — «Пане капитане, поди и утопись во славу моей красоты!», — сейчасъ-бы, кажется, пошелъ и утопился... Сатана, а не женщина! Ну, бабьи сцены... простите за откровенность, mesdames,—адресовался полковникъ къ дамамъ,—не могутъ составлять еще серьезнаго несчастія... Поплачутъ, покричатъ, иной разъ туфлей въ голову контузятъ, да на томъ вся мелодрамма и выкипитъ... Надо только мужественно, не шевеля усомъ, ее выдержать. Но начались у насъ въ полку изъ-за нашей писанной крали нешуточныя несчастія. Тамъ, смотришь, иной мечтательный прапорщикъ пулю себѣ всадилъ въ лобъ, оставивъ записку, съ просьбой

никого не винить въ его смерти, и съ загадочной припиской: «Прости, молъ, меня, Зося! Я, молъ, тебя безумно любилъ, но ты не могла принадлежать мнѣ, а потому-де жить безъ тебя я не хочу»... А Зося-то — всѣмъ намъ извѣстная поручица. На похоронахъ плачетъ, убивается, цвѣтами засыпаетъ трупъ безумнаго прапорщика... Можетъ быть, тутъ-бы убить ее слѣдовало безсердечную, жестокую русалку, за то, что преждевременно извела со свѣта прекраснаго юношу, а наша молодежь, да и мы, сѣдоусая рухлядь, таемъ отъ восторга и любви:—какая-де она прелесть, какая-де чистая, добродѣтельная, какъ ангелъ, душа! Далѣе, смотримъ, завелись у насъ въ полку и дуэли, чего никогда не бывало, потому что все офицерство жило всегда дружно, сердечно, и всѣ, какіе случались, раздоры улаживались у насъ товарищескимъ судомъ. Ну, чуть дуэль— несчастье! Кого-нибудь изувѣчили, а кто остался цѣлъ— пошли подъ судъ... Что за напасть?—По справкѣ, оказывается опять причиною причинъ—Зося. Пріятели повздорили изъ-за того—кому изъ нихъ она обнаружила больше вниманія или изъ-за ея непорочности... Были, правда, у насъ такіе дураки, что хвалились интимностью съ нею... Это было глупо и подло, и я отъ души порадовался разъ, когда одного такого бахвала подстрѣлили на поединкѣ. Нѣтъ,—не возьму грѣха на душу,—Зося наша... мы, въ полку, такъ ужъ и стали ее звать — «наша Зося»... была вѣрной женой и безупречной женщиной... Бѣда ея и всѣхъ насъ, кто былъ вокругъ нея, состояла въ томъ, что она была красавица—такая дьявольски обольстительная, милая, кокетливая, вѣтренная

и общительная красавица, что просто немыслимо было въ нее не влюбиться... Ей-Богу, весь полкъ былъ поголовно въ нее влюбленъ! Ужъ не говоря объ офицерствѣ, солдаты, и тѣ, мерзавцы, души въ ней не чаяли.... Бывало, въ лагерѣ, выйдетъ она на линейку—сейчасъ для нея пѣсенники выскакиваютъ, плясуны на головѣ ходятъ, фейерверкеры иллюминацію самодѣльную зажигаютъ и, словомъ, весь полкъ въ изступленіе впадаетъ. А полковникъ выйдетъ, призоветъ музыку, и—подъ открытымъ небомъ, въ честь прелестной Зоси, устраивается у насъ импровизированный балъ до бѣлой зари... Веселье, шумъ, шампанское хлопаетъ и льется рѣкой,—такой пойдетъ пиръ, что и теперь вспомнить пріятно. Зося любила танцовать и танцовала, конечно, какъ всѣ польки, восхитительно... Ну, какъ пойдетъ, бывало, мазурку съ нашимъ сивымъ, могучимъ командиромъ—ей-Богу, духъ у насъ захватывало отъ восхищенія. Маститый этакій старецъ, понимаете, и около него граціозно вьется гибкая, стройная и воздушная горлица, чуть-чуть прикасаясь пола своими крошечными лапками... Какъ сумасшедшіе, апплодировали мы, бывало, всѣмъ полкомъ этой чудной мазуркѣ! Одному только среди насъ не радость, а пекельныя муки приносили эти торжества Зоси и всѣ ея побѣды по полку... Ея мужу! Тихій, кроткій и, по наружности, холодный человѣкъ, онъ скрывалъ подъ своей равнодушной, беззаботной физіономіей страстную, пламенную натуру. Онъ безъ памяти любилъ свою жену и страшно, мучительно ревновалъ ее. Онъ не могъ ее ни въ чемъ упрекнуть, не могъ—и это было-бы глупо—запретить ей бывать въ обществѣ, танцовать, болтать

и любезничать съ его товарищами, но, когда онъ видѣлъ жену съ кѣмъ-нибудь изъ мужчинъ, у него разрывалось сердце... Я былъ съ нимъ очень близокъ и разъ онъ, съ ужасными рыданіями, которые до сихъ поръ звучатъ въ моихъ ушахъ, исповѣдался мнѣ въ своей душевной пыткѣ... Ему приходили въ голову самыя ужасныя мысли: то онъ, въ порывѣ изступленія, хотѣлъ двумя выстрѣлами убить и жену и себя, то онъ рѣшался, скрѣпя сердце, выгнать ее и взять съ нею разводъ... Бѣдняга постоянно твердилъ, въ оправданіе этихъ своихъ безумныхъ рѣшеній: «Она красива, она слишкомъ, слишкомъ красива для меня! Я не стою ея красоты и за то, что я имѣлъ дерзость овладѣть такой несравненной красотой,—она убьетъ меня!». И дѣйствительно, убила! Поручикъ нашъ сталъ чахнуть и таять, какъ свѣчка. У него развилась скоротечная чахотка, и—нельзя разсказать, какъ онъ мучилъ себя и бѣдную Зосю по мѣрѣ того, какъ лютая болѣзнь приближала его къ могилѣ... Моя женка мнѣ разсказывала, что онъ и умеръ, вцѣпившись ногтями въ бѣленькія руки Зоси, словно-бы хотѣлъ вмѣстѣ съ собою утащить ее въ сырую могилу. И когда мы увидѣли ее на похоронахъ мужа—бѣдняжку, трудно было узнать:—такъ она исчахла и измаялась во время болѣзни мужа. Послѣ похоронъ поручика, Зося тотчасъ-же уѣхала куда-то къ своимъ роднымъ и больше я ее не встрѣчалъ, но всего того, что натворило ея недолгое пребываніе у насъ въ полку, я никогда не забуду. Если такая безпорочная, милая, непретенціозная красавица надѣлала, помимо воли, столько грѣха, посѣяла столько ненависти и вражды,

то какъ-же не сказать, сударки мои и сударики, что красота женская—несчастье!

— Очень странное заключеніе, полковникъ!—возразила одна изъ дамъ, да и всѣ онѣ были афраппированы его разсказомъ.—Не всѣ-же женщины такія вѣтренницы и кокетки, какъ ваша героиня.

— А что касается красоты, то я того мнѣнія,—сказалъ Сиверскій,—что абсолютныхъ красавицъ на свѣтѣ не бываетъ. Красиво не то, что отвѣчаетъ ходячимъ шаблонамъ красоты, а то, что намъ мило. Красоту создаетъ любовь и, внѣ любви, красота — пустой звукъ. Каждая женщина, которая любила и которую любили, непремѣнно, хоть разъ въ жизни, была безподобной красавицей... Неправда-ли, mesdames?

Дамы смутились и потупленными взглядами украдкой оглядывали другъ друга.

— Да, вотъ, смотрите,—продолжалъ Сиверскій выразительнымъ шопотомъ и устремивъ глаза въ садъ:—развѣ не идеальная красавица въ эту минуту mademoiselle Пруденкова для monsieur Рязанскаго, да и для всѣхъ насъ, здѣсь присутствующихъ?

Всѣ взоры устремились по направленію взгляда Сиверскаго въ садъ. Тамъ, облитая съ ногъ до головы луннымъ свѣтомъ, вырисовывалась на темномъ фонѣ зелени стройная, въ бѣломъ платьѣ, фигура молодой дѣвушки. Она закинула голову, со спускающейся до пояса русой косой, и мечтательно смотрѣла въ даль, не видя ея, но всѣмъ своимъ существомъ магнетически приникнувъ къ стоявшему возлѣ нея и что-то одушевленно говорившему ей полушепотомъ, взволнованному

молодому человѣку. И видно было, что оба они въ эту минуту забыли обо всемъ въ мірѣ и не замѣчали, что на нихъ смотритъ цѣлое общество насмѣшливо-любопытными глазами.

— Господа, мы нескромны!—сказала хозяйка съ чуткой женской деликатностью и отвлекла вниманіе гостей отъ счастливой пары.

— Вотъ это—истинная красота, и я ее понимаю,—сказалъ Сиверскій:—только жаль, полковникъ, намъ съ вами, пожалуй, никогда уже въ жизни не приведется на себѣ почувствовать и испытать обаяніе этой вѣчной и вѣчно новой женской красоты... Ужасно обидно!

„О, моя юность, о моя свѣжесть!“—

продекламировалъ онъ съ нарочито-дѣланнымъ пафосомъ, но въ интонаціи его голоса чувствовалась искренняя скорбная нотка.

---

# УГОМОНИЛАСЬ.

(*Разсказъ художника*).

---

## I.

Я слишкомъ три года не былъ въ Петербургѣ; скитался по югу—у насъ и заграницей,—ради искусства, а также для подкрѣпленія здоровья, растраченнаго въ ингерманландскихъ болотахъ. Самъ я—южанинъ родомъ, грудь у меня слабая, а отъ петербургскаго климата и петербургской маяты совсѣмъ было расхлябалась.

Поправился, подучился,—пріѣзжаю сюда въ разгаръ зимняго сезона... Нужно было, да и какъ мы ни бранимъ Петербургъ и какъ онъ этого ни стоитъ, а въ немъ есть что-то притягательное для каждаго, кто въ немъ разъ пожилъ и обжился.

По пріѣздѣ, началъ, конечно, втягиваться въ насущные петербургскіе злобы, вкусы и интересы!.. Межъ волковъ жить—по волчьи выть. Читаю и слышу, между прочимъ, что въ большомъ театрѣ проявилась необыкно-

венная артистка—чудо пластики и граціи, что она—первая звѣзда сезона, по приговору всего наслаждающагося зрѣлищами Петербурга. Какъ-же художнику не посмотрѣть на такое диво? — Достаю билетъ и иду. Дѣйствительно, увидѣлъ диво; петербургская молва на этотъ счетъ всегда достовѣрна. Но тутъ-же, въ театрѣ, случилась у меня встрѣча, такая неожиданная, странная и любопытная, что сразу овладѣла мной—гораздо болѣе, чѣмъ царившая въ эти минуты надъ театральной толпой чаровница-артистка, со всѣмъ своимъ изяществомъ и прелестью.

Въ одинъ изъ антрактовъ я сталъ смотрѣть на ложи, искать хорошенькихъ, какъ это дѣлаютъ всѣ зрители партера. Особенно заинтересоваться было не кѣмъ, но вотъ глаза мои точно обожгла вдругъ одна женская голова. Красивая, съ пышными, темнорусыми, зачесанными вверхъ волосами, лежавшими на ней волнистой шапкой, какъ у античныхъ статуй, голова эта показалась мнѣ знакомой, близкой и дорогой. Я поднялъ на нее бинокль и встрѣтился со смѣлыми, гордыми, большими сѣрыми глазами... Сомнѣній больше не было: это—Таня Мологина, моя бывшая ученица; но, Боже, какъ она измѣнилась! Игравшаго когда-то на ея миломъ лицѣ молодого румянца не было и слѣда; оно было блѣдно-матовое и съ какими-то, змѣившимися горечью и отчаяніемъ, трагическими складками на прекрасномъ лбу и у рта съ полураскрытыми, чувственными губами. Все это къ ней шло и она казалась гораздо интереснѣе, чѣмъ я ее зналъ когда-то. Тоненькая, застѣнчивая дѣвушка развилась въ прекрасную, съ великолѣпнымъ

бюстомъ, самоувѣренную женщину. Но отчего-же, думаю, чуть не весь партеръ нагло таращитъ на нее свои бинокли? Отчего сидящія въ сосѣднихъ ложахъ чопорныя дамы съ такой ненавистью и съ такимъ напускнымъ презрѣніемъ косятся на нее, не удостоивая прямыми взглядами?

Сердце во мнѣ болѣзненно сжалось и упало... Я сразу понялъ все, понялъ—какое общественное положеніе выпало на долю моей бѣдной Тани, передъ душевной силой и сердечной чистотой которой я еще недавно готовъ былъ молиться! Удивительно краснорѣчиво клеймо позора, принятаго на себя женщиной! Не нужно ярлыковъ, не нужно обличающихъ указательныхъ перстовъ, чтобы «свѣтъ сталъ предавать ее поруганью...» Довольно вотъ этихъ двухъ театральныхъ завсегдатаевъ, развязно забравшихся къ ней въ ложу, чтобы репутація ея была составлена. Я смотрѣлъ на нихъ съ величайшимъ отвращеніемъ. Одинъ — статскій, съ натянутой миной бонвивана, испорченной гримасой боязни скомпрометировать себя передъ начальствомъ и «свѣтомъ», держался въ глубинѣ ложи, въ тѣни, но въ такой нахальной позѣ, съ заложенными за жилетъ пальцами, чтобы, ради тщеславія, дать понять, что онъ тутъ полный хозяинъ, полный обладатель этого лакомаго куска. Другой—военный, въ густыхъ эполетахъ, плѣшивый селадонъ, изъ породы мышиныхъ жеребчиковъ, снѣдаемый любострастіемъ, жался у нея за спиной и, нашептывая ей устарѣлые, армейскіе комплименты, малодушно терзался страхомъ, какъ-бы эта его любезность съ «этой дамой»

не повредила ему въ ущербъ полученія полной эмеритуры.

— Таня! Таня! — чутъ не крикнулъ я въ порывѣ сердечной боли и досады.—До чего ты дошла, если это ничтожество, если этотъ титулованный хламъ смѣетъ стыдиться знакомства съ тобою?

Она, какъ-бы, услышала крикъ моего сердца и повернулась ко мнѣ. Мы встрѣтились глазами. Она, съ минуту, разглядывала меня, какъ-бы не узнавая, но потомъ, съ прежней, такъ плѣнявшей меня, беззавѣтной лаской закивала мнѣ головкой, видимо обрадованная встрѣчей со мною, и выразительно поманила меня глазами, чтобы я пришелъ къ ней въ ложу. Я выждалъ окончанія антракта, когда засѣдавшіе у Тани въ ложѣ сановные гамены разошлись по своимъ кресламъ, и осторожно, безъ шуму, какъ воръ, прокрался къ ней въ ложу. Увидѣвъ меня, она встала и, шелестя своимъ шелковымъ шлейфомъ, пошла ко мнѣ на встрѣчу. Какимъ-то опьяняющимъ, ароматическимъ зноемъ пахнуло на меня отъ ея прекрасной головы и всей стройной фигуры, когда она подала мнѣ свою нѣжную, горячую руку и привѣтливо заглянула мнѣ въ лицо.

— Сядемъ здѣсь!—шепнула она, указывая на диванъ въ глубинѣ ложи, откуда не видно было, что дѣлается на сценѣ, но гдѣ и мы дѣлались невидными для стороннихъ, любопытныхъ глазъ.

Мы сѣли и съ минуту молча глядѣли другъ на друга, какъ-бы изучая и взаимно испытывая другъ друга, въ какой степени мы между собою близки? — Мологина женскимъ тонкимъ чутьемъ сразу угадала, какой без-

граничной къ ней жалостью ноетъ въ эту минуту мое сердце.

— Вы видѣли?—уронила она стыдливымъ шепотомъ, потупивъ глаза, и кончики ея длинныхъ рѣсницъ заискрились слезами.

— Да, видѣлъ.

— Поняли?

— Понялъ...

— Все?

— Не все, но кое-что и, можетъ быть, главное...

По лицу ея разлился румянецъ.

— Мнѣ нѣтъ оправданій! но иначе это не могло случиться. Проклятіе еще не изношено нашей женской долей, и—я несу его, не я первая, не я послѣдняя... Пожалѣйте меня!

— Глубоко сожалѣю.

— Безъ презрѣнія?

— Съ какой стати? Такое чувство было-бы въ этомъ случаѣ дипломомъ надменной глупости. Право презирать кого-бы то ни было—слишкомъ отвѣтственное, слишкомъ жестокое право, чтобы я, многогрѣшный, сталъ имъ пользоваться.

— Не поздоровится отъ такой философіи.

— Да клянусь-же вамъ, что это не гордость! Я—художникъ, эстетикъ; красота—мое вѣроисповѣданіе. Я преклонялся когда-то передъ вашей красотой, внѣшней и внутренней, и преклоняюсь теперь, а до остального мнѣ нѣтъ никакого дѣла.

— Красота красотѣ рознь. Вонъ, посмотрите, какую чудную, обаятельную силу, какую царственную власть

надъ толпой имѣетъ красота, посвященная искусству! Танцовщица—много-ли у нея рессурсовъ, а, между тѣмъ, она возвышаетъ васъ, очаровываетъ и потрясаетъ, она затрогиваетъ благороднѣйшія струны въ душевномъ строѣ толпы и заставляетъ ее молиться на себя... Ну, а чего стоитъ та красота, если-бы она даже была, которая продала себя на рынокъ распутства и, какъ товаръ, выставляется на возбужденіе сластолюбивыхъ вожделѣній въ худосочныхъ ловеласахъ партера и на ужасъ и соблазнъ добродѣтельныхъ матронъ и ихъ дочерей-весталокъ бельэтажа?

Мнѣ это показалось ужъ очень поспѣшной, а, главное, аффектированной откровенностью, которая мнѣ, фанатику гармоніи, не понравилась. Я только впослѣдствіи понялъ, что въ Мологиной это было не своеобразное и довольно банальное фанфаронство, а непритворный голосъ отчаянія. Мы перемѣнили разговоръ, переведя его на нашихъ общихъ знакомыхъ, на сезонныя новости и тому подобные пустяки. Такъ прошелъ цѣлый актъ. Когда публика двинулась съ шумомъ изъ партера, я всталъ.

— Ко мнѣ сейчасъ явятся мои кавалеры—сказала Таня.—Я васъ не удержу. До свиданія, но обѣщайте мнѣ непремѣнно завтра въ четыре часа побывать у меня... если вы, точно, меня жалѣете... Придете? Вотъ мой адресъ!—и съ этими словами она подала мнѣ свою, оттиснутую на мраморной бумагѣ, карточку.

Я обѣщалъ; она горячо пожала мнѣ руку и—мы разстались».

---

## II.

Таня Мологина заинтересовала меня года четыре тому назадъ. Я служилъ тогда преподавателемъ въ школѣ общества поощренія художествъ. Въ одинъ изъ семестровъ она записалась въ мой классъ и съ чрезвычайнымъ, какимъ-то лихорадочнымъ стараніемъ принялась учиться рисованію. Не было ученицы болѣе ея прилежной, но не было, кажется, и менѣе ея способной. Самый простой рисунокъ ей не давался, не взирая на самыя напряженныя усилія. Меня это удивляло и даже огорчало, потому что Таня съ перваго-же знакомства расположила меня къ себѣ своей женственной энергіей, своимъ благородствомъ, своей умственной развитостью и, наконецъ, просто своей красотой. Ей было тогда лѣтъ двадцать, и—она во всѣхъ отношеніяхъ была прекрасная, цвѣтущая дѣвушка. Мнѣ она чрезвычайно понравилась, хотя чувство, которое я питалъ къ ней, было скорѣе эстетическое, чѣмъ страстное, и, пожалуй, болѣе товарищеское, чѣмъ любовное. Я восхищался ею, какъ замѣчательно цѣльной, энергической и смѣлой дѣвушкой, и—сознаться-ли?—побаивался искать болѣе интимнаго съ нею сближенія, въ увѣренности, что я, чахоточный, безхарактерный, слабый человѣкъ, конечно, ей не пара. Можетъ быть, благодаря этому, между нами завязалась такая чистая, такая невозмутимая дружба, и во все время нашей съ нею короткости ни ей, ни мнѣ ни разу и въ голову не приходило, что между нами могла-бы завязаться другая, болѣе тѣсная связь.

Сблизившись съ Мологиной и полюбивъ ее, я сталъ ей давать кромѣ классныхъ, уроки рисованія на дому, но вскорѣ и я и она убѣдились въ совершенномъ отсутствіи у нея способности къ живописи. На вопросъ ея объ этомъ я чистосердечно высказалъ ей свое мнѣніе, и она тутъ-же, съ какимъ-то ожесточеніемъ, изорвала въ клочки свои этюды, переломала карандаши, разбила палитру и выбросила все это за окно.

—Кончено!—сказала она.—Больше я карандаша въ руки не возьму. Если нѣтъ таланта, то не о чемъ хлопотать. Бездарныхъ мазилокъ и безъ меня довольно на свѣтѣ!

И тутъ я узналъ печальную повѣсть безплодныхъ порывовъ Тани по проложенію себѣ дороги къ общественной дѣятельности. Сколько я понялъ натуру и характеръ Тани, она принадлежала къ тому благородному, широкому, неутомимо-самоотверженному женскому типу, для котораго жизнь не въ жизнь, если въ ней нѣтъ подвига, нѣтъ «затрудненія», по выраженію одной умной деревенской бабы у Глѣба Успенскаго. Мѣщанское счастье въ узкой рамкѣ семьи, въ удовлетвореніи личнаго эгоизма,—для такой сильной, кипучей женской души очень недостаточно и заполнить ее не можетъ.

Но, видно, не пришло еще время для просторнаго, безпрепятственнаго развитія женской личности у насъ на поприщѣ общественности. И много гибнетъ изъ-за этого молодыхъ хорошихъ силъ, раздавленныхъ тормазами предразсудковъ, близорукой подозрительности и, крѣпкой Домострою, отсталости, замаскированной салонно-конфектными идеальчиками!

Погибла изъ-за этого и моя Таня.

Она мнѣ разсказала, что еще задолго до окончанія института ея завѣтной мечтой было поступить на женскіе медицинскіе курсы. Съ этой мечтой она, по окончаніи институтскаго ученья, бросилась на курсы, но въ это время былъ прекращенъ пріемъ новыхъ воспитанницъ, и—мечта Тани не осуществилась. Для нея это былъ жестокій ударъ, причинившій ей большое горе. Еслибы у нея были средства, она навѣрно уѣхала-бы учиться медицинѣ заграницу. Если можно гадать о призваніяхъ по тѣмъ или другимъ качествамъ и наклонностямъ молодыхъ людей, то мнѣ кажется, что въ Мологиной лежало сильное призваніе, именно, къ медицинѣ, и изъ нея быть можетъ вышла-бы замѣчательная въ этомъ родѣ дѣятельница.

Осѣкшись на медицинѣ, Таня, съ страстной неугомонностью ищущаго подвига женскаго сердца, бросается въ поиски за «дѣломъ»: она и на бестужевскіе курсы бѣгаетъ и, почему-то, вскорѣ въ нихъ разочаровывается; она и на любительскихъ сценахъ играетъ, испытываетъ силы въ драматическомъ искусствѣ, но терпитъ неудачи; она и музыкантшей пробуетъ сдѣлаться, но отказывается отъ этой профессіи, убѣдившись, что изъ нея ничего болѣе таперши не выйдетъ; наконецъ, мы накинулись на живопись и—должны были убѣдиться что у насъ нѣтъ къ ней никакого призванія.

А между тѣмъ, старуха-мать, всѣ доходы которой ограничивались жалкимъ пенсіономъ, все настойчивѣе и придирчивѣе требуетъ, чтобы Таня «остепенилась», подумала о будущемъ и вошла въ роль «интересной не-

вѣсты». Тутъ какъ разъ и женихъ явился: ветхій чиновникъ-домовладѣлецъ, съ рыжимъ парикомъ на плѣшивой головѣ, съ приторными любезностями на беззубыхъ устахъ и съ драгоцѣнными подарками въ старческихъ рукахъ.

— Что дѣлать?—спрашивала меня Таня въ одну изъ послѣднихъ нашихъ встрѣчъ, ломая руки съ выраженіемъ неизъяснимой скорби въ лицѣ.

— Не знаю, — отвѣтилъ я, не поднимая на нее глазъ.

Мнѣ было больно и стыдно, что я—такой ничтожный жалкій, не могу подать ей руку, ничѣмъ не въ состояніи помочь ей, спасти ее.

— Остается, значитъ, одно—одалиской сдѣлаться!—сказала она рѣзко и съ такимъ жгучимъ презрѣніемъ взглянула на меня, что я этого взгляда никогда не забуду.

На этомъ мы разстались, и—вотъ, три года спустя, я встрѣчаю ее въ такой зловѣщей обстановкѣ, въ такомъ болѣе, чѣмъ двусмысленномъ положеніи... Что-то она мнѣ завтра скажетъ?..

---

## III.

Я исполнилъ обѣщаніе и явился къ Танѣ въ назначенный часъ. Жила она въ одной изъ Конюшенныхъ улицъ, въ небольшой, но уютной, роскошно и со вкусомъ обставленной квартирѣ. Въ дверяхъ я встрѣтился съ уходившимъ блестящимъ гвардейцемъ, въ бѣлой фу-

ражкѣ и сѣдыхъ бобрахъ. Это былъ послѣдній *утренній* гость Мологиной. Оказалось, что утро у нея начиналось для пріема въ два часа и кончалось въ четыре. Послѣ четырехъ она никого не принимала, и потому, именно, назначила мнѣ этотъ часъ. Я былъ у нея особеннымъ приватнымъ гостемъ. Очевидно, она щадила себя и меня, чтобы не сдѣлать меня свидѣтелемъ своихъ отношеній съ ея поклонниками. Я это понялъ и былъ ей за то очень благодаренъ.

Таня встрѣтила меня чрезвычайно радушно, и—показалась она мнѣ, въ своемъ изящномъ, кружевномъ дезабилье, съ нечесанными, раскинутыми по плечамъ, волнистыми волосами, еще краше, еще очаровательнѣе, чѣмъ вчера, въ театрѣ. Мы поздоровались и сѣли въ ея будуарѣ, пропитанномъ опьяняющимъ запахомъ духовъ и распустившихся цвѣтовъ, которыхъ у нея было здѣсь множество.

— Ну, что-жь, разсказать вамъ мою трагедію?—спросила она, послѣ обмѣна привѣтствіями и тою болтовней, которая, при всей ея пошлости, является почти неизбѣжной въ нашихъ бесѣдахъ съ женщинами.

— Зачѣмъ-же?—возразилъ я.—Вѣдь, что было, того не воротишь, а я—не патеръ, чтобы выслушивать исповѣди... Мнѣ съ вами и такъ хорошо...

— Вы не патеръ, но другъ мнѣ... Имѣю право я васъ такъ называть?

— Совершенное! Точно, я вашъ другъ. и самый искренній... Могу это сказать по всей чистой совѣсти.

— Тогда вы меня выслушайте! Я должна вамъ разсказать откровенно все, что со мной случилось и какъ

я дошла до настоящаго моего положенія... Я никому еще этого не разсказывала, ни передъ кѣмъ еще не каялась; но теперь, передъ вами, мнѣ необходимо это сдѣлать... Вы меня поймете, вы меня можетъ быть простите, и, во всякомъ случаѣ, мнѣ станетъ легче, когда я разскажу вамъ все, все, что лежитъ камнемъ у меня на сердцѣ.

Я выразилъ готовность слушать, и—Мологина, послѣ минутнаго раздумья, какъ-бы собравшись съ мыслями, начала такъ:

— Натура у меня такая, что я ни въ чемъ не знаю средины, и никогда не умѣла примиряться съ такими положеніями, которыя называются—ни два ни полтора, ни Богу свѣчка ни чорту кочерга. Вы знаете, что въ жизни пропасть такихъ положеній и люди превосходно съ ними уживаются, даже за очень добрыхъ и порядочныхъ слывутъ, а подъ конецъ въ царствіе небесное себя прочатъ, какъ истыхъ праведниковъ. Можетъ быть, въ этомъ и заключается настоящая мудрость житейская,—только я, на бѣду себѣ, никогда не могла ни понять ее, ни усвоить. Чего только я ни начинала, къ чему только ни пристраивалась и какой только шагъ ни приводилось мнѣ дѣлать въ жизни, я постоянно шла на то, чтобы взять все, дойти до края, а иначе — ничего не нужно... Я всегда чувствовала въ себѣ какую-то, совершенно независѣвшую отъ моей воли силу—силу, словно-бы роковую, которая одинаково могла увлечь меня и къ добру, къ подвигу, къ вершинѣ славы, достойной женщины, и—внизъ, въ преисподнюю, въ омутъ паденія, грѣха и порока. Все зависѣло отъ того, въ какую сто-

рону кинетъ меня жизнь, божій-ли ангелъ или сатана возьмутъ въ руки кормило моей судьбы?.. И знаете, другъ мой, вѣдь сотни, тысячи добрыхъ, прекрасныхъ душъ гибли и гибнутъ только, вотъ, по этой причинѣ, и — проклятіе ихъ гибели, ихъ паденія лежитъ не на нихъ, а на мірѣ, который, съ тупой близорукостью баснописнаго пѣтуха, забросилъ эти жемчужины въ навозную кучу, какъ ненужную ему вещь...

— Впрочемъ,—какъ-бы спохватилась Мологина,—я вовсе не думаю ни оправдываться, ни обвинять кого-бы ни было. Роль прокурора была-бы для меня совсѣмъ уже глупа. Вы знаете, вы помните мои порыванія къ работѣ, къ служенію добру, красотѣ и истинѣ... Я-ли виновата, что изъ этого ничего не вышло? — Конечно, виновата, что у меня не оказалось ни силъ, ни таланта переиначить судьбу и завоевать себѣ то ремесло, то положеніе, къ которымъ, я думала, у меня есть призваніе. Но существуетъ-же для чего-нибудь и общество, какъ его называютъ. Вѣдь, на его глазахъ, въ такой-же безсильной борьбѣ бьются, какъ рыба объ ледъ, стукаются о каменную стѣну сотни молодыхъ, прекрасныхъ женскихъ существованій, протягиваютъ къ нему руки, молятъ о помощи, о спасеніи, и—гибнутъ среди общаго равнодушія... Я не за себя упрекаю:—моя пѣсня спѣта и мнѣ нѣтъ уже возврата; но, вѣдь, то, что я пережила и что меня сгубило, повторяется ежедневно на сотняхъ другихъ, еще не пропащихъ, еще свѣжихъ, неизломанныхъ, горящихъ святой вѣрой въ добро... За что же они гибнутъ, и — не довольно-ли, наконецъ, жертвъ?

Таня высказала все это съ необычайнымъ волненіемъ и, какъ-бы утомленная, на минуту смолкла.

— Я давеча вамъ разсказала,—продолжала она,— до чего я нынче дошла. Случилось это очень просто. Если-бы я могла мириться на золотой срединѣ, на умѣренномъ и аккуратномъ мѣщанскомъ счастьи, была-бы я теперь достопочтенная дама, уважаемая супруга заслуженнаго статскаго совѣтника и, можетъ быть, даже мать семейства, и всѣ-бы, да и вы, вѣроятно, въ одинъ голосъ кричали-бы: «ахъ, какая добродѣтельная и почтенная эта Татьяна Ивановна!..» Ну, и представьте себѣ, что я этого не захотѣла и добровольно отказалась отъ такого блаженнаго и почетнаго положенія! Можете меня называть глупой и безумной, но это такъ. Когда статскій совѣтникъ сталъ ко мнѣ свататься, и мать, ожесточенная нашей вѣчной проголодью, настойчиво начала требовать, чтобы я шла замужъ, во мнѣ уже истлѣла и испепелилась послѣдняя надежда на устройство моей доли такъ, какъ мнѣ хотѣлось... Дѣло прошлое и — теперь я вамъ сознаюсь въ томъ, чего вы не знали. Спасти меня могли-бы еще вы послѣ того, какъ убили во мнѣ надежды, что изъ меня можетъ выйти художникъ... Я-бы пошла за вами всюду, я-бы растирала вамъ краски, служила-бы вамъ натурщицей, служила-бы рабою... Вы этого не захотѣли, и — послѣдній просвѣтъ погасъ въ окружавшей меня темени...

— Боже мой! Могъ-ли я это думать, Таня? — чуть не крикнулъ я, пораженный до глубины сердца ея позднимъ признаніемъ.

— Вы сейчасъ сами сказали: что было, того не во-

ротишь... Да, не воротишь и... можетъ быть, къ лучшему,—въ грустномъ раздумьи и, какъ-бы не слышавъ меня, промолвила Мологина.—Вы слишкомъ художникъ, слѣдовательно, слишкомъ эгоистъ, да и... простите за откровенность,—мямля порядочная, чтобы могли дать мнѣ не счастье—нѣтъ, я за нимъ не гналась,—а хотя-бы муку любви, которая-бы всю меня заполонила—не иначе, какъ всю... Мы съ вами были-бы ужасно несчастны. Я это предчувствовала и, жалѣя не столько себя, сколько васъ и вашъ талантъ, отказалась отъ искушенія овладѣть вами... Дорого мнѣ это стоило, но я не раскаиваюсь.

Я почувствовалъ глубокое смущеніе. Мнѣ и льстило и оскорбительно было ея признаніе, хотя внутренно я не могъ не сознаться, что она права. Я всегда думалъ, что я ей не пара, и теперь только встрѣтилъ подтвержденіе моего мнѣнія съ ея стороны... Чего-же тутъ было приходить въ отчаяніе? о чемъ досадовать, о чемъ сожалѣть?

— Я отъ васъ отказалась,—продолжала, между тѣмъ, Таня,—хорошо знала что я дѣлаю, но почему вы отказались отъ меня и, называясь моимъ другомъ, отвернулись отъ меня въ самую трудную, критическую минуту моей жизни,—я до сихъ поръ не могу себѣ этого объяснить...

— Молчите!—прервала она меня, когда я пустился—каюсь—въ крайне банальныя, пошлыя объясненія моего прошлаго съ нею поведенія.—Я васъ ни въ чемъ не виню и не упрекаю... Напротивъ, я вамъ рада, какъ не знаю кому... Прошлаго не воротишь и—пропади оно

пропадомъ! Случилось все такъ, какъ должно было случиться... Въ угоду матери, да, и въ самомъ дѣлѣ, намъ ѣсть стало нечего, я пошла въ одалиски, но — не въ крѣпостныя, безъ любви, безъ религіи продающіяся въ супружескую кабалу. Продажа и развратъ не перестаютъ быть продажей и развратомъ оттого, что люди сходили подъ вѣнецъ и осквернили храмъ божій своимъ богопротивнымъ союзомъ. Зачѣмъ эти маски и кощунственныя комедіи? Безъ нихъ по моему честнѣе, и — я на это не пошла еще и потому, что хотѣла сохранить мою свободу и право отдаваться кому хочу. Почему я не художникъ, чтобы изобразить вамъ уморительную физіономію влюбленнаго въ меня и желавшаго жениться на мнѣ «по закону» статскаго совѣтника, когда я напрямки предложила ему купить меня на опредѣленный срокъ, безъ всякихъ «законовъ»?.. Кончилось, однако, тѣмъ, что стыдливый старецъ, послѣ оторопи и цѣломудреннаго конфуза, сталъ торговаться... Торговались, торговались... маменька тутъ—царство ей небесное—вмѣшалась въ дѣло и очень помогла хорошую цѣну взять,—сошлись... Вотъ съ этого и началось... Разсказывать-ли дальше?

Я готовъ былъ заткнуть уши и бѣжать или хоть сквозь землю провалиться.

— Бога ради, Таня!—взмолился я.—Къ чему вы мнѣ это разсказываете? Вѣдь, это вы все на себя напускаете, все это ложь, все это какая-то рисовка, чтобы меня поразить и растерзать...

Она тихо засмѣялась, и выраженіе горечи, гнѣздившееся въ углахъ ея рта, сдѣлалось рѣзче и рельефнѣе.

— Не хотите вѣрить—какъ угодно! сказала она.— Только не думайте, чтобы это мнѣ льстило... Слушайте, Морозинъ,—съ силой и скорбью закончила она,—я вамъ ни одного слова не солгала и мнѣ больно, что вы не хотите или не умѣете меня понять!

— Я васъ зналъ такой чистой, такой безупречно-прекрасной и стыдливой дѣвушкой,—возразилъ я.

— Вы меня вовсе не знали или — правильнѣе сказать — вы знали только одну мою сторону. Теперь я раскрыла передъ вашими глазами другую... Да и какой вы наивный! «Мы всѣ невинны отъ рожденья»... Есть такой глупый опереточный стихъ; но въ немъ истина. Мы всѣ начинаемъ жизнь невинными, добрыми, но дальше попадаемъ подъ то или другое жизненное колесо и выходимъ такими, какими оно насъ сфабрикуетъ. Тутъ никто не виноватъ... И, наконецъ, сознайтесь—васъ смущаетъ ярлыкъ: если-бы вы нашли меня въ положеніи супруги какой нибудь ветоши во фракѣ, которой я продалась-бы за право называться его женою, имѣть готовый кусокъ, комфортъ и внѣшній почетъ, васъ-бы это не ужаснуло; но теперь, не найдя на мнѣ этого ярлыка, хотя въ данномъ случаѣ я поступаю нисколько не безнравственнѣе, вы не хотите мнѣ простить моей искренности... Фарисей вы!

Я не хотѣлъ и не имѣлъ права ее осуждать, но мнѣ было тяжело и неловко:—я чувствовалъ на себѣ долю вины за то несчастье, за тотъ позоръ, которые ее постигли... Помочь ей я ничѣмъ не могъ, да она наотрѣзъ и отказалась отъ этого.

— Поздно! — сказала она, прощаясь со мною. — А

вотъ что я васъ попрошу, мой художникъ!.. Возьмите мой портретъ,—тутъ она вынула изъ альбома свой кабинетный портретъ и отдала мнѣ его,—когда я умру... я умру скоро—за это я ручаюсь... такъ вотъ, когда я умру, напишите картину, въ pendant къ прекрасной картинѣ Ярошенко: «Причины неизвѣстны»... На вашей картинѣ буду я, только въ другой, подходящей къ моему амплуа, обстановкѣ, и я умираю тоже скоропостижно съ бокаломъ шампанскаго въ рукѣ, среди оргіи... Подпись должна гласить: «Причины извѣстны».

Мы разстались, оба печальные, и съ той поры я не видѣлся съ Таней и боюсь съ нею встрѣтиться.

---

# ЗАМОРЕННАЯ ЖИЗНЬ.

Около того времени, когда возникало сомнѣніе въ дальнѣйшемъ существованіи женскихъ врачебныхъ курсовъ, я получилъ, одно за другимъ, нѣсколько писемъ за подписью, «представительницы» этихъ курсовъ, какъ сама себя называла моя корреспондентка, подписывая при этомъ, и полное свое имя. Въ письмахъ этихъ рѣчь шла о «печальной будущности» женскихъ врачебныхъ курсовъ и о необходимости ихъ поддержать въ общественномъ мнѣніи, что, по убѣжденію моей корреспондентки, составляло прямую обязанность печати, и въ этомъ, именно, смыслѣ она обращалась ко мнѣ, какъ къ одному изъ представителей печати, съ увѣренностью въ моей отзывчивости. Письма эти были написаны горячо и убѣжденно, хотя нѣсколько наивно, что, впрочемъ, говорило въ пользу ихъ автора и заставляло предполагать въ немъ очень еще молодую особу. Много го-

ворилось здѣсь о высокомъ призваніи женщины, о высокомъ значеніи для нея высшаго образованія и т. п.; затѣмъ, говоря отъ лица, собственно, курсистокъ, авторъ выражалъ неунывающую бодрость духа, пламенную надежду и твердую вѣру въ будущее.

«Истина—нашъ девизъ, знанія—путь къ ней»!—говорилось въ одномъ письмѣ.—«Вѣра въ наше дѣло, въ наши силы, надежда на наше упроченіе не оставляютъ насъ и въ самые критическіе моменты нашего бытія», и т. д.

Все это, даже самый, нѣсколько приподнятый, витіеватый слогъ, приводили къ заключенію, что я имѣю дѣло съ молодой, горячей головою, скорѣе преисполненной задора, чѣмъ унынія. При ближайшемъ знакомствѣ съ нею оказалось, однакожъ, несовсѣмъ такъ. Вслѣдствіе одной моей, сочувственной «бытію» курсовъ, статейки, моя корреспондентка «сочла своимъ долгомъ», какъ она выразилась, явиться ко мнѣ лично...

Это была блѣдная бѣлокурая дѣвушка, лѣтъ двадцати съ небольшимъ, съ утомленнымъ личикомъ, съ голубыми дѣвически-кроткими и грустными глазами, которымъ она старалась, однако, придать твердость и какое-то даже вызывающее выраженіе мужской смѣлости и независимости, но это стараніе только портило ея физіономію, придавая ей напряженность и неестественность. Такая-же напряженность, изъ желанія казаться серьезной, самостоятельной и рѣшительной, лежала на всей ея худощавой фигуркѣ, сказывалась въ рѣзкихъ манерахъ, въ интонаціи рѣчи, въ самомъ выборѣ выраженій. Но когда она смолкала и внимательно слушала,

съ наивно, подѣтски полуоткрытымъ ротикомъ, опустивъ свои слабыя, нѣжныя ручки, и забывала выдерживать «характеръ», это было, на видъ, такое простодушнѣйшее, женственно-милое, хрупкое, изнуренное страданіями и такое, казалось, безпомощное существо, что невольно чувствовалась къ ней жалость.

Знакомство наше было бѣглое и непродолжительное, но кое-что она мнѣ поразсказала о себѣ. Дочь «бѣдныхъ, но благородныхъ» родителей, Марья Ивановна (такъ звали мою знакомку), по окончаніи гимназическаго курса въ своемъ родномъ провинціальномъ городѣ, пріѣхала въ Петербургъ для поступленія на врачебные курсы. Пріѣхала она почти безъ всякихъ средствъ и, поступивъ на курсы, должна была снискивать пропитаніе уроками—пропитаніе, какъ извѣстно, крайне ненадежное и всегда скудное. Марья Ивановна, привыкнувъ къ нуждѣ съ дѣтства, крѣпилась и справлялась съ бѣдой пополамъ не только за свое личное «бытіе», но съ неостывающей горячностью помогала, чѣмъ могла, товаркамъ и принимала близко къ сердцу судьбу женскихъ врачебныхъ курсовъ, вообще, какъ это можно заключить уже изъ переписки ея со мною. Впрочемъ, ничего особеннаго и чрезвычайнаго ни въ личности, ни въ жизни моей знакомки не было, хотя, несомнѣнно, представляла она собою типичный экземпляръ современнаго женскаго молодаго поколѣнія.

Спустя нѣкоторое время, послѣ нашего знакомства, въ одно непрекрасное утро, читаю я вдругъ въ газетѣ, что Марья Ивановна внезапно кончила жизнь, отравившись синеродистымъ каліемъ. Это меня ужасно

поразило и я сначала подумалъ—нѣтъ-ли тутъ ошибки въ обозначеніи имени самоубійцы, или не идетъ-ли здѣсь рѣчь объ однофамилицѣ моей знакомой? Однакожъ, по справкѣ, грустный фактъ подтвердился... Оказалось, что возвѣщенныя съ такой твердостью въ письмѣ ко мнѣ «вѣра въ наше дѣло, въ наши силы, и надежда на упроченіе въ самые критическіе моменты нашего бытія» оставили очень скоро бѣдную Марью Ивановну. Да какъ узналъ я потомъ, онѣ оставили ее гораздо раньше, чѣмъ она писала мнѣ эти гордыя строки... Узналъ я объ этомъ изъ доставшейся мнѣ послѣ ея смерти (считаю лишнимъ разсказывать—какимъ путемъ) откровенной исповѣди, которую нахожу теперь своевременнымъ и небезполезнымъ предложить здѣсь моимъ читателямъ и, въ особенности, читательницамъ, сдѣлавъ въ ней кое-какія лишь сокращенія.

Исповѣдь эта имѣетъ форму отрывочныхъ записокъ, набросанныхъ въ нѣсколько пріемовъ, очевидно, въ минуты особенно горькаго раздумья, удручавшаго покойницу. Писала она ихъ, какъ сама объясняетъ, въ мысли, что онѣ могутъ пригодиться для *другихъ*, хотя бы только, какъ «справка»... На заглавномъ листкѣ тетрадки нарисованъ небрежной и несовсѣмъ умѣлой рукою человѣческій черепъ, и сперва стояла надпись: «Дневникъ», съ обозначеніемъ года и мѣсяца, но потомъ этотъ заголовокъ былъ зачеркнутъ и подъ нимъ написанъ другой, а именно: «*Заморенная жизнь*».

«Это я про свою жизнь разсказываю»,—такъ начинается исповѣдь несчастной Марьи Ивановны. — Это моя горькая, горькая жизнь вышла заморенной уже въ

самомъ своемъ расцвѣтѣ, котораго, по совѣсти, я никогда не знала... Страшно сказать, я никогда не была молода, потому что никогда, то-есть, положительно никогда не была, хоть на минуточку, счастлива! Когда я пишу эти строки, мнѣ всего вѣку 22 года, 5 мѣсяцевъ и 7 дней... Какой счастливый возрастъ,—не правда-ли? И вообразите, что въ этомъ счастливомъ возрастѣ я ровно ничего не чувствую, кромѣ устали... Боже мой, какъ я устала! Имѣете-ли вы понятіе о такой устали, когда жить больше не хочется, когда одно успокоеніе, единственный отдыхъ видишь въ смерти... И еслибъ кто зналъ, какое это наслажденіе, какое счастье знать, что ужъ этого отдыха, этого покоя никто у тебя не отниметъ, что стоитъ только рвануть нитку постылой жизни и—желанный, вѣчный, вѣчный покой готовъ къ твоимъ услугамъ! Вѣдь, какъ это глупо не понимать, что покой, собственно, и есть счастье, къ которому всѣ мы такъ безтолково рвемся и такъ нелѣпо отыскиваемъ его тамъ, гдѣ, кромѣ непріятностей и черныхъ дней, нашей сестрѣ другаго ждать нечего... Глупыя! вотъ вамъ вѣрнѣйшій рецептъ достиженія совершеннаго и разъ навсегда невозмутимаго блаженства: три драхмы синеродистаго калія въ стаканѣ лимонада, а то хоть и простой воды... Ничего не можетъ быть вѣрнѣе!

«Я люблю сумерничать... Сумерки—безцѣнное время для лѣнтяевъ, несчастныхъ и усталыхъ! Подъ ихъ дымчатымъ покровомъ какія только мечты не приходятъ въ голову, если, впрочемъ, не заснешь, сумерничая... Ну, за то и сны удивительные тутъ снятся. Я люблю сумерки, потому что цѣлый день маешься — бѣгаешь на

курсы, потомъ на уроки, потомъ обѣдать гнилью въ дешевой кухмистерской, а вотъ, когда заберешься въ свою конуру, послѣ всей этой дурацкой маяты, да протянешься на своей койкѣ—ну, такъ хорошо, что смерти не нужно! По всѣмъ твоимъ косточкамъ, по всѣмъ суставчикамъ ходитъ мозгливая усталь и—тутъ она уже въ своемъ полномъ правѣ... Предаешься ей съ наслажденіемъ и тутъ-то, въ сумерки, съ полной очевидностью сознаешь, что, вѣдь, ей конца не будетъ никогда, пока не придетъ смерть... Зачѣмъ же остановка? Иди желанная, «возьми меня», какъ говоритъ тургеневская Елена Инсарову! И, право, трудно сказать, кому больше пріятности—холенной-ли на барскихъ хлѣбахъ Еленѣ упасть въ болгарскія пламенныя объятія Инсарова, или нашей сестрѣ, выражаясь высокимъ слогомъ, «мученицѣ идеи», воспѣтой нецензурными поэтами, попасть къ чорту въ зубы, выражаясь низкимъ слогомъ?..

«Измаялась я и устала до-нельзя не физически только... Съ физической усталостью можно бы еще сладить, да она и не страшна, коли молодъ и здоровъ. Неисцѣлима душевная усталь, когда она дошла до того, что начинаешь терять вѣру въ себя, въ свои силы, въ свою будущность, когда перестаешь вѣрить въ людей, въ добро и во все, во все... Чтожъ тогда остается?—Жить, какъ набѣжитъ, да зачѣмъ — спрашивается? Глупо!..

«Не сразу овладѣла мною эта змѣя лютая—исподволь, тихомолкомъ подкрадывалась она, кольцо за кольцомъ обвиваясь вокругъ моей жизни и постепенно ее замаривая. Вспоминаю эту жизнь и—какая пустота, ка-

кая гадость! Ни одной свѣтлой точки, ни одной Божьей искорки! Дурная, грубая, безпутная чиновничья семья, погрязшая въ мѣщанскихъ, мелочныхъ, дрянныхъ интересахъ... Вѣчные счеты грошей, перемежаемые то малодушнымъ злобнымъ отчаяньемъ, когда ихъ не хватаетъ или съ ними нужно разставаться, то звѣриной плотоядной алчностью, когда выдается случай урвать ихъ — украсть или ограбить, подъ видомъ лихвы и взятки. И, за всѣмъ тѣмъ, безконечная, перекатная голь и бѣдность—вѣчное житье въ грязи, въ отрепьяхъ, въ проголоди и холодѣ, среди вѣчныхъ оховъ, стоновъ и проклятій, безъ любви, безъ ласки... Какъ тутъ не измучиться и не устать?

«Помню, въ самомъ раннемъ дѣтствѣ я была, т. е., уже сознавала себя самымъ несчастнѣйшимъ ребенкомъ и уже тогда чувствовала ту-же усталь, которая теперь червемъ гложетъ мою грудь, и не хотѣла жить... Не знала я только тогда, какъ избавиться отъ этой мерзости—жизни; но избавиться приходила охота не разъ... Однажды—мнѣ тогда было лѣтъ восемь—стало мнѣ дома до того больно и нестерпимо, что я убѣжала въ лѣсъ. Этотъ лѣсъ, окружавшій нашъ городъ и мечтательно синѣвшій вдали изъ оконъ нашего домика, производилъ на меня съ той поры, какъ я стала себя помнить, чарующее, волшебное впечатлѣніе. Я въ немъ никогда не была до моего побѣга, но у меня, почему-то, въ дѣтскомъ воображеніи сложилось нелѣпое представленіе, что тамъ, въ глубинѣ этого лѣса, можно найти мое дѣтское счастье и, во всякомъ случаѣ, туда можно убѣжать и превосходно укрыться отъ мучительной жизни,

какую я испытывала подъ родительскимъ кровомъ. Припоминаю, я очень ловко выскользнула изъ дому и, не помня себя, побѣжала по направленію къ лѣсу, не спуская глазъ съ его дымчатой, голубой полосы, неотразимо манившей меня, какъ-бы въ свои чудесныя объятія... Бѣжать пришлось долго; едва переводя духъ, вступила я, наконецъ, подъ развѣсистую сѣнь моего зеленаго убѣжища, и—моей дѣтской душѣ открылся вдругъ новый, широкій, необъятный, прекрасный міръ! Точно, въ самомъ дѣлѣ, могучій лѣсъ принялъ меня сознательно въ свои ласковыя объятія и прижалъ къ своей гордой, дышащей вольной, прекрасной жизнью, груди. Городскія дѣти, обыкновенно, боятся лѣса, а я, напротивъ, почувствовала себя въ немъ такъ хорошо, такъ уютно, какъ никогда въ жизни я этого не испытывала. Правда, день былъ лѣтній, свѣтлый, тихій... Высокія, могучія деревья величаво, не шелохнувшись, поднимались къ небу и только въ верхушкахъ ихъ шелъ таинственный, сладкій говоръ, въ гармонически-тихіе, задумчивые аккорды котораго сверкающими искрами время отъ времени врѣзывались то веселый свистъ иволги, то суетливое жужжанье пчелы, то размѣренный стукъ дятла, долбящаго старый стволъ. Войдя въ глубь лѣса, я замерла, какъ очарованная; мнѣ все здѣсь было ново, причудливо и заманчиво. Я останавливалась передъ каждымъ большимъ деревомъ, поднимала голову, чтобъ увидѣть его верхушку, оглядывалась кругомъ и чутко вслушивалась въ могучее дыханье лѣса, въ его чудныя, загадочныя, но такія ласковыя, плѣнительныя рѣчи, и мнѣ грезилось, будто этотъ милый, добрый и такой безстрашный

лѣсъ возьметъ меня и стану я счастливой, любимой царевной у лѣснаго царя... На этихъ дѣтскихъ грезахъ я уснула и, когда проснулась, то увидѣла не желаннаго лѣснаго царя, а тѣхъ, отъ кого я бѣжала... Больно и жестоко была я наказана за эту первую мою попытку уйти изъ постылой жизни.

«Я вспоминаю здѣсь объ этомъ моемъ бѣгствѣ въ лѣсъ, потому что оно—одно изъ лучшихъ воспоминаній моего дѣтства. Могу сказать, это—единственная поэма моего дѣтства,—ничего, что на днѣ этой поэмы лежало, назрѣвшее въ дѣтской душѣ, омерзѣніе къ жизни. Я и теперь вспоминаю съ удовольствіемъ эту мою маленькую дѣтскую элегію, потому что и теперь то убѣжище вѣчнаго покоя, куда меня тянетъ, грезится мнѣ въ видѣ такого же синѣющаго обольстительной, таинственной далью лѣса, подъ вѣтвями котораго и есть желанный рай... Это уже Данте понялъ; и ему тоже, гораздо раньше, чѣмъ мнѣ, владѣнія смерти представлялись великолѣпнымъ, очаровательнымъ лѣсомъ. Помните, какъ онъ говоритъ о себѣ:

«Объятый сномъ, я въ темный лѣсъ вступилъ,
Путь истинный утративъ въ часъ тревоги»...

«Да, у всѣхъ насъ, надо полагать, намѣченъ «истинный путь» и всѣ мы его теряемъ «въ часъ тревоги», а, потерявши, разумѣется, ничего больше не остается, какъ поскорѣе убѣжать «въ темный лѣсъ», да такъ, чтобы ужъ безъ возврата...

«Оглядываясь на все мое прошлое, я прихожу къ той мысли, что человѣкъ и даже слабаго женскаго по-

ла—ужасно живучая тварь, гораздо живучѣе кошки. Положительно не могу объяснить, какъ и зачѣмъ прожила я почти двадцать три года? Это—непростительно долгій срокъ для опыта въ томъ, что жить нельзя, что жить ненужно, что жить — глупость и мученіе! Какая нужна ослиная тупость, чтобы не убѣдиться было въ этой математически-вѣрной истинѣ гораздо ранѣе!

«Говорятъ, жизнь поддерживаетъ и даетъ ей содержаніе, особенно жизнь женщины, любовь. Вотъ эта штука очень долго меня интересовала, пока, наконецъ, я не убѣдилась, что она такая-же, въ сущности, дрянь, какъ все или почти все на свѣтѣ. Впрочемъ, экспертиза по этой части была очень не полная. Во-первыхъ, достовѣрно то, что меня никто никогда не любилъ... никогда! Съ самаго ранняго возраста я была забитой, всѣми гонимой сиротой, хотя у меня были и отецъ и мать... мать, проклинавшая мое рожденіе, какъ Божье наказаніе, надѣленное ртомъ, который требуетъ лишняго куска, и облеченное въ грѣшное тѣло, которое нужно одѣвать.

«Въ ненависти рожденная, ненавистью повитая и ненавистью вскормленная, я должна была-бы, по настоящему, вырости волчицей, и — тогда, можетъ быть, я справилась-бы съ жизнью, я грызла-бы съ аппетитомъ другихъ, была-бы сыта и счастлива, а, между тѣмъ, точно въ насмѣшку, природа надѣлила меня овечьимъ нравомъ... Нелѣпѣйшее противорѣчіе!

«Изъ всего того, что я видѣла и испытала, мнѣ теперь ясно видно, что, вообще, нашъ путь — путь «новыхъ» женщинъ, размечтавшихся о славныхъ бубнахъ за горами, идетъ по такимъ головоломнымъ стремни-

намъ и ухабинамъ, что нужно быть скованной изъ желѣза, чтобы невредимо пройти его весь... Но развѣ мы-то, я, напримѣръ,—буду говорить только о себѣ—изъ желѣза кованы? Смѣемся мы надъ «кисейными барышнями», а много-ли мы крѣпче ихъ и основательнѣе, если сдѣлать провѣрку?

«Легко жить и даже весело жить, хотя бы при самыхъ отвратительныхъ условіяхъ, когда еще можешь себя морочить разными красивыми отвлеченностями и просто *хорошими* словами... Счастливая способность молодости—она чудеса дѣлаетъ, на подвиги поднимаетъ, горами ворочаетъ, а горъ не сдвинешь съ мѣста (и, конечно, не сдвинешь), то съ пріятностью лобъ объ нихъ размозжишь: изъ за хорошаго словца выслужился, молъ, передъ человѣчествомъ на пять съ плюсомъ! А человѣчество, натурально, даже и не замѣтитъ, что, вотъ, жилъ-былъ на свѣтѣ такой удивительный горе-богатырь и, во первыхъ, потому не замѣтитъ, что самое-то *человѣчество*, какъ такая будто-бы цаца, изъ-за которой стоило-бы лобъ разбивать, и есть не болѣе, какъ одно изъ хорошихъ словъ, придуманныхъ для отрады тѣхъ, кому непремѣнно хочется «тепло жить на свѣтѣ» и на тотъ предметъ, чтобы горе-богатыри не совсѣмъ уже переводились... Безъ нихъ вѣдь, чай, у бабушки—исторіи и всѣ сказки для дѣтей скоро прикончились-бы!

«Я никогда, какъ уже говорила, не была почти молода настоящею молодостью, и потому всегда тупо понимала хорошія слова, и—было время—очень мучилась этой моею неспособностью, старалась усвоить себѣ ихъ, повѣрить имъ, но все, чего я могла добиться, это—об-

манывать самую себя, съ совершенной, впрочемъ, искренностью. Конечно, обманъ не могъ долго продолжаться... Ну, какъ я могла бы твердо увѣровать въ «человѣчество», напримѣръ, заставить себя *любить* эту фиксію, этотъ величественный пустякъ, какъ учило хорошее слово, когда во всю почти мою жизнь никакого такого, къ хорошему слову подходящаго, человѣчества и признаковъ я не видѣла вокругъ себя, а видѣла только жестокое, коварное, лицемѣрное, самолюбивое и трусливое звѣрье, притомъ, непримиримо разъединенное и для того только, повидимому, заключившее хваленый общественный союзъ, чтобы никому изъ его членовъ не нужно было далеко ходить для поддержанія неустанной взаимной грызни и ненависти? Какимъ чудомъ въ состояніи была-бы я всѣмъ сердцемъ почувствовать себя, по хорошему слову, членомъ «великой человѣческой семьи», когда я съ дѣтства была горькой сиротой въ этой семьѣ—никому ненужной, лишней и, потому, гонимой, отовсюду выталкиваемой за порогъ семейнаго дома, когда самое понятіе семьи, родства людей, жизнь на каждомъ шагу жестоко осмѣивала и опровергала, какъ красивую глупость, и на мнѣ самой, лично, и кругомъ меня? Нужно имѣть сильное воображеніе и съ молоду сбереженное отъ зла сердце для иллюзій, а у меня вѣдь и воображеніе и сердце заморенныя...

«И, право, я здѣсь вообще не жалуюсь на то, что судьба такъ поторопилась произвести во мнѣ, въ моемъ сознаніи, полное опустошеніе по части разныхъ идеальностей и хорошихъ словъ, что́, впрочемъ, одно и то же. Мнѣ себя вовсе не жаль, потому что—вѣдь, я знаю на-

передъ,—когда меня не станетъ, обо мнѣ никто, никто не пожалѣетъ... Зачѣмъ же жить? — Повѣрьте, умирать тогда только больно, когда есть любовь, когда самъ любишь и тебя любятъ... Лучшаго, убѣдительнѣйшаго оправданія жизни не придумалъ и не придумаетъ никакой мудрецъ! Только это не та необъятная, отвлеченная любовь къ «человѣчеству», которая рекомендуется хорошими словами, какъ необходимое условіе «разумной» жизни. Я не вѣрю въ эту любовь, не понимаю ея и, сколько ни старалась, усвоить себѣ ее не могла... Просто не понимаю, помимо тѣхъ, выше оговоренныхъ причинъ, которыя въ эгоистической натурѣ (а я, ей-Богу, вовсе не эгоистка) могли воспитать никакъ не человѣлюбіе, а человѣконенавистничество. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ иной силлогизмъ!

Усиливаясь представить себя въ соотношеніи съ человѣчествомъ, въ смыслѣ количественномъ (ибо другому смыслу идея человѣчества не поддается... Я ужасно много объ этомъ думала!), я вывела такую, мнѣ кажется, безошибочную пропорцію: *я* отношусь къ человѣчеству такъ, какъ одна капля относится къ океану. Въ сущности, даже менѣе, потому что, какъ извѣстно, сколько бы ни вычерпывали океанъ—онъ ни на одну малѣйшую долю не убавится, точно также, сколько бы смерть ни косила человѣческихъ жизней, человѣчество, въ количественномъ отношеніи, не только не убавляется, но постоянно множится. Стало быть, по ариѳметикѣ: есть я, нѣтъ меня — для человѣчества и его экономіи совершенно безразлично! Не знаю, пойметъ-ли меня кто нибудь, но для меня въ этомъ ариѳметическомъ разсчетѣ

заключены и глубокая отрада и оправданіе рѣшенія кончить съ собою. Всѣ отлично поняли бы меня, если бы люди были лишены права надъ своей жизнью, т. е., если-бы у нихъ была отнята возможность прерывать ея нить, когда имъ угодно. Если есть права у человѣка. то это, разумѣется, самое великое, самое драгоцѣнное право! Подумайте, что можетъ быть дороже, слаще и, въ то же время, человѣкоподобнѣе, какъ возможность во всякую минуту смѣнить самую нестерпимую муку безмятежнымъ покоемъ, разъ навсегда вытѣснить изъ своего сознанія накопившійся ядовитый осадокъ обиды, недовольства, тоски и отвращенія къ постылой жизни и къ людямъ!..

«Замѣчаю, что я очень зафилософствовалась и—немудрено—если при этой оказіи и завралась гдѣ-нибудь. Это—общее свойство философіи. Моя драма, въ сущности, весьма проста и не требуетъ для ея уразумѣнія трансцендентальнаго мышленія.

«Въ числѣ хорошихъ словъ значится также, какъ извѣстно, наука, получившая съ недавняго времени, и совершенно напрасно, какое-то особенное, заповѣданное, священно-освободительное значеніе для «новой» женщины. Разумѣется, наука—прекрасная вещь, но изъ того, какъ ее начали у насъ понимать, по отношенію къ нашей сестрѣ, получилось прежде всего огромное двойное недоразумѣніе: съ одной стороны, непомѣрно обрадовались «курсамъ», какъ такой универсальной панецеѣ, которая сразу, по предложенной идеальной программѣ, переиначитъ вѣками складывавшіяся семейно-бытовыя отношенія и создастъ вдругъ совершенно новый, проте-

стантскій типъ самостоятельной, мощной женщины-гражданки, побѣдоносно оспаривающей на всѣхъ поприщахъ пальму первенства у своего тысячелѣтняго поработителя; съ другой стороны,—какъ это всегда бываетъ,—предъявленіе слишкомъ широкихъ, рѣшительныхъ и, по самой натурѣ вещей, неосуществимыхъ, мечтательныхъ требованій породило въ лагерѣ принципіальныхъ поработителей столь-же преувеличенный, нетерпимый и крикливый испугъ. Естественно, что женская наука, поставленная на такую горючую почву, должна была сдѣлаться вопросомъ спорнымъ, который путемъ борьбы и ожесточенія разрѣшился уже такимъ, напримѣръ, абсурдомъ, что высшее женское образованіе—вещь, по малой мѣрѣ, лишняя, а, по мѣрѣ крайней, совершенно вредная. Заключеніе вполнѣ достойное поработителей, но такъ какъ они—большинство и на ихъ сторонѣ сила, то возможно, что въ концѣ-концовъ высшей женской наукѣ надолго будетъ поставленъ крестъ.

«Съ своей стороны, чистосердечно могу сказать, что добилась поступленія на курсы вовсе не изъ-за громкихъ хорошихъ словъ, вовсе не ради какого нибудь протеста или какой нибудь манифестаціи женскихъ правъ въ контру поработителямъ. И я хорошо знаю, что большинство курсистокъ точно также ни мало не задаются подобными политическими отвлеченностями и смотрятъ на свое посланничество несравненно проще, съ чисто женской практичностью. Да и какъ не понять, что и природа и жизнь создаютъ для многихъ интеллигентныхъ дѣвушекъ такія исключительныя, роковыя положенія, что для нихъ высшая наука и доставляемая ею

независимость—просто спасеніе и единственное убѣжище, такое-же убѣжище, какимъ служилъ, напр., въ свое время монастырь для нашихъ бабушекъ, попадавшихъ въ одинаковое съ нами положеніе!

«Я прямо скажу о себѣ, напримѣръ: если-бы въ то время, когда я, уже въ дѣвушкахъ, процвѣтала въ родительскомъ домѣ, за меня посватался какой-нибудь непротивный для меня мужчина (а подъ иную горькую минуту и противнымъ не побрезгала-бы!) и предложилъ-бы мнѣ самое даже скромное «мѣщанское счастье»,—я безъ сомнѣнія пошла-бы за него, не поморщившись, и о продолженіи наукъ въ высшихъ курсахъ забыла-бы и думать, да забыть о нихъ понудили-бы и дѣти. Я не знаю, была-ли бы я тогда счастлива; вѣрнѣе всего, что нѣтъ, но ужъ, разумѣется, еслибъ у меня пошли дѣти, то я не кончила-бы такъ, какъ теперь кончаю. Сужу потому, что я и теперь, никогда не имѣвши своихъ дѣтей ужасно люблю этихъ невинныхъ, маленькихъ ангельчиковъ, изъ которыхъ, обыкновенно, выростаютъ такіе большіе негодяи... На дѣтяхъ только видишь и догадываешься, что человѣкъ могъ-бы быть гораздо лучше и чище, чѣмъ онъ есть въ современномъ обществѣ.

«Но такая ужъ моя удача, за меня никто ни разу не сватался, и какъ-то такъ вышло, что я даже никогда и ни въ чьихъ глазахъ не считалась невѣстой. Прежде всего мать отказала мнѣ въ этомъ правѣ, съ ненавистью замѣчая по мѣрѣ того, какъ я подростала, что изъ меня не выйдетъ красивая, интересная барышня, на прелести которой могъ-бы позариться какой-нибудь впечатлительный женихъ. Дурная собой, плохо воспитан-

ная и вовсе невоспитанная въ наукѣ «плѣнять» мужчинъ, всегда кое-какъ одѣтая, круглая безприданница,— куда-жъ я годилась въ невѣсты даже на мѣрку губернскихъ жениховъ!

«Оставалось куда-нибудь пристроиться, куда-нибудь укрыться съ моимъ сиротствомъ и просто поискать хлѣба. Курсы и открывшаяся за ними перспектива самостоятельнаго, обезпеченнаго труда на пользу себѣ и обществу представились мнѣ спасительнымъ берегомъ, единственнымъ исходомъ изъ моей безотрадной судьбы и такимъ хорошимъ, благороднымъ дѣломъ, которое до верху заполнитъ меня и дастъ содержаніе всей моей жизни. Въ ту пору, еще до курсовъ, и какъ всегда, меня болѣе всего томили и пугали пустота и безцѣльность существованія. Нужды и работы я никогда не боялась и предстоявшія трудности на курсахъ не только не смущали меня, но какъ-бы пришпоривали во мнѣ бодрость.

«Наконецъ, я добилась чего хотѣла. Пріѣхала въ Петербургъ, принята на курсы, учусь... Учусь годъ, учусь другой; кажется, все идетъ своимъ порядкомъ: бьюсь, какъ рыба объ ледъ, не досыпаю, зябну, нерѣдко совсѣмъ изнемогаю, но вѣдь иначе и не могло быть, лишь-бы къ цѣли ближе... Но тутъ произошли со мной такія обстоятельства, такія испытанія, что я вдругъ стала терять изъ виду эту цѣль, т. е., она совсѣмъ перестала мнѣ казаться необходимой, желанной цѣлью, потому что самая жизнь моя стала мнѣ противна, безцѣльна и ненужна.

«Началось это очень страннымъ и даже, какъ будто,

необъяснимымъ образомъ. Я вдругъ стала вникать въ себя и, какъ будто со стороны, на себя оглядываться... Никогда прежде со мной этого не было, и я просто никогда не знала и никогда не спрашивала—какая я такая? А тутъ это самоизслѣдованіе чуть не въ манію превратилось, дошло до мелочей, нерѣдко совсѣмъ глупыхъ и смѣшныхъ... Хожу я, напримѣръ, въ сумеркахъ по своей комнатѣ и мнѣ кажется, что тутъ-же кто-то другой, мое-же *я*, незримый двойникъ, стоитъ въ уголку и всю меня пронизываетъ своими испытующими глазами... даже самые глаза эти получаютъ въ моемъ представленіи и цвѣтъ, и блескъ и выраженіе. Они почти молочно-сѣрые, съ холоднымъ, но проницательнымъ блескомъ, тяжелые, безстыдные и насмѣшливые. Подъ ихъ упоромъ я, съ отвращеніемъ и мукой, чувствую себя какъ-бы обнаженной и не только тѣломъ, но и внутренно... Проклятые глаза видятъ всю меня насквозь и—я понимаю, что я для нихъ гадкая, жалкая и совсѣмъ не граціозная! Меня это терзаетъ, потому что я и сама начинаю представлять себя гадкой, некрасивой и жалкой, и—иною уже представить себя не могу... Смѣшно сказать, дошло до того, что я стала заниматься своей наружностью, изучать ее, прихорашивать; точно также, неощутительно для себя, я изъ угловатой, рѣзкой и открытой въ манерахъ и поведеніи, превратилась въ робкую, застѣнчивую, точно кисейная барышня... Я сознавала, что это пошлости, но не могла преодолѣть власти надъ собой, этой, вдругъ зародившейся во мнѣ, но, какъ-бы, сторонней, враждебной мнѣ, инстинктивной силы.

«Долго не могла я понять, что такое со мной дѣлается; но, однажды, вечеромъ—никогда не забуду этого вечера и, можетъ, умирая, послѣдняя мысль моя будетъ проклятіе ему и благословеніе,—уже другіе, каріе, огневые глаза всю потрясли меня и смутили тѣмъ-же выраженіемъ, которымъ угнеталъ меня взоръ моего сумеречнаго призрака... Тутъ быто что-то однородное по впечатлѣнію, по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ показалось въ первую минуту, когда я вглядѣлась въ эти прекрасные, но такіе-же злые, холодные каріе глаза и, съ сладкой болью, почувствовала, какъ они всю меня до глубины сердца проняли своимъ огнемъ и покорили своей властью. Это былъ уже не призракъ.

«Мечта о возможности такого счастья, такого блаженства, о которыхъ мнѣ никогда и не грезилось, самой возможности которыхъ я даже и не подозрѣвала (Я тутъ только узнала, какая я дикая, наивная и до нелѣпости неопытная!),—мечта эта была однимъ мгновеніемъ; но его оказалось совершенно достаточно, чтобы у меня раскрылись глаза и я увидѣла мелькомъ ту звѣздочку, ради которой стоило-бы жить, и, видѣвши которую разъ, потомъ, когда она потухнетъ, жить не стоитъ.

«Можетъ быть иной подумаетъ, что тутъ у меня подразумѣвается чувствительный романъ, о которомъ я не хочу только разсказывать подробно... Да, разсказывать я не имѣю охоты, потому что мнѣ и больно и противно теперь вспоминать этотъ лишній опытъ въ моей ненужности, въ людской дрянности и проч. Къ тому же, никакого романа у меня и не было, да и не могло быть, потому что... потому что герой его даже и не подо-

зрѣвалъ, какъ пышно и широко разцвѣло мое сердце,— казалось, все небо, весь міръ вмѣстило-бы оно въ эти мгновенья; но ему-то никакого до этого не было дѣла!

«Не былъ этотъ эпизодъ въ моей жизни и драмой на тэму отверженной любви, эпилогомъ которой явился-бы въ свое время пріемъ синеродистаго калія... Пустяки! Но эпизодъ этотъ, показавъ мнѣ возможность рая, счастья и не давъ ихъ, былъ послѣднимъ экспериментомъ въ моемъ стараніи привязаться къ жизни, найти въ ней зацѣпку, за которую стоило-бы ухватиться и немножко пожить полной грудью.

«Экспериментъ не удался, но, кромѣ того, что не удался, онъ отравилъ мнѣ дыханіе, онъ убилъ во мнѣ и тотъ грубый, инстинктивный аппетитъ къ жизни, который побуждалъ меня маяться, биться и, съ муравьинымъ трудолюбіемъ, карабкаться по тернистой стезѣ науки къ самостоятельному женскому труду.

«Великое дѣло—наука, прекрасенъ трудъ, очень хороши, безспорно, *хорошія* слова, и я имъ вѣрила и думала, что тутъ катехизисъ для душеспасенія; но потомъ пришла минута, когда я отдала-бы и науку, и карьеру и всѣ до одного хорошія слова за одно мгновеніе, за одну минуту любви! О, я вовсе не противъ науки, не противъ хорошихъ словъ! Пусть будутъ, даже непремѣнно должны быть, но пусть отъ нихъ не черствѣетъ сердце, пусть ихъ грѣетъ чудесное солнце любви, и пусть женщина прежде всего и послѣ всего останется женщиной— женою, матерью, «вѣнцомъ созданія», какъ сказалъ какой-то поэтъ!

«Безъ любви жизнь, въ особенности женская жизнь—

ливійская пустыня, которую, право, не стоитъ труда проходить, и если, какъ у меня, напримѣръ, ничего ни назади, ни впереди, кромѣ этой пустыни, не видно, то чѣмъ скорѣе кончить путешествіе, тѣмъ лучше... Я это и дѣлаю безъ сожалѣнія и съ надеждой, что найду конецъ моей невыносимой истомѣ...

«Прощайте! прощайте! прощайте!»

* *
*

На этомъ кончается тетрадка Марьи Ивановны.

# РОЗЫ И ТЕРНІЯ.

## I.

Онѣ стояли одна противъ другой, крѣпко сплевшись руками, и въ ихъ любопытныхъ, внимательно вглядывающихся другъ въ друга глазахъ свѣтилась безотчетная радость свиданія, послѣ долгой разлуки, людей когда-то близкихъ между собою. Также ли близки онѣ и теперь?— По внѣшности, между ними такая безграничная разница!

Одна—высокая, статная, нарядная красавица, съ горячими, нѣжными руками, плотно обтянутыми мягкими шведскими перчатками, въ бархатной, опушенной соболемъ, шубкѣ и въ дорогой бобровой бояркѣ, удало надвинутой на взбитыя на лбу свѣтлорусыя кудри. Отъ нея вѣетъ здоровьемъ, холей, тонкими духами и свѣжимъ холодкомъ мороза, сейчасъ внесеннаго съ воздуха. Морозъ зарумянилъ и ея пухленькія, смѣющіяся щеки, и на одной изъ нихъ, въ лилейной ямкѣ, искрится тающая

снѣжинка; такія же влажныя искорки, точно бриллiантовая пудра, повисли на ея длинныхъ, шелковистыхъ рѣсницахъ и, смачивая ея каріе, веселые глаза, усилили ихъ яркость.

Другая—стройная, худощавая, средняго роста дѣвушка, съ тонкимъ, но утомленнымъ, блѣднымъ лицомъ и съ такими же блѣдными, сухими, узкими руками, оканчивающимися породистыми, длинными, нервными пальцами. На ней черная шерстяная блуза, перетянутая кожанымъ поясомъ; темные, вьющіеся волосы закинуты назадъ и спутанными волнами упали на узкія плечи. Изъ подъ густыхъ, соболиныхъ бровей, сомкнутыхъ тонкой, строгой складкой надъ переносьемъ, твердо и спокойно смотрятъ прекрасные, нѣсколько хмурые, темносѣрые глаза, но въ эту минуту и въ нихъ свѣтится привѣтливая радость.

Обѣ молодыя женщины только что свидѣлись послѣ долгой разлуки, втеченіе которой между ними,—онѣ это взаимно сейчасъ почувствовали и поняли,—много, много воды протекло. Первая—гостья, вторая—хозяйка бѣдной и тѣсной комнаты, въ пятомъ этажѣ, съ незатѣйливой, студенческой обстановкой, гдѣ только и роскоши, что книги, да маленькое старое піанино.

— Надя, Надя, сколько лѣтъ мы съ тобой не видѣлись!—сладкимъ, бархатно-пѣвучимъ голосомъ лепетала гостья, въ десятый разъ принимаясь цѣловать хозяйку и ласково трепать ея руки.—А я тебя искала, писала, звала къ себѣ, и—ты хоть-бы откликнулась... Разлюбила меня!

— Некогда было,—уклончиво отвѣтила Надя.

— Да, я знаю, у тебя курсы, книги, ученыя занятія... У меня вѣдь тоже занятія—знаешь, чай... Иное время—вся нарасхватъ. Да и безпорядочная я, живу по-цыгански... За то теперь, Надя, ты—моя и, какъ ты себѣ хочешь, я тебя возьму въ плѣнъ. Теперь—святки, и ты и я свободны... Урвемъ денекъ, другой, и проведемъ вмѣстѣ. Я съ тѣмъ и пріѣхала, чтобы взять тебя къ себѣ. Мы на славу отпразднуемъ съ тобою святки, какъ—помнишь—когда-то, въ старину, въ нашей родной Украинѣ... Будетъ и кутья, и взваръ и колбасы... Мы будемъ и колядовать и «щедровать» по нашему... Хочешь—гадать станемъ! Потанцуемъ, на тройкахъ покатаемся...

„Мы и пѣть будемъ и плясать будемъ,
А смерть придетъ—помирать будемъ!“—

весело и съ удалью проскандировала гостья сверкая своими красивыми, бѣлыми зубами.

Надя внимательно смотрѣла на нее, видимо любуясь подругой, ея красотой и рѣзвой прелестью, и тихо улыбалась.

— А ты, Катря,—сказала оча,—все такая-же, какъ была, юная, веселая, беззаботная!

— А что мнѣ, у бісова батька, дѣлается? Ну, ѣдемъ-же, голубонька моя, ко мнѣ! — настаивала и торопила Катря.

— Благодарю тебя, — отвѣтила Надя, пожимая ея руку.—Рада тебѣ я очень и люба ты мнѣ по-прежнему, а только я къ тебѣ не поѣду...

---

## II.

Надя и Катря—землячки и съ ранняго дѣтства подруги. Онѣ—уроженки одного южно-русскаго большого города, гдѣ вмѣстѣ росли, вмѣстѣ учились въ гимназіи и одновременно окончили курсъ. Несмотря на разницу темпераментовъ и характеровъ, онѣ горячо были привязаны другъ къ другу и дѣлили между собою все, чѣмъ бывали богаты. Обѣ—дѣти бѣдныхъ родителей изъ разночинцевъ — самимъ себѣ почти были обязаны своей карьерой; но въ то время, какъ Надѣ доставалось все трудомъ и настойчивой энергіей и въ гимназіи она считалась прилежнѣйшей, лучшей ученицей, Катря, не оказывавшая особенно блестящихъ успѣховъ въ наукахъ, брала счастьемъ, удачей и тѣмъ обаяніемъ, какое производила она съ раннихъ лѣтъ на всѣхъ окружающихъ своей обольстительно-свѣтлой личностью. Надя, съ дѣтства точная, строгая и сосредоточенная, серьезно смотрѣла на жизнь; у Катри была пылкая, увлекающаяся, артистическая натура, она шла по жизненному пути, точно по саду, рвала и мяла встрѣчные цвѣты съ безъоглядностью баловницы, обезпеченной этимъ добромъ отъ щедрой фортуны на весь вѣкъ... Покамѣсть, дѣйствительно, цвѣтамъ на ея пути не было перевода.

По окончаніи гимназическаго курса, подруги разошлись вскорѣ по разнымъ дорогамъ. Надя продолжала учиться и отправилась на высшіе курсы съ цѣлью сдѣлаться—ученой, писательницей, учительницей. Катря, еще въ гимназіи считавшаяся первой пѣвуньей, слѣдуя

своимъ артистическимъ наклонностямъ, поступила на сцену почти безъ всякой къ тому подготовки, но и тутъ ей сразу повезло. Юная красота, граціозная смѣлость, свѣжій, хорошенькій голосокъ, талантливость и огненная бойкость темперамента, съ первыхъ-же дебютовъ, обезпечили ей прочный, непрерывно возроставшій успѣхъ. Она играла въ водевиляхъ и пѣла въ опереткахъ — жанръ самый выгодный для актрисы, по современнымъ вкусамъ. Куда ни являлась Катря, у нея тотчасъ-же заводилась толпа поклонниковъ и сластолюбивыхъ претендентовъ, расточавшихъ передъ нею всякіе соблазны роскоши, суетнаго блеска и разгульнаго бонвиванства. Она не устояла противъ этихъ соблазновъ и не думала бороться съ ихъ грѣховнымъ искушеніемъ. Она жадно отдалась этой, опьяняющей своимъ наркотическимъ чадомъ, пучинѣ и прожигала свою молодую жизнь съ беззавѣтностью вакханки. Росла ея артистическая слава, но росла въ то же время и скандалезная извѣстность. О Катрѣ чуть не по всѣмъ губерніямъ пошла молва, что она—очаровательная актриса, но, притомъ, и отчаянная, забубенная голова, что, впрочемъ, не только не вредило ея славѣ, а—напротивъ—заостряло и окрыляло ее въ глазахъ многочисленныхъ «цѣнителей талантовъ» на поприщѣ оперетки.

Съ такою, вполнѣ опредѣлившеюся, репутаціей Катря явилась къ Надѣ, послѣ того, какъ онѣ четыре года не видались. Конечно, Надя знала въ общихъ чертахъ и о судьбѣ подруги, и объ ея славѣ и объ ея безславіи. Вѣроятно, потому она и не спѣшила, съ своей стороны,

встрѣтиться съ нею, инстинктивно чувствуя, что между ними легла пропасть.

---

## III.

— Не проси Катря, я къ тебѣ не поѣду,—ласково, но твердо повторила свой отказъ Надя, послѣ новыхъ настояній подруги.

— Но почему-же? почему?.. Брезгаешь? Гордишься?—чуть не со слезами спрашивала Катря, не выпуская изъ своихъ рукъ руки подруги и нервно ее сжимая.

— Полно, хорошая моя, что тебѣ померещилось!

— Нѣтъ, я знаю—вы гордыя, и ты, конечно, презираешь меня, да я этого вполнѣ и заслуживаю.

— Повѣрь, ты ошибаешься! Во-первыхъ, я все еще люблю тебя, да и какъ тебя не любить—такую красавицу! Потомъ, ни гордиться передъ тобой, ни презирать тебя я не имѣю никакого права... Полно!

— Ты права не имѣешь? Ты—чистая, святая труженица, горящая идеалами любви и самоотверженія... А я? что такое—я?—Опереточная примадонна, торгующая безстыдствомъ, общедоступная гетера, разжигающая своимъ тѣломъ грязные инстинкты развратной толпы... Презрѣнье мнѣ имя!

— Катря, къ чему ты это говоришь? Я тебя ни въ чемъ не упрекаю!

— Такъ почему-же ты не хочешь ко мнѣ ѣхать? Помнишь, ты когда-то хвалила мое сердце, называла меня доброй... Ненаглядная моя, вѣдь для тебя мое

сердце и теперь такое-же, и бьется такимъ-же чувствомъ, какъ и въ то время, помнишь, когда мы съ тобой дѣвочками бѣгали колядовать къ сосѣдямъ!.. Дружочекъ, пожалѣй меня, дай-же мнѣ воскресить, хоть на денекъ, то чистое счастливое время нашего дѣтства!

— Развѣ это возможно?

— Отчего-же? Вотъ ты увидишь, какъ мы весело и «жваво» встрѣтимъ святки... Меня на это взять, и— повѣрь—я развеселю тебя!

— Нѣтъ, милая: тебѣ меня не развеселить!

— Да что ты за такая бука?

— Что же дѣлать? Мнѣ твое веселье — не въ веселье... Просто, сердце не лежитъ, а не какія-нибудь глупыя предубѣжденія... Можешь ты меня понять?

— Да-а!—протянула Катря, грустными и недоумѣвающими глазами оглядывая подругу.—Какое-же твое веселье и бываетъ-ли оно когда-нибудь?

— Бываетъ....

— Разскажи!

---

## IV.

Прошелъ часъ.

Надя стояла посреди комнаты блѣдная, какъ полотно, но глаза ея горѣли, какъ раскаленные угли, и рѣчь ея лилась кипучей струей, сверкающей жгучими брызгами...

— Знаешь-ли ты, Катря, блаженство страданія, сладость муки за другихъ, за всѣхъ униженныхъ и оскорб-

ленныхъ! — говорила она и голосъ ея звенѣлъ, точно струна, тронутая ударомъ ретиваго, полнаго любви сердца.—Я не могу тебѣ разсказать, какое счастье чувствовать въ своемъ сердцѣ какъ-бы пульсъ этой общей скорби... Бываютъ минуты, когда это чудное чувство всю тебя охватываетъ, и кажется что твое сердце— гулкій набатъ, гремящіе звуки котораго широко разносятся и будятъ дремлющую тишь. Милая, ваше веселье—ветхое, веселье грубой плоти, съ тяжелымъ похмѣльемъ! Весь вопросъ здѣсь въ возбужденіи, въ приподнятіи температуры крови, въ пріятныхъ и сильныхъ ощущеніяхъ... Вялые, съ притупленной нервной системой и пустымъ сердцемъ, люди достигаютъ этого состоянія посредствомъ вина, общенія съ красивыми, доступными женщинами или мужчинами, соблазнительныхъ зрѣлищъ... Намъ этого ничего не нужно; самыя средства и цѣли этого возбужденія для насъ отвратительны, потому что мы не закрываемъ глазъ на ихъ фальшь и пошлость... Но упиться предвкушеніемъ торжества исповѣдуемой идеи, почувствовать живаго Бога правды среди окружающей лжи, жестокости и глупости, обрѣсть его пророка — вотъ въ чемъ и веселье и хмѣль, ни съ чѣмъ несравнимые!.. Развѣ ты можешь дать мнѣ ихъ, Катря?

Катря молчала съ поникнутой головой и безсознательно, судорожными пальцами, обрывала дорогія кружева на своемъ шелковомъ платьѣ съ такой сосредоточенностью, какъ будто дѣло дѣлала.

Еще прошелъ часъ.

— Ты зовешь меня, Катря, веселиться, — продол-

жала Надя, не остывая въ охватившемъ ее вдохновеніи, — зовешь танцовать, кататься на тройкѣ... Ну, а знаешь-ли, что здѣсь, сейчасъ, черезъ стѣну умираетъ молодая, честная душа, сломившаяся отъ непосильной борьбы съ кривдой и равнодушіемъ, умираетъ отъ долгой мучительной проголоди, отъ самой лютой нужды во всемъ. Когда я это знаю, когда я знаю, что въ эту минуту тысячи другихъ, такихъ-же несчастныхъ, честныхъ и хорошихъ существованій маются отъ нужды и голода и клянутъ свою постылую жизнь, не дающую имъ ни праздника, ни отдыха,—могу-ли я отдаться спокойно вашему веселью, не приносящему вамъ ничего, кромѣ тоскливой остуды, но на которое безумно тратится столько денегъ, что ими можно было-бы спасти отъ гибели сотни голодныхъ и холодныхъ? Другіе умѣютъ это забывать, а я не могу... Натура ужъ такая глупая! Ты мнѣ повѣришь, конечно, что тутъ у меня нѣтъ ни фразы, ни рисовки... Представь себѣ, что тебя пригласили-бы на пиршество въ больницу, среди умирающихъ и больныхъ, оглашающихъ воздухъ страдальческими криками, стонами и проклятіями. Было-ли бы тебѣ весело?—Конечно, ты убѣжала-бы съ этого пира... Повторяю,—натура ужъ такая, что я не могу не слышать сердцемъ всѣхъ, раздающихся кругомъ меня, страдальческихъ воплей и стоновъ... Это мучительно и я, порой, готова даже завидовать тѣмъ, кто глухъ къ этимъ скорбнымъ голосамъ, но зато минутами это чувство доставляетъ мнѣ такое великое, гордое счастье, какъ если-бы въ груди моей бились тысячи чистыхъ, праведныхъ сердецъ, вопіющихъ къ Богу о справедливо-

сти и милосердіи... Это—чудный какой-то, торжественно-стройный гимнъ, въ аккордахъ котораго вся я какъ-бы,—чувствую,—возношусь высоко, высоко къ голубому небу... Катря, развѣ ты можешь дать такое веселье?—положивъ руку на плечо подруги, кончила Надя.

---

## V.

Катря была потрясена до глубины сердца.

Прежде всего, глазомъ и инстинктомъ артистки, она живо почувствовала безъискуственную красоту внутренняго вдохновенія Нади и того, какъ оно у нея вылилось.

— Лучше и краше этого и въ этомъ родѣ ничего не можетъ быть! — мелькомъ подумала она про себя, художественно любуясь подругой своего дѣтства и тутъже рефлективно занося себѣ на память произведенное ею впечатлѣніе, какъ урокъ, которымъ она когда нибудь воспользуется для сцены.

Надя привела ее въ восхищеніе своимъ огнемъ, своей душевной силой и искренностью, которыми дышали и ея тонкая фигура, и ея вдругъ смертельно-поблѣднѣвшее въ эти минуты лицо, съ разгорѣвшимися глазами, и ея дрожавшій отъ волненія голосъ. Всѣ ея движенія были такъ естественны и прекрасны. Катрѣ особенно врѣзалось въ память, какъ у молодой дѣвушки, въ минуты сильнѣйшаго одушевленія, отъ встряхиванія головы отдѣлялась съ виска все одна и та-же, змѣйкой вьющаяся, прядь волосъ и, падая вдоль щеки,

сообщала оттѣнокъ наивнаго трагизма всему лицу, которое потомъ, когда она движеніемъ руки откидывала эту прядь назадъ, какъ-то, вдругъ, чудесно преображалось и свѣтлѣло...

Когда Надя кончила свою рѣчь, Катря готова была на нее молиться, тронутая и ощущеніемъ красоты, съ какою вылилась эта рѣчь, и пылкимъ чувствомъ внезапно раскрывшейся передъ ея глазами и точно ослѣпившей ее правды. У художественныхъ натуръ, особенно у актрисъ, такая раздвоенность впечатлѣній обыкновенна даже въ минуты сильнѣйшаго увлеченія. Формы онѣ всегда подмѣтятъ, всегда соблюдутъ, и только красивыми формами ихъ можно взять...

Ничего подобнаго тому, что высказала ей подруга и съ такимъ пламеннымъ убѣжденіемъ, Катря не слышала отъ тѣхъ людей, съ которыми зналась, а съ кѣмъ только не приводилось ей знаться въ своей кочевой актерской жизни. По натурѣ добрая, чуткая и увлекающаяся, она сразу и все поняла, и въ восторгъ пришла, и расплакаться ей хотѣлось отъ сердечной жалости къ угнетеннымъ и страдающимъ, и отъ раскаянія за себя, за свою расточительную, безпутную жизнь...

— Святая ты, Надя! ангелъ божій!—тихо, съ задушевной ноткой восторга, промолвила она, поднявъ свои, увлаженные слезкой умиленія, глаза на подругу, и тутъже про себя подумала, что если-бы она была живописцемъ, то непремѣнно воспроизвела-бы Надю — такою, вотъ, какъ она стояла въ эту минуту передъ нею,—на полотнѣ, въ образѣ ангела печали, въ бѣлой одеждѣ,

съ склоненными крыльями, съ опущенными руками, сплевшимися концами скорбно заломанныхъ пальцевъ.

— Благодарю тебя, ты меня просвѣтила, ты раскрыла мнѣ глаза!—продолжала Катря и, схвативъ руку подруги, порывисто поднесла ее къ губамъ и горячо поцѣловала беззвучнымъ поцѣлуемъ.

— Что ты дѣлаешь?.. Какъ тебѣ не стыдно!—упрекнула, смущенная этой нѣжностью, Надя и отдернула свою руку.

— Мнѣ слѣдуетъ на колѣняхъ стоять передъ тобой, у ногъ твоихъ валяться, молиться на тебя! — восторженно залепетала Катря и, увлекаемая всецѣло охватившимъ ее чувствомъ благоговѣнія къ подругѣ и презрѣнія къ себѣ, въ самомъ дѣлѣ опустилась на колѣни и, жадными руками обнявъ ея ноги, спрятала въ складкахъ ея платья свое растроганное лицо.

Надя совершенно растерялась, особенно когда Катря, съ судорожной силой сжимая ея колѣни, разразилась вдругъ страстными, рвущимися изъ глубины груди рыданіями. Кое какъ, послѣ долгихъ усилій, ей удалось, наконецъ, поднять съ полу разстроенную подругу, усадить ее и успокоить.

— Ахъ, какая ты впечатлительная и нервная!—попеняла она, поднося ей стаканъ съ водою.

— Нѣтъ, это—не нервы!—возразила Катря, не переставая волноваться.—Ты открыла мнѣ глаза на мое окаянство, ты разбудила во мнѣ стыдъ и совѣсть... Спасибо тебѣ, мой ангелъ! Истиннымъ ангеломъ-хранителемъ ты мнѣ явилась, мое серденько! Какъ-же мнѣ не

любить тебя, не благоговѣть передъ тобою? Теперь я знаю, что мнѣ нужно дѣлать...

— Что-же ты надумала?

— А то, что я сейчасъ-же, съ этой минуты, брошу эту проклятую, безпутную жизнь, уйду изъ этого ада, закрою глаза на всѣ его грѣшныя прелести, прогоню всю «череду» моихъ друзей и поклонниковъ, лощенныхъ глупцовъ, подлецовъ и развратниковъ, скину съ себя весь этотъ шелковый позоръ, всѣ эти, купленные безстыдствомъ, соболи и кружева! — съ сверкающими страстной рѣшимостью глазами говорила Катря и, какъ бы въ подтвержденіе своихъ словъ и для начала своего подвига, обрывала съ ожесточеніемъ ленты и кружева на своемъ платьѣ.

— А сцена и искусство? Неужели ты и ихъ рѣшишься бросить? — съ выраженіемъ сомнѣнія спросила Надя.

— Съ нихъ прежде всего и начну! — рѣшительно отвѣтила Катря.—На нихъ-то и лежитъ проклятіе, потому что они служатъ только сытымъ и празднымъ, холопствуютъ передъ ними, истощаются въ подломъ стараніи расшевелить ихъ отупѣвшіе нервы, пощекотать ихъ чувственность, затронуть любопытство... Въ этомъ вѣдь вся задача, весь нашъ успѣхъ и слава... будь они прокляты!

— А что же потомъ, Катря? Что станешь ты дѣлать, когда все это бросишь?

— Къ вамъ приду, у васъ стану учиться, какъ жить...

Надя улыбнулась съ тѣмъ снисходительнымъ выра-

женіемъ, съ какимъ взрослые выслушиваютъ рѣшенія дѣтей сдѣлаться вдругъ «умными», «серьезными» и «большими».

— Оттолкнете? Не примете? Не стою я васъ, опозорю?—съ чувствомъ скорбнаго, но покорнаго самоуниженія, спросила кающаяся грѣшница, пытливо, съ мольбой заглядывая въ глаза судьи-подруги.

— Ну, какой вздоръ!—возразила Надя.—Совсѣмъ не то... Я только подумала, что тебѣ, милая, наша доля не по плечу, и—къ чему стала-бы ты ломать себя, переиначивать, прилаживаться черезъ силу къ дѣлу, къ которому у тебя нѣтъ ни подготовки, ни призванія, ни серьезной охоты?

— Ну, да, я слишкомъ глупа и ничтожна для вашего дѣла... Сама я знаю это...

— У тебя есть свое дѣло, которое стоитъ нашего, у тебя есть еще то, чего многія изъ насъ не имѣютъ,—талантъ... дивная, могучая, всепокоряющая сила, которая можетъ горами ворочать!

---

## VI.

Катря застѣнчиво поникла своей всклокоченной отъ испытаннаго волненія головкой и подавила въ себѣ вздохъ успокоенія, явно выказать которое она еще стыдилась: очень ужъ было-бы оно поспѣшно! Эта суровая, строгая и святая дѣвушка признаетъ въ ней талантъ, признаетъ его законность, даже власть... Значитъ, у

нея, у подсудимой, есть еще смягчающія вину обстоятельства, слава Богу!

— Весь вопросъ, Катря, теперь, съ той точки зрѣнія, на которую мы съ тобою встали, заключается въ томъ, — продолжала Надя, — какъ повернуть тебѣ свой талантъ, какое сдѣлать изъ него употребленіе? А вовсе не нужно, и это было-бы нелѣпымъ самоубійствомъ— бросить искусство, бросить сцену...

— Научи! — молитвенно сложивъ руки, устремила Катря внимательные глаза на подругу.

— Ну, какая изъ меня учительница. Я плохо понимаю искусство, а театральное—въ особенности. Но я хорошо знаю и не разъ видѣла своими глазами удивительную, ни съ чѣмъ несравнимую, власть сценическаго таланта, особенно женскаго, соединеннаго съ молодостью и красотой, какъ въ тебѣ, напримѣръ.

— Ты мнѣ льстишь...

— Полно! Мнѣ не до того... И всегда меня брало зло и сердце кипѣло обидой за человѣческое достоинство, что этотъ чудный Божій даръ такъ мало служитъ добру, а чаще — пресмыкается передъ гордымъ своей силой порокомъ, подличаетъ передъ нимъ, заискиваетъ въ его благосклонныхъ апплодисментахъ и одобреніяхъ...

— Правда, правда!

— О, Катря! чаровница моя ненаглядная! — съ новымъ притокомъ вдохновенія заговорила Надя, сіяя своими вспыхнувшими глазами. — Сколько мира, сколько блага и счастья могла-бы ты завоевать у сытыхъ и богатыхъ для голодныхъ, холодныхъ и обойденныхъ судьбою твоимъ талантомъ, твоей плѣнительной красотою!

Я—женщина, и то—не налюбовалась-бы на тебя, и еще въ дѣтствѣ всегда ты меня восхищала собой, и за твою улыбку, за твою ласку готова была, не знаю, на какую жертву... Чего-жъ для тебя не сдѣлаютъ мужчины?

Катря, не говоря ни слова, привлекла къ себѣ подругу, крѣпко обняла ее и, склонивъ голову на ея плечо, всплакнула еще разъ; но ужъ это были слезы полнаго успокоенія, тихаго, сладкаго восторга и отъ словъ Нади и отъ нея самой—«такая она прямая, свѣтлая и добрая!», — и, конечно, отъ себя самой — «чаровница вѣдь я—Надя сказала,—и талантъ, и красавица, которая даже женскія сердца покоряетъ!»

— Я тебя поняла, мой ангелъ-хранитель!—съ признательностью и сознаніемъ правоты Надиныхъ словъ сказала Катря, утеревъ свои слезки.—То, что ты мнѣ сказала, станетъ мнѣ, клянусь, путеводной тропой отселѣ, спасетъ меня и оправдаетъ... Ты увидишь, и очень скоро, завтра-же! Но сегодня дай мнѣ съ тобой провести сочельникъ... Не хочешь ты ѣхать ко мнѣ, я у тебя останусь, коли не прогонишь... Христа ради!

Конечно, Надя была отъ души рада гостьѣ, и въ этотъ вечеръ, до-поздна, вся квартира, въ которой она жила, съ восхищеніемъ слушала мелодическія думки, пѣсни и веселыя коляды Малороссіи, которымъ, казалось, конца не было у расходившейся и распѣвшейся Катри, счастливой и свиданіемъ съ милымъ другомъ своего дѣтства и предвкушеніемъ того добраго дѣла, которое она отъ сердца хотѣла сдѣлать и которое, хотя сколько-нибудь, должно было, какъ она вѣрила, оправдать ее и въ глазахъ Нади и въ собственномъ мнѣніи.

---

## VII.

На другой день праздниковъ Катря дала у себя вечеръ, на который позвала всѣхъ своихъ друзей, покровителей и поклонниковъ изъ избраннаго общества—людей съ положеніемъ и достаточныхъ. Было также и нѣсколько артистовъ, съ помощью которыхъ гостепріимной хозяйкѣ удалось скрасить свой вечеръ импровизированными музыкально-сценическими «морсо».

Всѣ гости обратили вниманіе на стоявшую въ гостинной на столѣ серебряную тарелку съ приглашеніемъ: «Въ пользу несчастныхъ», четко написаннымъ на бѣломъ листикѣ бумаги, одинъ уголокъ котораго былъ придавленъ золотымъ полуимперіаломъ — единственной пока лептой. Такъ единственной она и осталась до конца вечера.

Во время ужина, орошеннаго обильнымъ возліяніемъ, всѣ гости единодушно стали просить хозяйку исполнить какой-нибудь куплетъ или сцену изъ своего репертуара. Она одна, изъ всѣхъ присутствовавшихъ на вечерѣ артистовъ, до сихъ поръ, съ своей стороны, ничѣмъ не усладила эстетическаго аппетита своихъ гостей.

— Хорошо, господа,—согласилась Катря на общую просьбу, — но что-же вамъ спѣть или продекламировать?—вызывающимъ, задорнымъ взглядомъ обводя своихъ гостей, спросила она.

Послышалось нѣсколько предложеній.

— Все это старо,—возразила она.—А вотъ—взду-

малось мнѣ прочитать вамъ «Египетскія ночи» Пушкина, даже, если угодно, разыграть...

Раздались шумныя одобренія, а кто-то, дѣйствительно, знавшій и помнившій «Египетскія ночи» (по совѣсти, большинство гостей имѣли о нихъ очень смутное представленіе), съ особеннымъ удареніемъ воскликнулъ:

— Ого! Не прочитать, а *разыграть*...

— Да,—храбро заявила Катря,—я разыграю «Египетскія ночи», если вамъ это будетъ угодно, дорогіе гости!

Всѣ замерли въ ожиданіи.

— Здѣсь неудобно, пойдемте въ залу... Туда намъ принесутъ вино, ликеры и фрукты!—пригласила Катря гостей.

Когда они перешли въ залу и заняли мѣста, хозяйка остановилась у стола, на которомъ стояла тарелка съ приглашеніемъ о лентѣ, приняла театральную, красивую позу и начала:

Чертогъ сіялъ....

Съ каждымъ стихомъ дикція ея становилась выразительнѣе, какая-то сладострастная тягучесть переливалась въ ея голосѣ, поза становилась полной плѣнительнаго соблазна, грудь вздымалась, голова откинулась назадъ, а глаза, подернутые мерцающей поволокой, заставляли трепетать самыя холодныя сердца своей томной нѣгой. Но, вотъ, Катря выпрямилась, глаза ея сверкнули дерзкимъ, безстыдно-страстнымъ вызовомъ, и она съ силой продекламировала:

Въ моей любви для васъ блаженство;
Блаженство можно вамъ купить....
Внемлите мнѣ: могу равенство
Межь вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступитъ?
Свою любовь я продаю:
Скажите, кто межь вами купитъ
Цѣною жизни ночь мою?

Катря остановилась и надменно-страстными глазами поглядывала на своихъ гостей. Они были ошеломлены и опьянены очарованіемъ отъ художественной правдивости сдѣланнаго вызова. Одни думали, что это только сценическій сеансъ и восхищались эстетически, но другимъ показалось, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ и на основаніи предупрежденія хозяйки не о чтеніи, а объ *разыгрываніи* «Египетскихъ ночей», что она взаправду «свою любовь продаетъ»...

— Погодите, господа!—остановила Катря слишкомъ пылкихъ слушателей.—Во-первыхъ, покамѣстъ я «ночи» своей не продаю, а, во-вторыхъ, жизнь мнѣ ваша не нужна нисколько, даже и за значительно меньшую цѣну... А, вотъ, дорогіе гости, не хотите-ли вы купить нѣкоторые отъ меня сувениры, если я вамъ люба? Продается мой платокъ носовой... Оцѣнка сто рублей... Кто больше?

Катря выдернула изъ-подъ корсажа свой, обшитый кружевами, платочокъ и, встряхнувъ его, высоко подняла надъ головою.

Разумѣется, среди гостей нашлись охотники на эту покупку. Всѣ были возбуждены и очарованы обольстительной декламаціей прелестной хозяйки, всѣ были по-

клонники ея таланта и, слѣдовательно, болѣе или менѣе платонически влюблены въ нее.

Начался оригинальный аукціонъ и—носовой платочекъ пошелъ въ нѣсколько сотъ рублей. За носовымъ платкомъ поступила въ торгъ хорошенькая, маленькая, тутъ-же снятая съ ноги, шелковая туфля Катри, на которую многіе накинулись съ азартомъ и подняли ея цѣну до баснословной цифры. За туфлей пошли перчатки, вѣеръ и т. д. Наконецъ, въ заключеніе Катря пустила въ аукціонъ свой поцѣлуй—одинъ, единственный поцѣлуй и ничего больше. Покупателями овладѣло почти бѣшенство, какъ въ азартно-безумной игрѣ, и поцѣлуй былъ проданъ за очень дорогую цѣну.

Когда эта оригинальная торговля кончилась, Катря собрала выручку, положила ее въ тарелку, назначенную для пожертвованій, и сказала своимъ гостямъ:

— Господа! цѣлый вечеръ на вашихъ глазахъ простояла эта копилка, напрасно приглашая васъ сдѣлать доброе дѣло... Никто изъ васъ не далъ даже изломаннаго двугривеннаго... Но, вотъ, лакомая на вашъ вкусъ артистка стала торговать если не самой собою, то частью себя и, во всякомъ случаѣ, своимъ цѣломудріемъ, своей женской честью, и вы—не отвернулись отъ этой позорной, унизительной продажи... Вы купили по хорошей цѣнѣ мое безстыдство... Благодарю васъ! Вы—честные, хорошіе люди и истинные цѣнители искусства... Въ другой разъ можетъ быть я пущу на аукціонъ и еще болѣе заманчивыя для васъ цѣнности, какими Богъ меня надѣлилъ, а сатана обратилъ въ орудіе грѣха и

нашего паденія; теперь-же желаю вамъ спокойной ночи!

*
* *

На другой день послѣ этого оригинальнаго пиршества, о которомъ много ходило сплетенъ въ городѣ, Надя получила отъ Катри толстый пакетъ съ значительной суммой, при коротенькой запискѣ:

«Ангелъ мой, Надя! Видишь, я не напрасно обѣщала тебѣ послужить моимъ талантомъ и моей красотой доброму дѣлу... Только прости, голубка: таланта и красоты для этого мало, по крайней мѣрѣ въ моемъ ремеслѣ и въ моемъ положеніи... Грѣха также немножко нужно. Ну, да ты не кинешь въ меня за это камень, праведница моя!

Твоя Катря.»

# ДАМЫ-ТЕАТРАЛКИ.

Любовь публики къ театру — вещь очень условная. Въ массѣ, публика сплошь и рядомъ сбиваетъ съ толку самыхъ опытныхъ и проницательныхъ антрепренеровъ, драматурговъ, актеровъ и критиковъ. Самыя тонкія и осмотрительныя предсказанія ихъ и разсчеты она опрокидываетъ нерѣдко вверхъ дномъ. Никто изъ нихъ и никогда не въ состояніи съ полной достовѣрностью предсказать, напр., что такая-то, вновь поставленная, пьеса пойдетъ или не пойдетъ, что такой-то дебютантъ будетъ имѣть успѣхъ или нѣтъ? На все это у публики свой вкусъ, своя логика, свой толкъ и своя *мода*, не подчиняющіеся никакимъ мудрымъ правиламъ и теоріямъ, никакому, хотя-бы самому непогрѣшимому суду эстетической критики.

И никто этой истины такъ краснорѣчиво не оправдываетъ, никто въ своей пассіи къ театру не руково-

дится всего менѣе чувствомъ изящнаго и любовью къ искусству, какъ наши дамы-театралки.

## № 1-й.

Вотъ, напримѣръ, графиня Сира, претендующая на роль своего рода Рамбулье въ обширномъ кругу своихъ знакомыхъ—и не совсѣмъ напрасно.

Салонъ графини Сиры пользуется значеніемъ какого-то партикулярнаго департамента по составленію репутацій и раздачѣ дипломовъ какъ въ свѣтѣ, такъ и въ мірѣ искусства. И нерѣдко эти репутаціи, эти дипломы имѣютъ на пространствѣ чуть не всей Сергіевской улицы такую рѣшающую законодательную силу, что ихъ невозможно переспорить. Графиня это знаетъ и очень этимъ тщеславится.

И пусть какой нибудь свѣтскій карьеристъ, какой нибудь, входящій въ моду, художникъ не озаботятся тѣмъ или инымъ путемъ заискать у нея благоволенія, удостоиться ея благосклонной оцѣнки, и—она не замедлитъ дать имъ съ болью почувствовать свою власть, коль скоро они, конечно, интересуются мнѣніемъ того круга, въ которомъ законодательствуетъ графиня. На этотъ счетъ Рамбулье Сергіевской улицы чрезвычайно ревнива, и сколько милостива къ патентованнымъ въ ея бонтонномъ департаментѣ фаворитамъ, столько-же нетерпима и мстительна къ бунтарямъ, не преклоняющимся передъ нею и ея авторитетомъ.

Впрочемъ, иногда она вынуждается, скрѣпя сердце,

слѣдовать тактикѣ Магомета—идти на встрѣчу горѣ, если гора не двигается съ мѣста, но зато съ какой хитроумной дипломатичностью!

Увѣривъ себя и своихъ друзей въ томъ, что она истая, съ чуткимъ, непогрѣшимымъ вкусомъ, любительница и покровительница художествъ, графиня Сира страшно мучается каждый разъ, когда безъ ея вѣдома, содѣйствія и санкціи составляется и быстро ростетъ та или другая артистическая слава. Ставя это въ прямое себѣ оскорбленіе, видя въ этомъ преступный мятежъ противъ своего авторитета, она на первыхъ порахъ казнитъ эту славу отказомъ въ своемъ дипломѣ, уничтожающимъ къ ней равнодушіемъ или-же презрительнымъ отрицаніемъ. Но, не смотря на эту протестующую оппозицію, данная слава — случаются вѣдь такіе возмутительные казусы!—ростетъ себѣ и ростетъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Даже въ департаментѣ графини начинаютъ оказываться измѣнники и перебѣжчики... Что тутъ дѣлать?—И вотъ тогда-то пускается въ ходъ дипломатія.

Дутая-ли, или настоящая эта дерзкая слава — графинѣ Сирѣ рѣшительно все равно, но коль скоро нельзя ни замолчать ее, ни переспорить, надо, значитъ, спасая собственный престижъ, уступить ходу вещей и пойти на сдѣлку. Къ бунтарямъ засылаются парламентеры съ соблазнительными пропозиціями, подстраиваются встрѣчи, расточается кокетливая лесть, разсчитанная на благодарность, дѣлаются любезности, до того подкупающія, что только каменное сердце могло-бы остаться къ нимъ нечувствительнымъ. Какъ-то такъ, въ концѣ концовъ, вы-

ходитъ, что графиня Сира, еще недавно столь нетерпимая къ молодой славѣ, является вдругъ ея герольдомъ и знаменосцемъ. Если это живописецъ, онъ съ любовью пишетъ ея портретъ, если композиторъ, онъ посвящаетъ ей свои сонаты, если пѣвецъ, онъ поетъ въ ея салонѣ по первому приглашенію, если актеръ, онъ посылаетъ ей билетъ на свой бенефисъ и во время оваціи въ ея ложу спеціально возсылаетъ самый низкій поклонъ.

Графиня Сира всегда торжествуетъ, въ особенности теперь, въ наши подлые дни, когда и «жрецы музъ» научились житейской практикѣ и прокладываютъ себѣ карьеру не столько «святымъ искусствомъ», сколько пройдошествомъ и низкопоклонствомъ.

Появленіе графини Сиры въ театрѣ—непремѣнно въ бель-этажѣ, въ угловой ложѣ, на виду у всѣхъ, — производитъ почти всегда впечатлѣніе событія. Да и сама графиня такъ, именно, понимаетъ свои сеансы. Обыкновенно, она занята всего болѣе не тѣмъ, что происходитъ на сценѣ, а тѣмъ, какое дѣйствіе производитъ на партеръ и бель-этажъ появленіе въ театрѣ ея собственной персоны. Она опьяняется несказаннымъ самодовольствіемъ, видя, какъ всѣ бинокли на нее устремляются и какъ чуть не весь театръ преисполняется сенсаціей по поводу ея появленія.

— Тсс... графиня Сира здѣсь!

— Ахъ, и графиня Сира въ театрѣ! Чѣмъ это объяснить?

— Спектакль, значитъ, необыкновенный...

— Видѣли, видѣли, какъ графиня Сира апплодировала!

— А замѣтили вы, какъ она не спускала бинокля съ актрисы NN?

— Счастливица!

— Кто?

— Конечно, актриса NN!

Графиня Сира весь этотъ говоръ, если не слышитъ, то чувствуетъ. Отъ ея зоркихъ глазъ не ускользаетъ и то, что многіе изъ зрителей соображаются въ своихъ впечатлѣніяхъ съ ея рефлексами. Апплодируетъ она и они апплодируютъ, она зѣваетъ и они зѣваютъ, молчитъ она и они молчатъ... Какъ тонко изучила графиня Сира, съ этой стороны, свою публику и какъ артистически научилась играть ею и съ нею!

Въ сущности, графиня Сира въ театрѣ не столько зрительница, сколько актриса, и потому неудивительно, что она весьма затруднилась-бы, еслибы ее попросили дать отчетъ о пьесѣ и ея исполнителяхъ, которыхъ она не далѣе, какъ вчера видѣла. Въ театръ она всегда является съ преднамѣренной тенденціей—всего чаще съ своенравной цѣлью доставить успѣхъ излюбленному ею артисту или пьесѣ покровительствуемаго ею автора. Сама того не подозрѣвая, она выполняетъ въ такихъ случаяхъ грубую службу вывѣски и рекламы. Сидя въ своей ложѣ, она во весь спектакль только о томъ и помышляетъ, какъ-бы терроризировать весь театръ, подчинить его своей волѣ, своему вкусу и прихоти. И съ какимъ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, съ какой злобой она третируетъ театральную «чернь непросвѣщенну», когда та идетъ въ своихъ рѣшеніяхъ въ разрѣзъ съ ея симпатіями или антипатіями!

Чувства графини Сиры легко объяснимы. Никто и никогда не могъ-бы утвердительно сказать—въ какой степени развито у нея чувство изящнаго, есть-ли у нея вкусъ, знаніе и пониманіе искусства? По этой части былъ у нея запасъ заученныхъ звонкихъ терминовъ и фразъ, которыми она очень ловко эквилибрировала и ослѣпляла профановъ, изъ каковыхъ состоитъ девятьсотъ девяносто девять тысячныхъ нашей публики. Достовѣрно было одно, что графиня — особа въ высшей степени тщеславная и что однимъ изъ генеральныхъ пунктовъ ея самолюбія—прослыть вліятельной меценаткой въ мірѣ художествъ. При нѣкоторой настойчивости, насъ вѣдь можно увѣрить въ чемъ угодно.

Увѣривъ себя и другихъ въ томъ, что она меценатка, графиня Сира естественно вошла въ роль составительницы артистическихъ репутацій, торжествуя, когда ея пропаганда увѣнчивалась успѣхомъ, а когда терпѣла фіаско, испытывая жестокія язвы оскорбленнаго самолюбія. Ничто такъ больно не колетъ насъ, какъ сомнѣніе и отрицаніе по отношенію къ тому, что взялись мы рекомендовать съ наилучшей стороны.

Спросили одного стараго пріятеля графини Сиры, что онъ думаетъ объ ея маломаніи и служеніи искусствамъ, вообще?

Пріятель былъ на ту минуту въ «откровенномъ направленіи» и выразился очень рѣзко:

— Въ искусствѣ она смыслитъ столько-же, сколько извѣстная тварь въ апельсинахъ. Все ея меценатство—плодъ скуки и бабьяго самодурства... Будь у нея мужъ

не рохля, а серьезный мужчина, да полдюжины-бы ей ребятъ—все меценатство съ нея какъ рукой сняло-бы!

## № 2-й.

Милліонерша Марья Ивановна Виноторговцева тоже очень страстная театралка, но при единственномъ непремѣнномъ условіи—смотрѣть спектакль не иначе, какъ изъ одной изъ фронтальныхъ ложъ бель-этажа, чтобы самой быть на виду у всѣхъ и изображать изъ себя своего рода выставку. Съ любого другого мѣста Марья Ивановна рѣшительно не въ состояніи испытывать никакого пріятнаго эстетическаго ощущенія и даже «милочкой» Марьей Гавриловной не можетъ восхищаться. Да ни на какое другое мѣсто, кромѣ передовой ложи въ бель-этажѣ, она ни за что и не сядетъ, если-бъ ее озолотили. Развѣ только, на позоръ и униженіе передъ всѣмъ купечествомъ, могли-бы заставить ее силою сѣсть, напримѣръ, въ бенуарѣ, во второмъ ярусѣ или въ партерѣ.

И тутъ, если хотите, есть своя логика. Пусть Марья Ивановна явится сегодня въ ложѣ второго яруса, вѣдь, чего добраго, завтра кредитъ ея мужа отъ этого самого пошатнется и къ векселямъ его процентовъ на пятьдесятъ упадетъ довѣріе.

То-ли дѣло, когда Марья Ивановна фигурируетъ въ литерной ложѣ бель-этажа и, выставляя черезъ ея барьеръ свой пышный бюстъ и свою расфуфыренную куафе-

ромъ голову, ослѣпляетъ таращащихъ на нее глаза и бинокли зрителей своими феноменальными брилліантами!

— Ахъ-ха-ахъ!—идетъ стонъ въ партерѣ.

— Что такое?

— Развѣ не видите?—Купчиха Виноторговцева свои прелести и брилліанты выставила!

— Прелести-то не ахти-какія, а вотъ брилліанты—ой-ой! Голконда ходячая!

И Марья Ивановна сладострастно чувствуетъ то обаяніе, какое производятъ на толпу ея холеныя прелести, ея роскошные наряды, въ особенности ея чудные брилліанты, и, что-бы не происходило на сценѣ, все равно уѣзжаетъ изъ театра совершенно довольной и счастливой.

— Животное! — ругается фанатическій другъ искусства. — Эти идолы и театръ превратили въ биржу, въ поприще для своего купеческаго чванства, въ конкуренцію своими капиталами, своимъ богатствомъ. И какое безстыдство, какая гнусность обращать жену въ вывѣску и рекламу!

## № 3-й.

— И представьте себѣ, Анфиса Петровна, были мы на «Второй молодости». Ужасная пьеса! Такъ это, знаете, жалостно и чувствительно, что и не замѣчаешь, какъ слезы изъ глазъ капъ-капъ... Но какъ дошло до послѣняго акта, тутъ ужъ я не помню, что со мной сдѣлалось... Слышу, какая-то дама, благородная, въ бель-эта-

жѣ, впала въ истерику... Ну, что хотите, не могу удержаться! Такъ и подмываетъ... Спазмы къ горлу подходятъ—вотъ, вотъ, сейчасъ разрыдаюсь...

— Ну, ну, и что-же? — страшно заинтересованная, освѣдомилась Анфиса Петровна.

— Да что! — отвѣтила собесѣдница съ разочарованіемъ. — Варваръ-то мой, мужъ, не далъ мнѣ чувствъ своихъ проявить... Щипаться сталъ и такъ больно, что восторгъ души у меня вдругъ прошелъ. Стала я его ругать, а онъ, болванъ этакой, смѣется и говоритъ: — «ругайся, говоритъ, душенька, сколько угодно, только шкандала публичнаго не дѣлай!» Такъ у меня ничего и не вышло.

— Дура!—внутренно рѣшила о собесѣдницѣ Анфиса Петровна и мгновенно загорѣлась страстнымъ желаніемъ попасть на такъ хорошо аттестованную пьесу, на которой «благородныя» дамы въ истерику и обморокъ падаютъ.

Анфиса Петровна—дебелая, энергическая барыня, содержащая въ страхѣ мужа, прислугу и всѣхъ присныхъ, воображала о себѣ, что она необыкновенно нѣжная, чувствительная и нервозная дама. Это было предметомъ ея кокетства и, когда она хотѣла кому-нибудь понравиться, сейчасъ-же пускались ею въ ходъ разнообразные нюансы сентиментальной нервозности. Съ теченіемъ времени выработалась у нея по этой части очень искусная система, посредствомъ которой она безвозбранно властвовала у себя дома и покоряла нерѣдко стороннихъ ея вѣдомству лицъ.

Услышавъ, что на александринской сценѣ идетъ пьеса,

отъ которой чувствительныя дамы впадаютъ въ истерику, Анфиса Петровна нестерпимо пожелала видѣть эту пьесу непремѣнно съ тѣмъ соблазнительнымъ, заранѣе предрѣшеннымъ условіемъ, чтобы она тоже разразилась истерикой, чтобы, при этомъ, ее обязательно вынесли изъ театра и чтобы весь театръ увидѣлъ и узналъ, сколь она, Анфиса Петровна, нервозна и чувствительна!

C'est que la femme veut, Dieu le veut — Анфиса Петровна настояла-таки на своемъ. Билетъ на «Вторую молодость» былъ добытъ.

Вотъ она сидитъ въ ложѣ второго яруса, въ компаніи со своими поклонниками и съ мужемъ, ютящимся, какъ и слѣдъ тому быть, на задней скамейкѣ, съ которой ровно ничего не видно, кромѣ пышнаго турнюра и шлейфа супруги.

Анфиса Петровна во весь спектакль мучается вопросомъ—гдѣ и когда надо изобразить истерику и упасть въ обморокъ? Спросить объ этомъ свѣдущихъ людей, конечно, нельзя—значило-бы, вскрыть имъ карты своей игры. Анфиса Петровна рѣшаетъ положиться на свое художественное чутье.

И вотъ, когда въ третьемъ актѣ г. Писаревъ, въ роли невѣрнаго супруга, требуетъ у г-жи Стрепетовой, яко обманутой жены, развода съ тѣмъ, чтобы она приняла на себя вину въ прелюбодѣяніи, Анфиса Петровна рѣшила, что это и есть тотъ патетическій пунктъ пьесы, когда нужно дамѣ съ тонкими нервами и чувствительнымъ сердцемъ разрѣшиться истерикой.

— Ахъ-ахъ-ха-ха-ха! — разразилась она вдругъ на

весь театръ, къ вящему удивленію даже мужественнаго полиціймейстера Александринскаго театра, видавшаго всякіе виды.

Ну, нечего дѣлать! Поклонники, при содѣйствіи мужа, выволокли Анфису Петровну изъ ложи и стали отпаивать ее лимонадъ-газесомъ. Желанная сенсація была произведена на весь театръ. Стали спрашивать: кто? какъ? почему? съ какой стати?

— Душенька,—смиренно сказалъ мужъ Анфисѣ Петровнѣ, когда она очнулась и успокоилась: — вѣдь ты поторопилась... Въ обморокъ-то падаютъ дамы въ четвертомъ актѣ, когда дѣйствіе происходитъ уже въ тюрьмѣ...

Страшно было взглянуть въ эту минуту на Анфису Петровну.

— Дуракъ! — зыкнула она на мужа въ праведномъ негодованіи.—Отчего-же ты раньше мнѣ объ этомъ не сказалъ? Полюбуйтесь, господа, — обратилась она къ поклонникамъ съ язвительной ироніей, — какого догадливаго, какого умницу-мужа послалъ мнѣ Господь за грѣхи мои!

# МУЗЫКАЛЬНЫЯ ДѢВИЦЫ.

Петербургъ издавна прослылъ Піанополисомъ за его чрезвычайную, будто бы, музыкальность; но уже лѣтъ сорокъ тому назадъ, т. е. во времена болѣе нашихъ довѣрчивыя и наивныя, петербургская музыкальность подвергалась сомнѣнію.

«Петербургъ,—писалъ тогда одинъ наблюдательный журналистъ,—слыветъ музыкальнымъ городомъ или, сказать справедливѣе, городомъ, гдѣ много поютъ и играютъ на разныхъ инструментахъ. Это правда, но изъ этого не должно заключать, чтобы здѣсь было много истинныхъ знатоковъ и любителей музыки. Играютъ въ карты для того, чтобы менѣе говорить, слушаютъ музыку для той же причины»...

Съ той поры, какъ высказалъ о нашемъ Піанополисѣ свое мнѣніе вышецитированный журналистъ, произошла одна только, впрочемъ, весьма существенная перемѣна. Въ наши практическіе дни самое занятіе музы-

кой, имѣвшее въ былое время въ интеллигентной средѣ почти исключительно одно салонное значеніе, сдѣлалось по преимуществу утилитарнымъ.

Въ блаженные дни безпечальнаго существованія, обезпеченнаго даровымъ трудомъ крѣпостныхъ мужичковъ, барышни обязательно обучались музыкѣ, совершенствовались въ ней иногда до виртуозничества, но не ради какой нибудь — fi-donc! — практической, меркантильной цѣли, а для того лишь, чтобы умножить и развить свои природные таланты и прелести въ видахъ скорѣйшаго побѣдоноснаго плѣненія блестящихъ жениховъ. Самая салонная музыка тогда имѣла подходящія для данной цѣли направленіе и содержаніе. Преобладалъ романсъ, французскій по преимуществу, а позднѣе и русскій: «Тройка», «Гусаръ, на саблю опираясь, въ глубокой горести стоялъ», «Ты куда, мой другъ, стремишься на тотъ гибельный Кавказъ», «Когда-бъ онъ зналъ, какъ пламенно и нѣжно люблю его», «Скажите ей, ска-а-а-жи-те ей!», и т. п. Впослѣдствіи эти романсы перешли изъ салоновъ въ лакейскія и дѣвичьи, а оттуда сдѣлались достояніемъ уличныхъ шарманокъ, фабричныхъ трубадуровъ, кабацкихъ торбанистовъ и бульварныхъ сиренъ. Это, впрочемъ, показываетъ только жизненность данной музыкальной полосы.

Обыкновенно барышни до замужества изощрялись въ вокально-музыкальномъ искусствѣ съ такимъ неусыпнымъ усердіемъ, что разсудительный Фамусовъ упрекалъ ихъ за это, смѣялся, что всѣ онѣ—

„Французскіе романсы вамъ поютъ
И верхнія выводятъ нотки“,

и ставилъ въ укоръ родителямъ, а также и себѣ въ томъ числѣ, эту выправку дочерей:

„Какъ будто въ жены ихъ готовимъ скоморохамъ!“

саркастически формулировалъ онъ свое наблюденіе.

Въ сущности, Фамусовъ былъ неправъ, потому что, сплошь и рядомъ, едва барышня достигала цѣли, т. е. выходила замужъ за гусара (гусаръ тогда былъ самый желаннѣйшій женихъ и имѣлъ за собой всѣ прерогативы на преимущественное покореніе дѣвичьихъ сердецъ), какъ тотчасъ же захлопывала свое фортепіано, забрасывала свои романсы и разучивалась отъ всѣхъ своихъ салонныхъ талантовъ, которыми служила «украшеніемъ» общества въ дѣвичествѣ.

* * *

Совсѣмъ иное дѣло теперь.

Начать съ того, что пламенный и простодушный гусаръ, котораго можно было заполонить однимъ, съ чувствомъ спѣтымъ, романсомъ, нынѣ, съ переформированіемъ гусарскихъ полковъ въ драгунскіе, сдѣлался большой рѣдкостью. Померкъ также и его былой престижъ, подъ ослѣпительнымъ блескомъ штатскихъ жениховъ новѣйшей формаціи—присяжныхъ повѣренныхъ, банковскихъ кассировъ, биржевыхъ дѣльцовъ...

Гдѣ теперь найдете вы, съ позволенія сказать, дурака, который дался бы поймать себя въ сѣти Гименея изъ-за того только, что улавливающая его сирена бойко тренькаетъ на фортепіанахъ и выразительно поетъ арію:

«Приди въ чертогъ ко мнѣ златой», когда никакого такого «чертога», не заложеннаго, притомъ, въ городскомъ кредитномъ обществѣ, у нея въ дѣйствительности нѣтъ?

Въ виду страшной въ послѣднее время убыли такихъ податливыхъ, легкомысленныхъ и впечатлительныхъ жениховъ, явилась печальная необходимость для барышень-безприданницъ самимъ о себѣ какъ ни такъ промышлять для снисканія, если не мужей, то хотя бы дневного пропитанія. Со времени отмѣны крѣпостного права и, вмѣстѣ съ тѣмъ, начала жестокаго оскудѣнія, такихъ обездоленныхъ на зарѣ жизни женскихъ существованій оказалось великое множество.

Возбужденіе такъ называемаго «женскаго вопроса», что касается его практической стороны, собственно — вопроса о «женскомъ трудѣ», вовсе не «либералами» выдумано, какъ слѣпо утверждаетъ князь Мещерскій и его ретроспективная братія. Вопросъ этотъ выдвинула сама жизнь и созданная ея ходомъ неумолимая нужда, независимо отъ какихъ бы то ни было доктринъ и теорій. Со временъ оскудѣнія множество молодыхъ женскихъ существованій интеллигентной среды оказалось въ необезпеченномъ положеніи, не только безъ перспективы сдѣлать «партію», но съ вѣроятностью остаться безъ призора и куска хлѣба при малѣйшей оплошности.

Вслѣдствіе этого совершенно измѣнились условія устройства женской судьбы. Покладливый, легко дававшійся въ руки женихъ исчезъ, а если и не переставалъ изрѣдка попадаться, то, въ большинствѣ случаевъ, это была уже такая вертопрашная, взбалмошная дрянь, что

связываться съ нимъ разсудительная дѣвица считала безуміемъ. У дѣльнаго, основательнаго жениха пропала охота дѣлать безповоротныя, рѣшительныя предложенія подъ обаяніемъ романсовъ; онъ сталъ требователенъ, прихотливъ и весьма неторопливъ въ дѣлѣ сватовства; онъ сталъ требовать отъ невѣстъ солидныхъ талантовъ и добродѣтелей или, по крайней мѣрѣ, солиднаго приданнаго.

Чтобы ни говорили фанатики женской эмансипированности и самостоятельности, безъ сомнѣнія, для женщины всегда будетъ ужаснѣйшей крайностью оставаться въ старыхъ дѣвахъ. Я скажу, быть можетъ, не очень ужъ большой парадоксъ, что однимъ изъ основныхъ, главныхъ стимуловъ стремленія интеллигентной женской молодежи къ самостоятельной практической дѣятельности на поприщѣ науки, искусства и пр., служитъ именно матримоніальный инстинктъ. И это вполнѣ естественно и съ запросами любящаго женскаго сердца согласно.

Погружаясь въ глубины науки, изощряясь въ искусствѣ, обогащая свой умъ и развивая свои дарованія съ практической цѣлью, женщина, само собой разумѣется, возвышаетъ свою цѣну, свое значеніе, свою внутреннюю содержимость...

Она—врачъ, она—педагогъ, она—художникъ, и уже этимъ однимъ она становится въ завидное положеніе невѣсты, обезпеченной солиднымъ приданнымъ. Собственно, она и бьется, и учится и овладѣваетъ профессіей съ затаенной, быть можетъ, безсознательной цѣлью достигнуть аналогичнаго положенія, благими послѣдствіями котораго она, къ тому же, съумѣетъ, благодаря

своему умственному развитію, распорядиться толковѣе, практичнѣе и прочнѣе, чѣмъ счастливая «кисейная барышня», оцѣниваемая лишь суммою своего приданнаго.

Знаніе, талантъ, приспособленность къ той или другой профессіи—такой же капиталъ, какъ и деньги, даже несравненно болѣе надежный и жизненный. Владѣя имъ, женщина дѣлается полной хозяйкой своего положенія и своего выбора въ вопросахъ любви, а главное, — она устранила то досадное препятствіе для счастливаго союза, которое, въ противномъ случаѣ, легко могло бы обречь ее на нестерпимую судьбу вѣчной дѣвственницы. Теперь же избранный ею и взаимно избравшій ее мужчина подаетъ ей руку, какъ равный равному, спокойно и увѣренно, заранѣе зная, что ему не придется «содержать» жену, праздную и ни къ чему неспособную, а дружно и по-товарищески вмѣстѣ съ нею трудиться надъ свиваніемъ семейнаго гнѣзда...

* * *

Такимъ-то путемъ наши барышни, за немногими изъятіями, стали, между прочимъ, изучать музыку не для салонныхъ лишь цѣлей, не ради уловленія только жениховъ, но съ дальновидными разсчетами сдѣлать артистическую карьеру, стяжать славу, капиталъ пріобрѣсти, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мужа.

Появился особенный по этой части типъ. То была въ свое время пресловутая «дѣвица съ машинкой», какъ одна изъ первыхъ довольно жалкихъ піонерокъ самостоятельнаго «женскаго труда». Теперь появилась спеціально-музыкальная дѣвица съ портфелемъ или папкой,

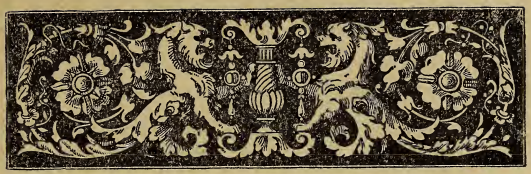
на которыхъ золоченымъ шрифтомъ четко значится: «Musique».

Кто не встрѣчалъ въ Петербургѣ этой дѣвицы съ этимъ портфелемъ, ставшимъ даже объектомъ ядовитаго злословія въ маленькой прессѣ? Кто изъ петербуржцевъ былъ такъ счастливъ, что избѣжалъ, по истинѣ, ужаснаго сосѣдства по квартирамъ съ семействомъ, выростившимъ въ своей средѣ музыкальную дѣвицу, учащуюся въ консерваторіи и готовящуюся къ блистательнымъ дебютамъ на концертахъ и въ оперѣ?

Положительно въ Петербургѣ трудно найти домъ, гдѣ бы не пріютилась хотя одна музыкальная дѣвица, на ужасъ и скрежетъ зубовный всѣхъ ея сосѣдей. Попадаются между ними неумолимыя и невыносимыя по своему прилежанію и ретивости, съ какими онѣ по цѣлымъ днямъ «верхнія выводятъ нотки» или брянчатъ экзерсисы. Конечно, всѣ онѣ готовятся никакъ не меньше какъ въ примадонны большой оперы или въ соперницы Рубинштейну и Есиповой. На амплуа менѣе отвѣтственное и болѣе скромное онѣ отнюдь не согласны.

Какая масса тратится средствъ, времени и молодыхъ силъ на достиженіе этой цѣли, конечно, изъ ста случаевъ въ девяносто девяти оказывающейся въ результатѣ призрачной и эфемерной! Но очень ужъ соблазнительны и доля и гонораръ всѣхъ музыкальныхъ знаменитостей! Не даютъ спать бѣднымъ дѣвамъ...

Вотъ съ этой стороны, если хотите, Петербургъ — истый Піанополисъ, городъ чрезвычайно, до избытка, до безумія музыкальный!



# ВОРОВКА.

Дѣло было передъ Пасхой.

Въ отдаленной улицѣ Песковъ, во дворъ одного дома вошелъ приличнаго вида пожилой мужчина — то, что называется въ просторѣчіи «господинъ», въ пальто съ бобровымъ воротникомъ и цилиндрѣ, со строгой физіономіей, въ золотыхъ очкахъ. Войдя во дворъ, «господинъ» началъ громко звать дворника.

— Вамъ что надо?—откликнулся тотъ съ неудовольствіемъ, выползая послѣ долгаго зова изъ своей конуры, откуда черезъ дверь на «господина» пахнуло густымъ и крѣпкимъ запахомъ горячихъ постныхъ щей. Видно было, что дворникъ только-что расположился обѣдать: лицо его было красное и потное, и онъ вытиралъ рукавами губы.

— Что тебя, братецъ, не докличешься,—попрекнулъ его «господинъ».

— Кого вамъ угодно?—смягчилъ свой угрюмый тонъ дворникъ, почувствовавъ уваженіе къ степенной фигурѣ и независимому пошибу «господина».

— Гдѣ здѣсь у васъ бѣдные?

— Чего-съ?

— Бѣдные гдѣ живутъ, спрашиваю?

Дворникъ почесалъ затылокъ.

— Ежели вамъ, къ примѣру, бѣдные требуются, — сказалъ онъ съ сомнѣніемъ: «Кому и на кой прахъ можетъ этотъ народъ требоваться»,—такъ у насъ этой гольтепы, почитай, полонъ дворъ.

— Я спрашиваю о тѣхъ, которые публикуются. Вотъ! — «господинъ» вынулъ изъ кармана сложенный листъ газеты, развернулъ и прочиталъ: «вдова чиновника Свирищенкова»... Есть такая?

— Есть... живетъ... Комнату отъ жильцовъ снимаетъ.

— Гдѣ?—покажи!

— Эхъ, простынутъ щи,—дуй-те горой!—съ досадой подумалъ дворникъ.

— Да вотъ, — спохватился онъ, — барышня ихняя, госпожи Свирищенковой... Онѣ васъ проводятъ... Софья Степановна!—остановилъ онъ проходившую въ эту минуту по двору худенькую, покрытую старымъ байковымъ платкомъ, дѣвушку:—господинъ къ вамъ, желаютъ ознакомиться,—и, не дожидаясь развязки этой сцены, дворникъ торопливо юркнулъ къ себѣ, къ горячимъ щамъ.

— Вы дочь госпожи Свирищенковой? — обратился цилиндръ къ остановившейся дѣвушкѣ, съ недоумѣніемъ на него смотрѣвшей.

— Да,—отвѣтила она.

— Вы—бѣдные?..

Блѣдное личико дѣвушки покрылось краской и она смущенно потупила глаза.

— Я прочиталъ, — продолжалъ цилиндръ.—Проведите меня, пожалуйста, къ вашей матушкѣ... Я могу быть вамъ полезенъ.

— Пойдемте, — чуть слышно уронила дѣвушка и пошла впередъ.

«Господинъ» мужественно перешелъ по ея слѣдамъ грязный дворъ, поднялся по такой же грязной, смрадной лѣстницѣ, переступилъ въ четвертомъ этажѣ черезъ порогъ двери съ ободранной, висѣвшей клочьями обивкой, и, не снимая въ передней ни пальто, ни калошъ, вошелъ во вдовье жилище.

— Вы госпожа Свирищенкова? — спросилъ онъ у засуетившейся при его входѣ и низко ему кланявшейся болѣзненной, пожилой женщины, съ подобострастнымъ выраженіемъ на сморщенномъ, блѣдно улыбавшемся лицѣ.

— Я-съ... я-съ... Вотъ и дѣтки мои!—указала вдова на дѣвушку, названную дворникомъ Софьей Степановной, и на трехъ малышей, застѣнчиво ютившихся въ глубинѣ комнаты.

— Однако, къ вамъ высоко, и грязь какая... Позвольте, сударыня, отдышаться!—сказалъ гость и, предупреждая приглашеніе, сѣлъ на стулъ у окна. — Ухъ!.. Я прочиталъ,—началъ онъ чрезъ минуту, вынимая газету изъ кармана,—вы изволили публиковаться...

— Крайность вынуждаетъ, — какъ бы извиняясь, проговорила вдова и смахнула рукою послушную слезинку со своихъ выплаканныхъ и выцвѣтщихъ глазъ.

— Д-да... «вдова чиновника... очень бѣдная»,—читалъ гость и испытующе окинулъ глазами обстановку вдовьяго жилища. Обзоръ удовлетворилъ его: комната была небольшая, плохо освѣщенная и не изобиловала движимостью. — «Четверо дѣтей, изъ коихъ три малолѣтка»...—Такъ!—сосчиталъ онъ чрезъ очки семейство вдовы.

— Это вотъ моя старшенькая, Соня, шестнадцати лѣтъ,—рекомендовала, между тѣмъ, Свирищенкова своихъ дѣтей.—Это сынокъ—Коля, по двѣнадцатому году, славный такой мальчикъ, спрашиваетъ это меня: «Маменька, говоритъ, какъ-то мы нынче святую Пасху встрѣтимъ?»... Это, вотъ, младшенькіе мои: — Сереженька, восьми лѣтъ, и Машенька, хворенькая—боюсь—не глухонѣмая-ли: до сихъ поръ—ей шесть годковъ—словъ никакихъ не говоритъ, а все «ммм», «ммм», словно грудной ребеночекъ.

— Учатся?—коротко освѣдомился гость.

— Гдѣ ужъ при нашей-то бѣдности, — всхлипнула вдова.

— Нехорошо!

— Дочь, вотъ, Сонечка, курсы проходила, да за невзносъ платы за ученье исключили.

— Курсы! Какіе курсы? — заволновался почему-то гость.

— Въ женской гимназіи.

— А, въ гимназіи... Ну, это еще ничего.

— Очень хорошо училась, да окончить не могла по бѣдности нашей.

— А вы, матушка, не ропщите... Роптать грѣшно.

Богъ, можетъ быть, васъ испытываетъ: надо покориться... Давно вдовѣете?

— Четвертый годъ... бьюсь, какъ рыба объ ледъ... Мужъ, царствіе ему небесное, служилъ, служилъ и никакого обезпеченія намъ не оставилъ.

— Сколько лѣтъ онъ служилъ?

— Слишкомъ тридцать.

— Значитъ, онъ долженъ былъ вамъ оставить пенсіонъ?

— И-и-и... какой, батюшка, пенсіонъ!

— Но все-же...

— Дѣйствительно, матушка пенсіонъ получаетъ,— вставила вдругъ Софья Степановна, засверкавъ своими голубыми глазками.

— Э! почему-же вы, сударыня, не предупредили объ этомъ?—поднялся гость съ мѣста.—Значитъ, вы еще не въ крайности... Есть такіе, что пенсіона не получаютъ... ровнехонько ничего не получаютъ... Я такихъ ищу... Извините!—двинулся онъ къ дверямъ.—Впрочемъ, снисходя къ вашимъ жалобамъ и имѣя въ виду преддверіе великаго праздника, позвольте вамъ вручить... Что могу,—не взыщите!—онъ вынулъ бумажникъ, порылся въ немъ, вытащилъ оттуда какую-то бумажку и сунулъ ее въ руку госпожи Свирищенковой.

Когда гость вышелъ, она разжала руку: въ ней лежала скомканная трехрублевая ассигнація. На поблекломъ лицѣ вдовы мелькнуло выраженіе удовольствія.

— Мама! — кинулась къ ней, вся взволнованная, старшая дочь.—Верните его, отдайте ему! Скажите, что намъ не нужна его помощь...

— Что ты, что ты, Сонечка, Господь съ тобою! Съ какой стати будемъ мы отказываться отъ помощи добрыхъ людей?—запротестовала мать.

— Мама, вѣдь, это не помощь, это — позоръ... Голодная смерть лучше! И какъ вы—я не могу себѣ этого представить—нашли въ себѣ духу идти въ газеты публиковаться... выставлять свое имя, свою бѣдность... Это ужасно!

— И хорошо сдѣлала маменька, — вступился Коля съ торжествующимъ видомъ.—Теперь у насъ будутъ и куличъ, и пасха, и ветчина и крашенныя яйца... Я очень люблю крашенныя яйца.

Семейная распря была прервана. Въ передней раздался звонокъ, послышался чей-то сдобный голосъ: «Здѣсь бѣдная вдова съ дѣтьми?», и въ комнату ввалилась обширнаго тѣлосложенія дама, облеченная цѣлымъ каскадомъ бархата и шелка. Кругомъ себя она несла теплую ароматную атмосферу своего холеннаго тѣла и обильно впрыснутыхъ въ ея платье духовъ. За нею слѣдовалъ, съ брюзгливо-насмѣшливымъ выраженіемъ на бритой, чинной физіономіи, благолѣпный лакей.

— Здравствуйте, мои милыя!—привѣтствовала дама вдовье семейство.

Свирищенкова выступила къ ней на встрѣчу со своими поклонами, подобострастными улыбками и вдовьими слезками.

— Ахъ, гдѣ вы живете, бѣдненькіе, бѣдненькіе!—всплеснула дама пухлыми ручками въ шведскихъ перчаткахъ. — Какъ здѣсь у васъ не хорошо пахнетъ, — продолжала она съ гримаской, поднося къ своему ро-

зовому носику золотой флакончикъ съ эфиромъ.—У васъ здѣсь очень мало воздуха... Это нездорово... Оттого вы всѣ такіе худые, блѣдные... Ахъ!—снова всплеснула она ручками:—какая прелесть!—и съ этими словами она направилась, протянувъ объятія, къ незамѣченной ею дотолѣ Сонѣ, обхватила ее за талію, подвела къ окну и стала разсматривать съ восхищеніемъ.—Вѣдь, вы—прехорошенькая! Вы это знаете, что вы хорошенькая, а?—Pauvre enfant, она этого даже не подозрѣваетъ!.. Какъ васъ зовутъ?—Софья!—Чудесно! И этакая милочка погибаетъ въ жалкой нищетѣ... Horreur!

— Во-первыхъ, я вовсе не погибаю, во-вторыхъ, я не нищая,—отрѣзала дѣвушка сквозь слезы.

— О, о! какая гордая... Прекрасно! очаровательно!—восторгалась дама.

— Вы ее не слушайте, мадамъ!—въ извиненіе дочки залебезила вдова.—Никакой въ насъ, повѣрьте, гордости нѣтъ... Гдѣ ужъ, помилуйте!

— Нѣтъ! нѣтъ!—настаивала дама:—и мнѣ это нравится... Знаете! — вдохновилась она вдругъ совершенно неожиданно для самой себя:—отдайте мнѣ вашу дочь!.. Я очень добрая, могу васъ увѣрить... Притомъ, я ищу себѣ камеристку... Вашей Сонечкѣ будетъ у меня хорошо, право!

— Она у насъ единственная работница,—робко возразила вдова.

— Не пойду я къ вамъ... очень благодарна! — холодно отвѣтила дѣвушка.

— А—а... Не нуждаетесь?—мгновенно охладѣла, съ своей стороны, благотворительная дама.—Странно толь-

ко, зачѣмъ-же вы публикуетесь, что вы бѣдные, даже очень бѣдные? Вамъ великодушно предлагаютъ помощь, ласку, опеку, и—вы ихъ отвергаете... Странно!

— Мадамъ, голубушка! — взмолилась Свирищенкова: — мы, въ самомъ дѣлѣ, бѣдные, ужасно бѣдные; не знаемъ, чѣмъ праздникъ встрѣтить...

— Можетъ быть. Очевидно, вы ждете денежной помощи; но въ моихъ правилахъ—деньгами не помогать... Это безполезно и только пріучаетъ къ тунеядству. Я хотѣла оказать вамъ помощь на дѣлѣ, но убѣждаюсь, что вы въ ней не нуждаетесь. Извините за напрасное безпокойство!

И сказавъ это, добродѣтельная дама величественно выплыла изъ комнаты. Сопровождавшій ее лакей, пропустивъ барыню въ дверь, нагло хихикнулъ въ глаза вдовѣ и ея семейству, тутъ-же въ комнатѣ напялилъ на голову шляпу и, вздернувъ плечи, вышелъ. Даже затылокъ его выражалъ непроходимое презрѣніе.

Соня, послѣ этой сцены, разрыдалась. Госпожа Свирищенкова чувствовала себя, какъ въ воду опущенной, но вскорѣ утѣшилась.

Явился, послѣ дамы-филантропки, новый благотворитель. Это былъ сухой старикъ, съ неподвижнымъ лицомъ, молчаливый и категоричный.

— Это ваша публикація?—указалъ онъ вдовѣ на заявленіе о ея бѣдности, напечатанное въ газетѣ.

Вдова подтвердила и стала распространяться въ жалобахъ на свое безпомощное положеніе.

— Не многоглагольствуйте! — остановилъ ее старикъ.—Мнѣ нѣтъ дѣла до того, правду-ли вы говорите,

или лжете... Я васъ не знаю, я знаю только мою душу и радѣю объ ея спасеніи. Помолитесь за меня, если можете и умѣете, а не можете и не умѣете, то и не нужно... Богъ зачтетъ мнѣ мою лепту, по глаголу Христа: «блаженни милостивіи»... Получите!

Онъ вынулъ пятирублевку, положилъ ее на столъ и, не сказавъ больше ни слова, удалился.

Явилась чувствительная купчиха съ цѣлымъ узломъ своихъ обносковъ, развернула ихъ и, съ несравненнымъ благодушіемъ, стала ими одаривать всѣхъ членовъ семьи, нахваливая свои подарки, разсказывая подробно біографію каждаго, гдѣ и за сколько былъ купленъ, кто его прежде носилъ и при какихъ обстоятельствахъ.

Явился увѣтливый, деликатный и сладкій, какъ медъ, членъ одного благотворительнаго комитета, съ записною книжкой. Битый часъ онъ участливо выспрашивалъ вдову объ ея жизни, прошлой и настоящей, объ ея надеждахъ на будущее, о нравѣ, характерѣ и способностяхъ ея дѣтей, и т. д. Всѣ эти свѣдѣнія онъ аккуратно вписалъ въ свою книжку, неизвѣстно для какой надобности, и, уходя, обѣщалъ выхлопотать вдовѣ въ своемъ комитетѣ, возможное въ его малыхъ средствахъ, вспомоществованіе.

Приходило много и другихъ благотворителей, и изъ ихъ приношеній, въ совокупности, образовалась такая сумма, что госпожа Свирищенкова разсчитывала справить Пасху сытно и прилично; но, къ ея ни съ чѣмъ несравнимому ужасу, всѣ пожертвованныя ей деньги были у нея выкрадены наканунѣ страстной субботы, когда она собиралась съ утра идти на Сѣнную для по-

купки всего необходимаго къ розговинамъ. Бѣдная вдова была въ отчаяніи и терялась въ догадкахъ, кто-бы могъ такъ безбожно ее обобрать. Розыски и разспросы ни къ чему не привели. Семьѣ пришлось-бы проголодать на Пасху, если-бы не скудный заработокъ Сони, добываемый шитьемъ. Въ субботу, уже къ вечеру, не разгибая спины цѣлыя сутки, она окончила срочный заказъ, снесла его, получила нѣсколько рублей и, съ веселымъ лицомъ, цѣлуя мать, отдала ихъ ей.

— Ну, мама, не горюйте,—пасха у насъ будетъ, и куличъ, и крашенныя яйца, которыя такъ любитъ Коля, и ветчина... Вотъ деньги, да не тѣ, что жгутъ руки, чужія, изъ милости данныя, а свои, кровныя... Мы, мама, не нищіе съ вами, и — никогда, слышите, никогда не смѣйте вы публиковаться въ газетахъ!

— Все-таки, жаль,—сѣтовала Свирищенкова:— добрые люди принесли на нашу бѣдность сколько тамъ рублишекъ, а какая-то разбойничья душа стащила ихъ, чтобы ей ни дна, ни покрышки!

— Ой, мама, не ругайтесь такъ! Хотите, я вамъ скажу, кто ихъ стащилъ? Только чуръ, не ругаться и не сердиться! Помните, скоро Христосъ воскреснетъ...

Соня была необыкновенно оживлена; что-то дѣвственно-гордое, торжествующее свѣтилось въ ея блѣдно-прозрачномъ, утомленномъ личикѣ.

Вдова стала разспрашивать.

— Я стащила... Да, да! Я—воровка, мама! Казните меня! — съ тою же возбужденной, нервной восторженностью призналась Соня.

Свирищенкова съ ужасомъ всплеснула руками.

— Да для чего же и для кого?—спросила она.

— Не для себя, конечно,—вы этому повѣрите, надѣюсь, а больше я вамъ теперь ничего не скажу! — отвѣтила Соня.

Вскорѣ, однако, обнаружились и цѣль и помѣщеніе кражи, совершенной молодой дѣвушкой.

Въ томъ же домѣ на Страстной недѣлѣ умерла отъ родовъ бѣдная прачка, мать нѣсколькихъ малютокъ, которыя остались совершенно безпомощными и голодными на рукахъ больного и, къ тому-жь, запивающаго отца-ремесленника. Соня хорошо знала покойницу и ея семью, и, когда дѣти прачки осиротѣли, она взяла ихъ подъ свое покровительство. Для нихъ-то она и стащила у матери пожертвованія благотворителей.

— Мама!—объяснилась она передъ матерью, когда все обнаружилось:—не сердитесь! На эти деньги мы не имѣли права, онѣ тяготили бы нашу совѣсть, да и не хорошія онѣ... Эти благотворители, Господь съ ними, ждутъ, чтобы бѣдность протягивала къ нимъ руки, клянчила передъ ними и соблюдала туалетъ нищеты. Они проходятъ мимо молчаливаго горя, невысказанной лютой нужды... Я только сдѣлала маленькую поправку: отдала пожертвованныя деньги туда, гдѣ онѣ гораздо нужнѣе, чѣмъ намъ... Неужели вы станете на меня за это сердиться?

И Соня нѣжно обняла мать, которой ничего не оставалось, какъ волей-неволей примириться съ сумасбродствомъ своенравной дочки.

---

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 070240137